

ADAM SCHAFF

WSTĘP DO SEMANTYKI

WARSZAWA 1960

PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

АДАМ ШАФФ

Введение  
В  
сЕмантику

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО  
М. Я. ГЛОВИНСКОЙ, Н. Г. КОМЛЕВА,  
В. Ф. КОННОВОЙ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ  
В. А. ЗВЕГИНЦЕВА

РЕДАКЦИЯ А. А. ЯКУШЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1963

471796

## ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

### 1

В последние десятилетия в науках, имеющих непосредственное или косвенное отношение к изучению языка, произошли два важных события. Первое из них заключается в инверсии отношений между этими науками. Если ранее лингвистика очень охотно прибегала к помощи других наук — философии, логики, психологии, социологии и т. д. — и нередко явления языка истолковывала в категориях этих других наук, то ныне мы наблюдаем обратное стремление рассматривать категории всех указанных наук через призму языка. Естественно, что подобного рода тенденции потребовали и своего теоретического осмысления, в первую очередь с точки зрения своей правомерности.

Второе событие связано с внутренней перегруппировкой лингвистических дисциплин. На смену синтаксису, морфологии и фонетике на первое по важности место теперь выдвинулась семантика, то есть дисциплина, занимающаяся изучением «плана содержания» языка (по терминологии Л. Ельмслева) или его смысловой стороны. Эта перегруппировка не замкнулась рамками лингвистики в собственном смысле этого слова, но, стимулированная к тому указанной выше тенденцией, оказала прямое воздействие на науки, провозгласившие свою зависимость от концепций и методов изучения языка. Внешним выражением данного воздействия является перенесение традиционного лингвистического термина «семантика» на те направления связанных с языком исследований, которые сравнительно недавно вступили в круг научных дисциплин: имеются в виду логическая семантика, философская семантика и так называемая общая семантика (*general semantics*). Подобного рода использование старого тер-

мина для обозначения новых и притом отнюдь не совпадающих по своим целям направлений в научном исследовании создало своеобразную «омонимию» наук, нередко порождающую тяжелые теоретические недоразумения, которые усугубляются в немалой степени также и тем обстоятельством, что границы этих наук не всегда ясны и нередко взаимно пересекаются.

Таким образом, назрела настоятельная необходимость разобраться в целом ряде сложных проблем. Важность этой работы, требующей широкого научного кругозора и разносторонней эрудиции, подчеркивается тесной близостью всего указанного комплекса проблем к основным вопросам философской методологии и их прямой связью с практикой внедрения в экономику, промышленность и в организацию труда кибернетических принципов.

За выполнение этой трудной, ответственной и крайне необходимой работы взялся (бесспорно располагая для этого всеми необходимыми данными) польский философ-марксист Адам Шафф, имеющий международную репутацию и хорошо известный также и советским читателям. Разумеется, свою задачу он смог выполнить лишь в первом приближении. Осознание этого неизбежного на первых порах ограничения отражено в самом названии книги — она претендует только на «введение в семантику» — и достаточно ясно оговорено в авторском предисловии.

Труд Адама Шаффа не только отвечает насущным научным потребностям, но и представляет бесспорную творческую удачу. Он насыщен богатой информацией, отличается последовательностью и систематичностью изложения, содержит много точных наблюдений и суждений, предлагает ряд оригинальных решений актуальных проблем теории науки. Но можно ли признать все утверждения и выводы автора книги безусловными? Если бы его книга представляла собой обычный пропедевтический курс, какие во множестве знает каждая наука с солидной традицией, то тогда мы, может быть, имели бы некоторые права требовать от автора непререкаемой верности всех суждений. Но к первой попытке систематического изложения научных положений, многие из которых находятся еще в процессе становления и формулирования, предъявление подобных требований было бы чрезмерным. К тому же кое-что, о чем говорится в книге, со времени ее написания подверглось некоторому изменению, кое-что стало более

ясным — это естественно при той стремительности, какая свойственна современному развитию науки. Поэтому и оказывается необходимым сделать ряд замечаний по некоторым высказанным в книге положениям. И хотя авторам предисловий по обычаю присваивается право вынесения приговоров, не подлежащих обжалованию, в настоящем случае, когда мы имеем дело с оригинальным опытом рассмотрения во многом спорных проблем, следование этой традиции было бы неправомерно. Здесь более уместен научный спор. С этой точки зрения и надо подходить ко всему нижеследующему.

## 2

Книга Адама Шаффа состоит из двух частей. В первой части каждому из научных направлений, объединяющемуся с понятием семантики, посвящена отдельная глава. Во второй части рассматривается основная проблематика семантики, трактуемой как конгломерат близких друг другу научных дисциплин. Эта близость обуславливается использованием в разных аспектах и для различных целей единого предмета — языкового значения. Обратимся первоначально к рассмотрению отдельных глав первой части.

По вполне понятным причинам первая глава посвящена лингвистической семантике — родоначальнице всех прочих «семантик». К стати говоря, с тем чтобы отграничить лингвистическую семантику от нелингвистической, в отношении первой все чаще начинает применяться термин «семасиология».

Глава о лингвистической семантике носит по преимуществу информационный характер и ставит своей целью ознакомить читателя с тем кругом вопросов, которыми она занимается. Утверждение автора, что лингвистическая семантика занимается главным образом историей лексических значений, следует принимать с известным коррективом. Это утверждение справедливо по отношению к трудам по семантике прошлого века и начала настоящего (к ним в первую очередь и обращается А. Шафф), но неприменимо к современному состоянию семасиологии. Изучение истории значений ныне выделилось в относительно узкую область исторической семантики, смыкающейся с этимологией, а основное внимание современная

семасиология уделяет таким синхроническим или панхроническим проблемам, как природа языкового значения, его структурное строение, его основные и предельные единицы, семантические универсалии и пр. Именно эти аспекты современной семасиологии создали теоретические предпосылки для формулирования проблематики нелингвистической семантики. Историческая же лингвистическая семантика не располагает необходимыми для этого данными.

Видимо, не следовало автору брать под защиту те положения теории Н. Я. Марра, которые касаются ручной стадии развития языка (Н. Я. Марр называл эту первичную стадию линейным или изобразительным языком и разумел под ним не только жесты, но и мимику), а также отождествлений категорий языка и мышления с категориями материальной культуры (или производственным процессом). Строго говоря, первое положение не принадлежит Н. Я. Марру и едва ли ныне найдет много приверженцев среди лингвистов. Второе же положение рассматривает в одном ряду, очевидно, несопоставимые вещи.

При всей безусловной корректности изложения первой главы чувствуется, что материал, относящийся к исторической семантике, находится на периферии научных интересов автора. Для лингвиста, например, покажется неоправданным противопоставление Ф. Соссюра и Л. Булаховского. Видный советский языковед, известный своими многочисленными трудами в различных разделах науки о языке, в области семантики Л. Булаховский был в основном популяризатором чужих идей.

Во второй главе, отведенной рассмотрению логической семантики, автор вступает на родную ему почву. Его изложение последовательных этапов сближения логики и лингвистики отличается большой ясностью. Он шаг за шагом прослеживает становление той проблематики, которая ныне в значительной своей части выделилась в семиотику (о чем, правда, автор не говорит, касаясь семиотики лишь между прочим в последующих главах). А. Шафф отлично видит идущие от неопозитивизма опасные тенденции универсализировать принципы конвенционализма логической семантики и придать им философскую значимость. Но он и не остается слеп к научной значимости логической семантики, если только она вводится в соответствующие границы. Следует согласиться с автором, что между фило-

софским и научно-прикладным аспектами логической семантики нет обязательной взаимозависимости, возбуждающей тревогу чересчур бдительных философов, для которых догматическая чистота принципа дороже действительной ценности теории. Ныне научная значимость основной проблематики логической семантики и, в частности, той, которая вошла в состав семиотики, является трюизмом. Но во время написания книги А. Шаффа (к сожалению, даже и теперь еще) это надо было доказывать. Здесь нельзя не отметить чувства научной реальности, свойственного многим суждениям А. Шаффа.

Отнюдь не последней задачей первой части книги А. Шаффа является возможно четкое разграничение областей различных «семантик». Оно должно находить свое отражение и в терминологии, противодействуя порожденной «омонимией» наук взаимной подстановке некоторых не всегда равнозначных понятий. Так, язык как логическое исчисление, о чем трактуется в данной главе, разумеется, не тождествен естественному языку, составляющему предмет изучения лингвистической семантики. Оба эти языка, конечно, могут рассматриваться иногда в одном ряду, например в семиотике, но это требует особых оговорок и установления их иерархии. Каким же образом осуществляется разграничение или построение иерархии языков различной природы? Теория логических типов Б. Рассела едва ли может служить подходящей основой для подобной иерархии, так как она не вскрывает достаточно полно специфики разных видов языков. В данном случае, видимо, скорее следует обращаться к семиотическим функциям. Как известно, все формальные языки укладываются в пределах семантики и синтактики, а у естественного языка обязательно еще присутствие прагматической функции. Эта функция вносит в языки элементы, чуждые строго формальным построениям, и тем самым выделяет естественные языки в особую категорию. С другой стороны, и логическая структура мысли не дана в естественном языке в чистом виде, а поэтому, если стремиться к адекватному определению, естественный язык нельзя представить как логическую формальную систему с ее интерпретацией, так как тогда за пределами изучения останется все, что связывается с прагматической функцией.

Философская семантика (ей посвящена третья глава) фактически представляет философскую интерпретацию

логической семантики. Недаром в одном и другом случае нередко выступают одни и те же ученые. Подобная экспансия логической семантики в сторону методологических принципов осуществляется на основе тезиса о языке как единственном объекте философии. В книге доказательно обнажается метафизичность этого тезиса, направленного якобы против вообще свойственной философии метафизичности. А. Шафф указывает, что другой опорный тезис философской семантики — конвенциональный характер языка, допускающий возможность произвольного его выбора, в результате чего должен изменяться и образ действительности, — логически приводит к эпистемологическому солипсизму. Развивая свою мысль, высказанную в предыдущей главе, он подчеркивает различия, существующие между искусственными и естественными языками. Если конвенционные качества свойственны искусственным языкам, это не значит, что подобные качества могут быть присущи и естественным языкам. Между этими двумя категориями языков наличествует, по утверждению А. Шаффа, то различие, что искусственные языки всегда производны от естественных (и при этом произвольно производны). Если же у естественных языков также можно обнаружить производность — от действительности и от человека (его мышления), — то это производность уже совершенно иного порядка, а самое главное, она не носит в себе ничего конвенционного.

Может быть, в это рассуждение следовало бы внести тот корректив, что все те примеры искусственных языков — морская сигнализация флажками, шифры, даже язык глухонемых, — которые приводит А. Шафф, можно назвать языками (даже и искусственными) с большой натяжкой. Если идти по этому пути, то к искусственным языкам следовало бы отнести и различные системы письменности: алфавитную, слоговую, идеографическую и т. д. Строго говоря, все это не языки, а лишь различные средства и способы манифестации или фиксации языков. Что же касается языков, как их понимает логическая семантика (например, логические исчисления), то их безусловно следует признать произвольно конвенционными (поскольку они исходят из принимаемых условных и независимых от опыта предпосылок), но их производность (в силу той же их произвольности) от естественных языков может быть оспорена.



Легко увидеть, что приведенное замечание не нарушает логичности рассуждения А. Шаффа о неправомерности отождествления качеств естественных и искусственных языков. Оно отмечает лишь дополнительный аспект в его критике, которым, может быть, также не следует пренебрегать. И, конечно, оно полностью солидаризируется с тезисом А. Шаффа, что доказать неправомерность в данном случае теории конвенционализма — значит выбить фундамент не только у неопозитивистской концепции языка, но и у всего философского построения, делающего язык единственным объектом своего рассмотрения.

Наиболее спорной представляется последняя (четвертая) глава первой части — об общей семантике.

Можно согласиться с горькими и темпераментными упреками, которыми открывается глава и которые А. Шафф делает в адрес незадачливых критиков, смешивающих в одну кучу разные направления семантики и приписывающих ошибки и нелепости одного из этих направлений всей семантике в целом. Подобного рода методы нигилистической и не всегда грамотной критики, родившейся в ядовитой атмосфере культа личности, были в прошлом, не изжиты они полностью и теперь. Однако нельзя впадать и в обратную крайность. Да простит автор грубую лапидарность басенной метафоры, но нельзя возводить в обязательный принцип стремление обнаружить в каждой навозной куче жемчужное зерно. Очевидно, все же существуют — и в немалом количестве! — навозные кучи без жемчужных зерен рациональных мыслей, и тут уж ничего не поделаешь.

Думается, что желание А. Шаффа найти в общей семантике хоть какое-нибудь рациональное начало продиктовано естественной реакцией на то безоглядное наклеивание ярлыков, которое, как указывалось, заменяло нередко научную критику. Но в случае с общей семантикой игра, конечно, не стоит свеч.

А. Шафф отнюдь не замалчивает очевидных нелепостей общей семантики, которые делают ее «весьма удаленной от нормальных стандартов науки». Характеризуя библию общей семантики — книгу А. Кожибского «Science and Sanity», А. Шафф пишет, что «это книга туманная, дилетантская, что она эклектически объединяет самые разнообразные идеи и бесцеремонно присваивает себе чужие мысли, что это книга, о которой справедливо говорили,

что то, что в ней правильно, то старо, а то, что в ней ново, то — неправильно». Все это сказано крепко, но все это абсолютно справедливо, так же как и напрашивающийся в результате подобной характеристики общий вывод, что общая семантика (в частности, в изложении А. Кожибского), конечно же, не научно-теоретическое направление, а в лучшем случае идеологическое движение, комплектующее своих последователей из представителей самых различных профессий — врачей, инженеров, экономистов, профсоюзных деятелей, адвокатов и пр. — и осуществляющее свою деятельность с чисто американской рекламой. Она собрана по принципу — с бору по сосенке, включая наряду с очевидной чепухой иногда тривиальные, а иногда даже вполне здравые мысли. Вот эти-то отдельные здравые мысли, по мнению А. Шаффа, и спасают общую семантику если не для науки (при всей своей благожелательности он не отваживается на такое утверждение), то для уважительного к ней отношения. Но ведь все здоровое здраво и полезно на своем месте. Этот принцип А. Шафф удачно применил при оценке философских претензий логической семантики, и нет оснований отступать от него и в данном случае.

Давать критическую оценку общей семантике надо, конечно, в целом, исходя из ее идейной целеустремленности. Когда же исследователь рассматривает отдельные ее положения изолированно, вне назначения, которые они имеют в данной системе, он может прийти к неоправданным оценкам. Что же касается отдельных здравых мыслей, обнаруживаемых у А. Кожибского, то проще не выуживать их (на что требуется немалый труд) из его «маниакальной концепции», а обратиться к источникам «заимствований, которых у Кожибского хоть отбавляй» (в кавычках слова А. Шаффа).

На этом заканчивается обзор разных направлений семантики. Автор в начале этой части сулил ограничиться преимущественно информацией о них. К счастью, он не выполнил своего обещания и дал изложение, в котором, хотя и не в раскрытой форме, ясно ощущаются его теоретические симпатии и антипатии — оценка их дана выше.

### 3

Говорить об отдельных главах второй части книги — значит фактически говорить о больших проблемах, каж-

дая из которых имеет огромную литературу и характеризуется необычайной разногласием мнений. Уже одно это последнее — можно сказать «техническое» — обстоятельство весьма затрудняет рассмотрение этих проблем. На первый взгляд может показаться, что эти проблемы имеют лишь косвенное отношение к направлениям семантических исследований, как они описаны в первой части книги. Однако ознакомление с ними убеждает, что это не так.

Так же как и первая часть, вторая состоит из четырех глав, из которых первая, по сути говоря, является вводной. Назначение ее — изложить теоретические подступы к проблемам знака, значения и речи (языка). Философский аспект процесса взаимопонимания — чему посвящена первая глава — рассматривается с трех точек зрения: сначала в критическом плане излагаются две крайние и прямо противопоставленные концепции — трансцендентальная и натуралистическая (очевидно, правильнее ее именовать механистической), а затем в плане позитивном набрасывается программа (сам автор подчеркивает ее предварительный характер) марксистского истолкования указанного аспекта. Читатель сам имеет возможность убедиться в вескости доводов А. Шаффа, указывающего на несостоятельность как трансцендентальной, так и натуралистической концепций процесса коммуникации. Что касается марксистского подхода к изучению этого процесса, то основной тезис А. Шаффа заключается в том, что оно должно осуществляться в контексте социальных явлений, и сама коммуникация рассматривается как общественный продукт. Ключевой характер указанных двух положений представляется бесспорным, а их плодотворность свидетельствуется всем последующим изложением. Можно сказать только о желательности некоторых уточнений, но они не носят принципиального характера.

Пожалуй, самое существенное из подобных уточнений относится к разграничению между коммуникацией и языком. Как бы противоречиво эти категории ни определялись, совершенно очевидно, что они качественно различны, и рассматривать их в одном плане не представляется возможным. Нельзя, правда, сказать, что А. Шафф не делал никаких разграничений — он, например, устанавливает различие между животной и человеческой коммуникациями, между эмоциональной и интеллектуальной коммуника-

циями и пр. Однако все эти подразделения базируются в основном лишь на содержании коммуникаций и даже являются производными от них. При этом ничего не говорится ни о структурных различиях выделяемых типов коммуникаций, ни о их психических параметрах, относящих одни из них к числу предпороговых явлений, а другие—к категории сознательно целенаправленных. Недоучет подобных обязательных характеристик приводит к некоторому упрощению всей проблемы.

Не совсем удачен выбор в качестве протагониста натуралистического направления А. Гардинера, тем более что натурализм А. Шафф фактически сводит к бихевиоризму. Как известно, бихевиоризм видит в коммуникации лишь психо-физиологический процесс стимулов и реакций, осуществляющийся между двумя индивидуумами. Алана Гардинера, совершенно недвусмысленно заявлявшего о своей приверженности к теории познания Б. Рассела и свою теорию языка и речи строящего на принципе целенаправленности (или, как он говорит, намерении говорящего), никак нельзя отнести к бихевиористам, и уж во всяком случае к таким, от имени которых ведется утверждение натуралистических принципов. А отдельные высказывания не делают методологической погоды. Гораздо более уместен в данном случае был бы Л. Блумфилд.

Вслед за изложением своих философских позиций А. Шафф приступает к анализу знака и к определению его типологии. Трудно назвать проблему, в которой было бы меньше согласия, чем в проблеме знака. Почти у каждого автора есть на этот счет своя точка зрения. Можно было бы и в данном случае под видом критики попытаться подsunуть свою концепцию знака, но едва ли это способствовало бы действительной и объективной оценке данного раздела труда А. Шаффа. А он, даже если и не дает бесспорного решения проблемы (чего и нельзя ожидать от «Введения»), интересен и во многом убедителен.

Настоящая глава книги полезна прежде всего тем, что вскрывает множество аспектов в проблеме, которая ставится у нас обычно чересчур однозначно. Эта многоаспектность, в частности, находит отражение в попытке построения классификации знаков. Именно с нее, а также с определения знака, видимо, и следует начинать рассмотрение данного раздела. Знак определяется следующим образом: «Всякий материальный предмет, его свойство или реаль-

ное явление становится знаком, если в процессе коммуникации служит в рамках принятого собеседниками языка для передачи какой-нибудь мысли о действительности, то есть о внешнем мире или внутренних переживаниях (эмоциональных, эстетических, волевых и т. п.) какой-нибудь из общающихся сторон». Отметим, что в эту дефиницию включено понятие языка, который остается, однако, вторичным по отношению к самому знаку (как он определяется) моментом, выступая лишь в качестве некоторой условной нормы, которой должны придерживаться собеседники в процессе коммуникации, создающей знак. Тем самым будто бы признается не высказанное нигде различие между языком и коммуникацией. А теперь обратимся к классификации знаков. Первоначально дается более широкая классификация, включающая две категории знаков: 1) знаки естественные (или признаки) и 2) знаки искусственные (или собственно знаки). Последняя категория в свою очередь делится на знаки словесные и знаки с производной экспрессией (оказывающие на деятельность людей косвенное влияние). Если мы теперь внимательно присмотримся к отношению дефиниции знака к классификации знаков, то возникает ощущение некоторой непоследовательности. Ведь понятие языка включается в определение знака вообще и, таким образом, является обязательным для всех видов знаков, но классификация включает и такие знаки (признаки), к которым, как они описываются в книге, понятие языка никак не приложимо. С другой стороны, языковые (или словесные) знаки, справедливо выделяемые в особую категорию, в своем общем виде (в приведенной дефиниции) определяются через понятие языка, который как знаковое образование (знаковость языка принимается как общепризнанное положение) определяется указанной дефиницией. Тут уже возникает замкнутый логический круг, обусловленный, как думается, отмеченным выше недоучетом различий между коммуникацией (или даже коммуникативной системой) и языком.

В дальнейшем изложении одна из категорий приведенной широкой (и, очевидно, универсальной) классификации, а именно искусственные знаки с производной экспрессией, подвергается более детальному подразделению. Они также делятся на две группы — сигналы и замещающие знаки, а в пределах этих последних выделяются

еще символы. Хотя это деление опять-таки несколько односторонне опирается преимущественно на содержание знаков (так, содержанием знаков являются материальные предметы, а символов — абстрактные понятия), читатель найдет в описании различных типов знаков много интересного материала и новых мыслей.

Центральное место в главе о знаке занимает вопрос о словесном или языковом знаке. Это вполне понятно, так как исследование всей проблемы знака предпринималось, по сути говоря, ради того, чтобы подойти к решению проблемы языкового знака. А. Шафф последовательно отграничивает словесный знак от сигналов, замещающих знаков и символов, всячески подчеркивая его специфичность. Нельзя не согласиться с этим общим направлением доказательств автора, так же как и с тезисом о том, что словесный знак, в противоположность другим типам знаков, представляет неразложимое единство внешней и внутренней сторон, каждая из которых служит основой для другой как при функционировании, так и развитии словесного знака. Но и здесь необходимы некоторые частные уточнения.

Так, едва ли можно принять утверждение автора, что «нет отдельно понятия и отдельно словесного знака, есть только понятие — знак». Это, видимо, просто неудачная формулировка, устанавливающая арифметическое равенство между понятиями и словесными знаками. В действительности, конечно, существует много понятий, которые хотя и раскрываются средствами языка, то есть не имеют своего обязательного словесного «двойника», но передаются описательно. Нередко они только позднее фиксируются каким-либо термином, то есть словесным знаком. А. Шафф, бесспорно, хотел в данном случае подчеркнуть лишь то, что в языке «план содержания» и «план выражения» не могут вести автономное существование.

В порядке отграничения словесных знаков от других их типов и в том числе от сигналов А. Шафф подвергает критике теорию сигнала сигналов академика Павлова. Естественно, эта критика направлена не против физиологических основ теории, а против тех выводов, которые из нее делаются для гносеологической и лингвистической проблематики. Следует, однако, отметить, что эту критику можно принять только в том случае, если принимается и определение сигнала, данное в книге. Но при ином понимании сигнала (которое может идти и от самой теории

Павлова) дело, конечно, будет обстоять по-другому. Вместе с тем надо согласиться с замечанием А. Шаффа, что в истолковании теории сигнала сигналов допускается очевидная вульгаризация. «Ибо,— говоря словами автора,— так же, как нельзя сводить психологию к физиологии, так нельзя сводить к чистой физиологии теоретико-познавательные или семантические проблемы».

4

Последние две главы книги — значение «значения» и коммуникативная функция языка — в тематическом отношении представляют единое целое и посвящены, по сути говоря, центральной проблеме всех видов «семантик» — значению. Но первая из этих глав представляет критическое изложение идеалистических и механистических концепций значения, а вторая — и последняя в книге — формулирует позитивные положения автора.

Критическое изложение носит несколько неравномерный характер. В частности, очень детально и основательно изложена теория интенций Гуссерля, в то время как общие выводы критического характера, пожалуй, чересчур беглы. Подобного рода «избыточное» внимание к Гуссерлю оправдывается той ролью, какую он играл в польской философской традиции, но оно, конечно, не отражает действительного положения, которое концепция интенциональных значений занимает в современных теориях значения. Но это замечание относится лишь к композиции главы. Что же касается существа критических соображений А. Шаффа, то советский читатель, очевидно, согласится с многими из них и в особенности с теми негативными выводами, которые делаются в конечном результате. Может быть, спор вызовут лишь два момента. Первый из них касается безоговорочного присоединения автора к положению А. Гардинера, что знаковая ситуация, а следовательно, и значение определяются посредством четырех факторов: говорящего, слушающего, предмета, о котором говорится, и словесного знака. Следует иметь в виду, что выделение этих четырех факторов А. Гардинер осуществил в результате анализа речи, а не языка. Речь же и язык далеко не тождественные явления (об этом еще будет ниже). Кроме того, ситуация речевого акта, в котором принимают участие говорящий и слушаю-

щий, обеспечивает лишь психо-физиологические условия анализа процесса речевого общения и никак не отражает социальных предпосылок функционирования речи. Ведь минимальная психо-физиологическая единица речевого акта не может быть идентифицирована с социальной обусловленностью языка, и недаром бихевиоризм замыкал свой анализ значения рамками лишь говорящего и слушающего.

Второй момент относится к трактовке биологической концепции значения. Если ее соотносить, как это делает А. Шафф, с бихевиоризмом (выше он выступал под наименованием натуралистической концепции), то между нею и теорией Павлова нельзя ставить знак равенства. Павлов никогда не претендовал на определение понятия значения, и если вообще можно говорить о его теории в контексте разбираемых в книге проблем, то лишь с точки зрения физиологического механизма функционирования речевых знаков. Следовательно, и прагматизм здесь ни при чем.

И вот мы у конечной цели — автор дает свое определение языка и указывает методологические позиции, с которых он считает необходимым проводить анализ всех проблем, связанных с языковым значением. Естественный (звуковой) язык он определяет «как систему словесных знаков, которые служат для формулирования мыслей в процессе отражения объективной действительности путем субъективного познания и для общественной коммуникации этих мыслей о действительности, а также связанных с ними эмоциональных, эстетических и волеизъявительных переживаний». Что же касается значения, то единственной здоровой основой для его изучения автор считает марксистскую теорию отражения.

Как видно, и в определении языка и в установлении методологических основ исследования отдельных его явлений (в частности, значения) учтены те основные принципы, которыми располагает марксистская наука о языке. Но на периферии этих фундаментальных принципов, определяющих общее направление всего труда А. Шаффа, располагаются частные вопросы, которые и в советской науке не имеют однозначного решения и по поводу которых, поскольку они также затрагиваются в книге, можно высказать лишь дискуссионные соображения. Коснемся некоторых из них.



Так, при всей методологической бесспорности вышеприведенного определения языка можно сказать, что оно не является исчерпывающим в том смысле, что дает определение лишь на лексическом уровне языка и не учитывает других его уровней. Ведь язык состоит не только из словесных знаков, но включает и способы определения в речи их отношений, правила их комбинаций и пр. А о них в определении языка нет упоминания.

Автор лишь мимоходом затрагивает проблему разграничения языка и речи, сводя определение речи к деятельности языка, то есть фактически не обнаруживая между этими двумя явлениями принципиальных различий. В современном языкознании проблема языка и речи — одна из самых острых. Она истолковывается неодинаково, но почти общепринятым является мнение, что разграничение между языком и речью носит кардинальный характер, в соответствии с чем одни и те же единицы, располагаясь в плане языка или в плане речи, нередко обладают прямо противопоставленными характеристиками. Это относится и к понятию знака и к значению. С точки зрения данного разграничения многое из того, что говорится об этих явлениях в книге, относится к их речевому, а не языковому бытию. Конечно, учет указанного разграничения значительно усложнил бы задачу книги, но зато и способствовал бы большей ясности в трактовке отдельных проблем.

Автор несколько раз, в том числе и в заключительной главе, повторяет утверждение, что «значение словесного знака (то есть лексическое значение. — В. З.) и понятия совпадают» и что человеческое мышление всегда понятийно и может протекать лишь в языковых формах. Первое утверждение высказывается и советскими философами (например, Л. О. Резниковым), но почти единогласно отвергается советскими лингвистами на том основании, что в данном случае происходит отождествление разнородных явлений и лингвистические факты определяются в логических терминах. Второе же утверждение не учитывает принятого в психологии разграничения между техническим, образным и понятийным мышлением. Лишь последнее носит языковый характер, а что касается первых двух, то они обычно протекают во внеязыковой форме, хотя иногда (когда содержанием мышления является язык) могут обращаться и к языковым формам.

Такого же рода дискуссионные замечания можно было бы сделать и по некоторым другим разделам заключительной главы, но они во многом были бы уже выражением личной точки зрения и увели бы далеко в сторону. Место им не в предисловии, а в оригинальных исследованиях.

5

Даже данный краткий обзор достаточно наглядно демонстрирует достоинства книги Адама Шаффа. В ней затрагиваются самые острые и животрепещущие проблемы современной философии и теоретической лингвистики. Советский читатель с интересом и с пользой прочтет ее, хотя, очевидно, и не во всем согласится с ее автором. Это последнее обстоятельство подсказывает желательность новых дружеских встреч, которые, так же как и настоящая работа, бесспорно, будут способствовать разрешению актуальных теоретических проблем, выдвигаемых стремительным развитием современной науки. Следует помнить неоднократно высказываемое на этих страницах предупреждение: в идеологической борьбе, которую ведут марксисты-ученые с реакционными теориями, нельзя медлить с теоретическим осмыслением фактов, непрерывно рождаемых наукой, точно так же как не следует заменять их реалистическую оценку прокрустовыми примерками к догматическим доктринам. Это предупреждение — призыв к бдительности и вместе с тем к честности ученых.

*В. Звезинцев*

Если бы не было речи, не были бы известны ни добро, ни зло, ни истина и ни ложь, ни удовлетворение и ни разочарование. Речь делает возможным понимание всего этого. Размышляйте над речью.

*«Упанишады»*

## О Т А В Т О Р А

Предлагая данную работу читателю, я хотел бы выразить благодарность тем, кто помог мне завершить ее.

Прежде всего я благодарю профессора Тадеуша Котарбинского, который любезно согласился прочесть мою работу в рукописи. Серьезные, глубокие замечания профессора Котарбинского позволили мне улучшить и уточнить формулировки многих мест в тексте.

Я благодарен также Галине Зельниковой, которая взяла на себя кропотливый труд по редактированию рукописи. Она выполнила эту работу добросовестно и компетентно.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Авторские предисловия часто являются выражением традиции, данью принятым обычаям. Однако в данном случае я чувствую действительную потребность в пояснении читателю своих намерений, с которыми он должен ознакомиться, прежде чем приступит к чтению этой книги. Поэтому я расцениваю данное предисловие не как приложение к работе, а как ее составную часть.

Дело в том, что предмет моего исследования необычайно сложен и весьма широк. Для всестороннего охвата его мне необходимы были такая компетентность и эрудиция, которых у меня, к сожалению, нет и которыми, как я полагаю, трудно обладать в достаточной степени. Значит, в этом случае, как и во многих других, признаком мастерства должно быть сознательное ограничение своих исследовательских интересов. Я не знаю, смогу ли я надлежащим образом осуществить данный постулат. Однако я хотел бы пояснить, какие задачи я ставлю перед собой и почему. Читатель должен решить, удалось ли мне, а если удалось, то в какой степени, справиться с этими задачами.

Прежде всего мне хочется уяснить для себя и для других, что мы имеем в виду, когда говорим о семантике. Как научная дисциплина, семантика в настоящее время стала настолько сложной, а сам термин настолько многозначным, что следовало бы к самому слову «семантика» применить семантический анализ, если мы хотим избежать неприятных недоразумений и логических неточностей.

Так объективно обстоит дело с данным вопросом. Теперь перейдем к вопросу о том, как относятся к этой проблеме в марксистской литературе. Автор хотел бы рассмотреть проблему семантики именно с марксистской точки зрения, причем сделать это так, чтобы по мере своих воз-

возможностей ввести в марксистскую философию научную проблематику семантики, а также подвергнуть критике, где это необходимо, философские извращения этой проблематики.

Семантика, обретающая известную нам теперь форму логической и философской теории, является сравнительно молодой дисциплиной. Она не существовала во времена Маркса и Энгельса, если не принимать во внимание находившуюся тогда в эмбриональном состоянии лингвистическую семантику. При жизни В. И. Ленина она уже, правда, формировалась, но ее философская значимость выявилась лишь к концу его жизни, когда Ленин был поглощен другими заботами.

Конечно, в прошлые годы в марксистской литературе были критические публикации, касающиеся семантики. Однако с полной определенностью можно утверждать, что они не принесли славы этой литературе.

Из кратких формулировок этой проблемы в марксистских энциклопедиях, философских словарях и т. п., находящихся в пользовании по настоящее время, нетрудно убедиться, что под семантикой понимали исключительно идеалистическую семантическую философию, а ее идеи к тому же отождествлялись с весьма своеобразной интерпретацией Стюарта Чейза в его работе «The Tyranny of Words» (Нью-Йорк, 1938). Чейз стал стереотипным пугалом во всех публикациях, в которых появляется слово «семантика».

Характерно, что не только марксистские работы классифицировали семантику как псевдонауку, задачей которой является затушевывание классовой борьбы и которая полагает, что одно устранение некоторых терминов (как, например, «капитализм», «социализм» и т. п.) устраняет и сами соответствующие социальные проблемы.

Я отнюдь не утверждаю, что приписывание семантике этих абсурдных идей вообще лишено оснований. Позиция эта находит поддержку во взглядах кругов, приближенных к Кожибскому, о чем также пойдет речь в данной книге. Но является ли это семантикой «вообще», можно ли отождествлять подобные взгляды с семантикой как таковой и тем самым отказать ей во всяком научном значении?

В ответе на этот вопрос я усматриваю свою первую задачу. Для этой цели следует произвести обзор разных

областей, занимающихся семантикой, и различных значений термина. Выяснению его многозначности будет посвящен своеобразный семантический анализ. Следует далее остановиться на том, что означает и чем занимается семантика как область языкознания; чем является в отличие от лингвистической семантики семантика, которая связана с логикой и вырастает из ее своеобразных потребностей и в которой было развито положение о том, что язык есть не только орудие, но и предмет исследований; чем является семантика как своеобразное философское направление, которое в языке, трактуемом как конвенциональный, усматривает *единственный* предмет исследования (так называемая семантическая философия); чем, наконец, является семантика в смысле так называемой общей семантики, которая — независимо от всех рассуждений — подходит к этой проблематике скорее с общественной, социологической точки зрения.

Понятно, здесь речь идет не только о бесстрастном семантическом анализе, об извлечении и выявлении всех значений, скрытых под термином «семантика». Я постараюсь одновременно показать существенные вопросы проблематики семантических исследований, вскрыть сформулированные ею реальные научные проблемы. Это, естественно, не исключает высказываний своего отношения к ее положениям, своей критической оценки их. Но главное место, по моему мнению, должно занять четкое уяснение себе того факта, какую новую, философски важную проблематику затронула семантика.

Подчеркивание *философской* важности этой проблематики я считаю особенно важным, понимая широту диапазона проблем, скрывающихся под названием «семантика». Среди них, как мы уже говорили, есть проблемы с языковедческой спецификой, а рядом с ними специфично логические, связанные с техникой логического исчисления. Если мы будем заниматься подобными проблемами, то только с точки зрения их философской значимости. Ибо в данной работе нас будет интересовать *философская* сторона семантики, связанные с нею философские проблемы. Иначе говоря, мы будем шире охватывать проблематику, остерегаясь абсолютизации частных анализов и односторонних характеристик, что можно встретить у представителей формальной логики: им инкриминируют это даже люди с «логической квалификацией», как, например, Рассел

и Витгенштейн. В свете этих положений и заглавие данной работы — «Введение в семантику», — охотно используемое семантиками, представителями формальной логики, принято преднамеренно.

Исходя из этих предпосылок и на основании результатов анализа, произведенного в первой части работы, мы стараемся вскрыть несколько главных проблем, которые попытаемся позитивно решить на основе марксистской философии. Это следующая наша задача. Реализации этой задачи будет посвящена вторая часть книги.

Такова своего рода программа действий и таковы намерения, какими руководствовался автор в данной работе. Напрашиваются слова об изменениях в методах изложения и критики марксистских философских направлений, хотелось бы также проанализировать социологические основы извращений, вскрытых в этой связи в марксистской литературе. Мне представляется, однако, что уже довольно много писали на эту тему, много было высказано постулатов и деклараций. А кроме того, опасно слишком много обещать во введении: читатель потом может разочароваться. Эти вопросы, пожалуй, надо решать иначе, просто-напросто реализуя по мере своих сил и способностей постулат *научного* анализа направлений и проблем.

ЧАСТЬ I

**Предмет исследований  
семантики**



## Языкознание

Семантика (семасиология) является разделом языкознания. Чем занимается эта лингвистическая дисциплина и в чем она видит свою самостоятельность в отношении семантической проблематики, изучаемой современной логикой,— вот вопросы, которые нас интересуют прежде всего в данной связи<sup>1</sup>.

Начнем с названия. Своим появлением этот термин обязан крупному французскому лингвисту Бреалю и генетически связан именно с языкознанием. К концу XIX века Мишель Бреаль издает работу под названием «Essai de Sémantique Science des significations», в которой говорится:

«Я попытался начертать главные линии, обрисовать общее подразделение и набросать предварительный план области, которая еще до сих пор не исследовалась и которая должна быть плодом труда многих поколений языковедов. Поэтому я прошу читателя считать эту книгу обычным введением в науку, которую я предлагаю назвать *семантикой*»<sup>2</sup>.

В сноске автор поясняет значение слова «семантика»: «Σημαντική τέχνη—наука о значениях, от слова σημαίνω—«означать», в противоположность фонетике, науке о звуках языка»<sup>3</sup>.

Что понимал сам Бреаль под этим названием и как вообще определяли новую дисциплину языковеды?

Бреаль определяет предмет семантики путем перечисления задач, которые она должна решать.

«В этой второй части мы предлагаем исследовать, как же происходит, что слова, однажды созданные и наделенные определенным значением, расширяют это значение или сужают, переносят его с одного круга понятий на другой, повышают либо понижают его ценность, коротко

говоря, изменяют его. Именно эта, вторая часть составляет семантику, или науку о значениях»<sup>4</sup>.

Как видно из сказанного, Бреаль понимает под семантикой науку, предметом которой является исследование причин, а также структуры процессов *изменений значений* высказываний: расширения и сужения значений, переноса их, повышения и снижения их ценности и т. д.

Это понимание семантики как отрасли языкознания живет и до сего времени, несмотря на большие различия между отдельными школами лингвистов. При этом дело идет не только об определении семантики<sup>5</sup>. Ибо не все авторы дают такую дефиницию, некоторые могут совсем по-другому толковать весь вопрос, когда дело идет об общей классификации (например, де Соссюр, который развил концепцию семиологии как науки, исследующей жизнь знаков в обществе, а лингвистику трактует как часть такой общей науки о знаках), но любое направление в лингвистике занимается исследованием значений слов и их изменениями. Таким образом, каждый из лингвистов так или иначе занимается семантикой в значении, установленном Бреалем.

Так, например, Дармстетер понимает науку о значении слов, то есть семантику, как отрасль истории психологии, но ее задачи он видит в изучении истории значений и причин их изменений<sup>6</sup>. Вандриес полемизирует с Дармстетером и возражает против того, что общие законы, по которым эволюционирует значение слов, якобы содержатся в самих словах<sup>7</sup>. Но и он тем не менее занимается традиционными проблемами лингвистической семантики и даже предлагает создать общую семантику, опирающуюся на данные об изменениях значений слов во всех языках<sup>8</sup>. В нашей литературе подобной проблематикой занимается, например, Зенон Клеменевич<sup>9</sup>. Фактически большинство работ из области общего языкознания рассматривает семантическую проблематику как свою главную проблематику. В дальнейшем я попытаюсь проанализировать подробнее, что скрывается под общей программой лингвистической семантики. Но здесь я хотел бы коротко остановиться еще на некоторых общих положениях.

Свидетельством стабилизации известного уже теперь традиционного значения семантики является тот факт, что общее определение ее, данное в новом учебнике, опираю-

щемся на принципы марксизма, ничуть не отличается от старого определения Бреаля. «Введение в языкознание» Л. Булаховского начинается с определения семантики как одного из важных разделов языкознания:

«Семантика (семасиология) — отдел науки о языке, изучающий значение и изменения значений слов и выражений»<sup>10</sup>.

Это отнюдь не означает, как я уже говорил выше, что в рамках этого всеобщего согласия относительно общего определения не осталось места для различий во взглядах, и различий весьма важных, касающихся существа проблемы. Это не означает также, что лингвисты ограничиваются только таким общим определением, а споры и различия во взглядах переносят в область частной проблематики, касающейся существа значения, причин его изменений, а также конкретных форм этих изменений.

Явно философские моменты содержит, например, позиция В. Дорошевского, который в основу своих семантических рассуждений кладет философскую проблему отношения единичного к общему, принимая за исходный пункт анализ функций связки «есть». Дорошевский анализирует главным образом проблему значения в тесной связи с проблемой обозначения. В этом он видит ядро семантики.

«Потенциальный конфликт, содержащийся в каждом слове и состоящий в том, что употребление каждого слова является единичной актуализацией общего понятия, составляет ядро семантики, понимаемой как часть языкознания, то есть как наука о значениях слов и истории этих значений»<sup>11</sup>.

История значения, согласно Дорошевскому, основывается на увеличении «зазора» между знаком и десигнатом, а причина изменения значений лежит в конфликте между общим характером знака и необходимостью удовлетворить всем конкретным его актуализациям.

Позиция Дорошевского как представителя лингвистической семантики интересна не только в отношении конкретизации общего определения семантики, но также и в отношении взглядов на взаимосвязь семантики, которой занимаются лингвисты, и семантики, которой занимаются логики. Затрагивая эту проблему уже сейчас, до разбора проблематики логической семантики, мы предвосхищаем дальнейший ход рассуждений. Это не наилучший путь с точки зрения ясности изложения, но, к сожалению, часто

неизбежный. В данном случае такая процедура еще и потому правомерна, что позволяет яснее осознать специфику лингвистической семантики и ее исследовательские цели.

В 1955 году в Варшаве состоялся симпозиум логиков и языковедов, посвященный вопросам семантики. Речь шла о согласовании некоторых точек зрения и о выяснении исследовательской проблематики. В результате дискуссии на этом симпозиуме появилась статья В. Дорошевского «Замечания о семантике», опубликованная в журнале «Мысль философична»<sup>12</sup>. В ней Дорошевский определяет семантику как «науку о значении слов», центральной проблемой которой является «вопрос отношения слов к десигнатам». Высказываясь против психологизма в интерпретации семантики, автор апеллирует к объективной истории слов, которая связывается с отражением в слове какого-то фрагмента действительности. Поэтому языковед должен подходить к вопросу значений слов с исторической и социальной точек зрения. Именно в этом Дорошевский видит специфику лингвистической семантики в отличие от логической.

«Законам исторического развития подлежат не только орудия физического труда, но и орудия человеческой мысли, каковыми являются слова. История значений слов находится вне предела интересов формальной логики, и методами этой науки ее нельзя было бы успешно разработать».

«История языка в том, что составляет ее существеннейшую часть, является его историей как общественного орудия мысли, является *исторической эпистемологией* (гносеологией. — *Прим. пер.*), недоступной для исследования ни в какой другой области.

Интерес языковеда к разного рода конвенциональной терминологии будет по необходимости второстепенным, склонности же некоторых представителей формальной логики проявляются в областях, которые чужды языковедению и даже частично противоречат его основам»<sup>13</sup>.

Итак, для лингвистической семантики характерно не то, что она занимается значениями, отношением слов к десигнатам, а то, что она занимается *историей* значений: их возникновением, изменением, а также законами, по которым эти изменения происходят. Таким образом устанавливается специфика лингвистической семантики.

Подчеркивая в своих исследованиях *историческую* сторону языковых элементов и их значений, лингвистическая семантика (семасиология) не теряет из виду другой, *систематической* стороны вопроса. Начатое де Соссюром деление на диахронический и синхронический анализ находит свое продолжение и в соответствующих исследованиях, одной из разнообразных форм которых является представленная в некоторых школах теория семантического поля (например, Иост Трир)<sup>14</sup>.

Посмотрим теперь, какие конкретные исследовательские проблемы вытекают из толкуемой таким образом лингвистической семантики. При этом нас интересуют — в соответствии с замечанием, содержащимся в предисловии, — прежде всего те проблемы, которые содержат философские моменты и так или иначе рассматриваются разнообразными направлениями в философии.

Языкознание исследует — тем или другим способом — язык, языковые выражения, их значение. Входя в сферу отношений между значениями языка и десигнатами, обозначаемыми этими выражениями, лингвистическая семантика наталкивается на проблему знака. Семантик-языковед должен, следовательно, заняться теорией знака. И в известной степени она уже давно была в кругу языковедческих интересов. Например, Вильгельм фон Гумбольдт затрагивал эту проблему уже в 1820 году, проводя различие между языком как отражением и языком как системой знаков<sup>15</sup>. Проблема знака часто возникала и позже, в особенности в работах, посвященных философии и психологии языка<sup>16</sup>. Особенно важной с этой точки зрения является работа де Соссюра — принимая во внимание и ее лингвистический характер, и ее широкие теоретические перспективы. Сейчас, когда семиотика как общая теория знака получила столь большое значение в философской литературе предмета, не следует забывать и о лингвистическом аспекте проблемы. Вот что писал по этому поводу де Соссюр:

«Поэтому мы можем создать науку, которая исследует жизнь знаков на базе общественной жизни; она была бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; назовем ее семиологией (от греческого *σημα* — «знак»). Эта наука раскрывала бы, на чем основываются знаки и какие законы управляют ими. Поскольку это такая наука, которая еще не существует,

нельзя сказать, какой она будет; однако она имеет право существовать, место ей отведено заранее. Языкознание есть только часть этой общей науки, законы, какие откроет семиология, можно будет применять и к языкознанию языкознание же будет таким образом связано с областью, четко определенной в совокупности дел людских»<sup>17</sup>.

Де Соссюр открыто протестует против индивидуалистическо-психологической интерпретации его мысли. Знак должен анализироваться как общественное явление, причем такое, которое не зависит от нашей воли — ни от индивидуальной, ни от общественной. Таким образом, лингвист выдвигает проект создания общей теории знака — семиологии (семиотики), который в другом аспекте был развит логиками и философами.

Языкознание как таковое не создало семиологии, зато в рамках языкознания сильно развилась теория, которая непосредственно соединена с лингвистической проблематикой — теория значения<sup>18</sup>.

Лингвисты задают себе прежде всего вопрос: что такое значение? Ответы на этот вопрос разнообразны. Мы приведем некоторые ответы лишь для примера.

Обращаясь к польской языковедческой литературе, мы сталкиваемся сразу с борьбой двух концепций: ассоциативной и ее противников.

Станислав Шобер понимает значение как ассоциацию языкового представления с внеязыковым (то есть звукового образа с образом какого-нибудь предмета или признака).

«Значение слова возникает вследствие ассоциирования его звукового образа с образом предмета или признака...»<sup>19</sup>

Такое понимание значения привело Шобера к тезису, что слово становится знаком внеязыкового образа<sup>20</sup>, причем таким образом, что позволяет охватить содержанием значения слова не весь внеязыковый образ, а только некоторые его детали, то есть упрощенный образ.

Совершенно иную позицию, противоположную ассоциатизму, представляет в нашей языковедческой литературе Хенрик Гертнер, который полемизирует непосредственно с Шобером<sup>21</sup>.

Я хотел бы остановиться на понимании значения де Соссюром и Булаховским. Я беру именно этих двух авторов ввиду различий в их подходе к проблеме.

У де Соссюра концепция значения неразрывно связана с принятой им концепцией знакового характера языка. Сейчас мы лишь можем, естественно, только указать на этот вопрос; подробнее мы остановимся на нем в другой части работы.

Языковой знак, по де Соссюру, является двухсторонним психическим единством: с одной стороны, звуковой образ, с другой — понятие<sup>22</sup>. Знак, таким образом, является своеобразной комбинацией двух элементов. Это двухстороннее единство звука и понятия будет, как вытекает из рассуждений де Соссюра, значением. Поэтому де Соссюр предлагает заменить название «звуковой образ» названием *signifiant* («обозначающее»), а название «понятие» названием *signifié* («обозначаемое»).

Знак выполняет свою функцию только благодаря этому отношению значений, компоненты которого связаны друг с другом неразрывно. Разрыв этого единства вызвал бы уничтожение знака.

Но не только знака. Это относится также к языку, который является системой знаков. То, что было выше сказано об отношении, образующем значение и обуславливающем существование языка, полностью относится и к отношению мысли и звука в рамках языка.

«Язык можно сравнить также с листом бумаги: мысль — это *recto*, а звук — *verso*; нельзя разрезать *verso*, не затронув одновременно *recto*; точно так же и в области языка невозможно отделить ни звука от мысли, ни мысли от звука; этого можно было бы достичь исключительно только путем абстракции, что привело бы либо в область чистой психологии, либо чистой фонологии»<sup>23</sup>.

Любопытно было бы указать на расхождение во взглядах Булаховского и де Соссюра в вопросе значения. Любопытно не только потому, что мы можем установить, чем занимается лингвистическая семантика, но и потому, что оно указывает нам на существование возможности заниматься одной и той же проблемой разными способами, в зависимости, в частности, от мировоззренческих и методологических установок. Ведь мы говорим о двух ученых, которые интересуются проблемой значения с точки зрения языкознания и оперируют аппаратом языкознания. Но оба они одновременно опираются на определенные философско-методологические установки широкого характера: у де Соссюра явно видно влияние концепции Дюркгейма,

у Булаховского — Маркса. Отсюда и различия во взглядах на те же самые проблемы исследования.

Булаховский выступает против ассоциативной теории, согласно которой сущность значения состоит в слиянии представления со звуковой стороной слова. Функция значения для него неразрывно связана с функцией обозначения<sup>24</sup>. Слово прежде всего обозначает какой-нибудь факт или явление действительности, о которых индивидуум хочет что-либо сообщить другим. Значение же — это содержание слова, проявляющееся в связях с действительностью. Соответствующее значение слова формирует его история<sup>25</sup>.

Попытаемся найти в этой концепции то, что является новым по сравнению с концепциями, с которыми мы познакомились выше. Здесь следует учитывать два момента: подчеркивание связи звукового образа с каким-то фрагментом действительности (в смысле объективно существующего мира), что представляет собой функцию обозначения, а также подчеркивание важности истории слова для установления его теперешнего значения.

Ради точности я хотел бы добавить, что этот взгляд не является господствующим среди советских лингвистов. Например, А. И. Смирницкий отвергает взгляд, согласно которому значение связано с соотносительностью звукового образа и обозначаемого фрагмента действительности, и понимает под значением понятие или представление (создаваемое либо воссоздаваемое), составляющее отражение этой действительности. Таким образом, значение, по его мнению, это как бы связующее звено между звуком и действительностью<sup>26</sup>.

Я должен здесь оговориться, что ограничиваюсь лишь информацией; отсутствие критической оценки не означает, что я солидаризируюсь с представленными выше взглядами.

В связи с проблемой значения лингвисты занимаются в рамках своих семантических исследований также и некоторыми попутными проблемами.

К каким языковым единицам следует отнести значение?

Эту проблему рассматривает, например, Вандриес, когда проводит различие между словом, семантемой и морфемой. Понимая под семантемами «языковые элементы, выражающие понятия представлений (*les idées*



des representations)», а под морфемами такие языковые элементы, которые выражают «отношения, устанавливаемые разумом между семантемами»<sup>27</sup>, Вандриес пытается определить, что следует понимать под выражением и словом<sup>28</sup>. Вопрос семантического качества имеет необычайно важное значение. Точку зрения Вандриеса я привел только для иллюстрации, поскольку проблема эта часто встречается в лингвистической литературе.

Подобным же образом обстоит дело с различением значений и попыткой их классификации. Например, Курилович различает общее значение, являющееся абстракцией, затем — вслед за многочисленными предшественниками — главное значение (независимое от контекста) и частное значение (с добавлением элементов контекста). Особый вопрос составляет значение — калька («отпечаток»), возникающее на основании широко употребляемой лексики или же неологизмов, в которые вкладывается содержание иностранного слова<sup>29</sup>.

Другой важной проблемой лингвистической семантики является вопрос об изменениях значения и их причинах.

Историей языка и этимологией языковых выражений языковедение занимается в том или ином виде с момента своего зарождения. Можно даже осмелиться утверждать, что именно в этой проблематике и берут свое начало корни языковедения. И именно из этих корней вырастает лингвистическая семантика как наука о значении слов и причинах его изменений.

Как мы уже видели ранее, *специфика* лингвистической семантики как раз и заключается в исследовании *истории* значений. Причины изменения значений семантика находит либо в самом языке, либо во внешних по отношению к языку факторах — психологических или социологических. В зависимости от этого законы этих изменений семантика трактует либо как автономные, либо как гетерономные. Однако следует отметить исследовательский реализм языковедов, которые в принципе достаточно учитывают оба фактора и рассматривают их во взаимодействии друг с другом.

Бреаль явно связывает эволюцию значений в языке с эволюцией общественной жизни в широком значении этого слова.

«В современном обществе смысл слов изменяется намного быстрее, чем это имело место в античные времена

или даже в только что минувшую эпоху. Это проистекает из смещения социальных классов, из борьбы интересов и убеждений, из борьбы политических партий, а также из разнообразия стремлений и склонностей людей...»<sup>30</sup>

Сильнее всех, пожалуй, выделяет общественный, классовый момент в развитии языковых значений последователь Бреалья в Collège de France А. Мейе. В особенности в своей работе «Comment les mots changent de Sens»<sup>31</sup> Мейе подчеркивает взаимодействие трех факторов в развитии значения слов: автономные языковые законы, развитие обозначаемого предмета и классовый (групповой) фактор. Резюмируя, автор пишет:

«...Изменения значения должны трактоваться как явления, основным условием которых является дифференциация составных элементов общества»<sup>32</sup>.

Вандриес, который занимается вопросом автономных законов, управляющих изменением значений, протестует, как мы уже указывали, против трактования этих законов как бытующих в самих словах<sup>33</sup>.

Точно так же Клеменсевич, который исследует проблему значения с точки зрения языковых законов, одновременно отмечает важность внеязыкового фактора. По его мнению, играет роль прежде всего непостоянство человеческой жизни, отражением которой в языке является исчезновение некоторых слов (обозначающих давно исчезнувшие институты и формы жизни), а также появление неологизмов. На этом же основании происходит изменение значений существующих слов (например, общее название для гусиного пера и для пера, которым пишут, либо общее название «лампа» для светильника, керосиновой и электрической лампы). Во-вторых, играет свою роль психологический фактор — эмоциональное отношение говорящего, в связи с которым изменяется эмоциональная окраска слова. В результате мы избегаем употреблять некоторые слова, заменяя их эвфемизмами и т. д.<sup>34</sup>

Булаховский, концентрирующий свое внимание на внутренних вопросах языка, также ясно видит и подчеркивает роль социального фактора в развитии языка и значения.

«В связи с изменениями социального строя, с развитием разных отраслей производства, с развитием материальной и духовной культуры вообще — техники, науки, искусства, с изменением характера отношений с другими народами мы наблюдаем, с одной стороны, *исчезно-*

вение ряда слов, которые теряют свое значение, по мере того как обозначаемые ими понятия исчезают из обихода; с другой стороны, и это значительно чаще, мы наблюдаем явление *возникновения* слов-знаков для обозначения новых представлений и понятий, выработанных в ходе жизненной практики носителями данного языка»<sup>35</sup>.

Понимание социального и исторического характера языкознания, что нашло уже свое выражение в цитированной выше работе Гумбольдта, ясно видно также в трудах таких лингвистов, как де Соссюр, Мейе, Вандриес, Марсель Коэн и другие. С особой силой оно выступает в области семантики.

Уже Бреаль, разъясняя свои положения на примере этимологии римской магистратуры, писал:

«Следует отдавать себе отчет в том, насколько необходимо, чтобы наше знание языка опиралось на историю. Только история может придать словам ту степень точности, которая необходима для их правильного понимания»<sup>36</sup>.

Отсюда автор приведенных строк делает вывод о принадлежности семантики к историческим наукам:

«Тем более семантика будет входить в круг исторических наук. Не существует таких изменений в значении слов или в грамматике и нет таких особенностей синтаксиса, которые можно было считать чем-либо другим, а не мелкими историческими событиями»<sup>37</sup>.

С этой точки зрения изучение языков примитивных народов также следует рассматривать как средство исторического подхода к семантике. Здесь я имею в виду прежде всего работы таких исследователей, как Леви-Брюль, Боас, Малиновский и другие. Я здесь абстрагируюсь от спорных вопросов, таких, например, как вопрос пралогического характера примитивного мышления, которые в свое время вызвали целую волну обвинений со стороны советских авторов (обвинений, опирающихся, по моему мнению, в значительной степени на недоразумения): Леви-Брюля и других обвиняли в том, что они поддались нажиму со стороны расизма, империализма и т. д.<sup>39</sup>. Однако некоторые результаты этих исследований несомненны и независимы от той или иной интерпретации. Именно те результаты, которые говорят о большей конкретности примитивных языков, о их неспособности выражать общие понятия и о связи этих фактов с образом жизни и потребностями примитивных народов. Трудно подыскать

более убедительный довод в пользу исторического характера лексики и значения.

Особый раздел в этой проблеме составляла историческая семантика Н. Я. Марра и его школы. До языковедческой мысли Запада она не дошла, а в Советском Союзе была разгромлена в результате дискуссии, проведенной в конце сороковых годов. Способ, каким тогда была отвергнута теория, был вредным; такого рода метод действия в научных дискуссиях следует признать столь же недопустимым, как и имевшее ранее место благоговение перед этой теорией как единственно правильной и истинной. В настоящее время считают, что теория Марра, а в особенности его четырехэлементный анализ, прямо противоположная сравнительно-историческому методу, содержит много надуманных элементов. Полагают также, что провозглашенная Марром концепция классовости и стадильности развития языка, точно так же, как и концепция, согласно которой языки должны развиваться только исключительно путем скрещивания, представляла собой вульгаризацию марксистской теории. Это правильное обвинение. Но одновременно теория Марра — не говоря о конкретных достижениях в исследовании языков Кавказа — несомненно содержала много интересных и ценных мыслей общетеоретического значения. Я говорю в особенности о концепции «ручного» языка (языка жестов. — *Прим. перев.*) как праязыка и связанной с ней гипотезой развития человеческого языка от конкретного с образным характером к абстракции. Я имею в виду, далее, гипотезу, связывающую язык-мышление с процессом производства. Это немаловажные вопросы с точки зрения исторического рассмотрения семантики, и их нельзя отбрасывать без достаточных аргументов. А таковых, однако, часто не доставало в выводах противников Марра, в том числе и при критике более частных положений его лингвистической теории<sup>40</sup>.

Как я уже отмечал выше, подчеркивание роли историко-социального фактора в развитии значений у всех языковедов идет в ногу с исследованием внутриязыковых законов этого развития.

Обращаясь снова для примера к учебникам Вандриеса и Булаховского, мы найдем у обоих авторов в принципе один и тот же ход мыслей. Поскольку речь идет уже о специальных рассуждениях, встречающихся в каждом учеб-

нике и обильно снабженных примерами из разных языков, мы возьмем попытку обобщения, произведенную Вандриесом.

«Разнообразные изменения значения слов сводятся порой к трем основным типам: сужение, расширение, перенос. Сужение происходит тогда, когда слово от общего значения переходит к частному (например, *pondre*, *sevrer* или *traire*), расширение — когда, наоборот, слово переходит от частного значения к общему (например, *aggraver*, *gagner* или *triumpher*), перенос — когда оба значения с точки зрения объема либо одного ранга, либо одинаковые (например, *chercher*, *choisir* или *mettre*) и когда вопрос о переходе одного значения к другому решает соседство десигнат (например, когда значение слова подвергается переносу от того, что содержит, к тому, что содержится, от причины к следствию, от знака к обозначаемому предмету и т. д., либо наоборот). Само собой разумеется, что расширение и сужение значения — это чаще всего результат переноса значения и что перенос значения принимает разнообразные формы, которым грамматисты дают специальные названия (метафора, синекдоха, метонимия, катахреза и т. д.)...»<sup>41</sup>

Именно этими вопросами занимаются Бреаль, Дармстетер, Нироп<sup>42</sup>, а также Клеменсевич<sup>43</sup>, Звегинцев и Булаховский. Последний пишет об этом подробно и широко подкрепляет изложение фактами из области лингвистики<sup>44</sup>. Поэтому я и отсылаю читателей, интересующихся данной проблематикой, к его учебнику<sup>45</sup>.

Наконец, я хотел бы остановиться на соображениях языковедов относительно проблемы многозначности выражений и необходимости их уточнения. Впрочем, это вопросы, непосредственно связанные с применяющимся в философии методом семантического анализа, что усиливает наш интерес к ним.

У отца лингвистической семантики Бреалья мы также находим проблему многозначности и ее источников (хотя проблема эта имеет намного более длинную историю и берет начало по меньшей мере от Аристотеля). Бреаль видит в контексте соответствующее предохранительное средство от опасности скольжения значения<sup>46</sup>. На подобной же точке зрения стоит Вандриес<sup>47</sup>, который различает основное значение слова (независимо от контекста) от второстепенного значения (связанного с контекстом). Булаховский

также занимается проблемой многозначности и ее исключения.

«Однако существуют области мышления — прежде всего наука, — для которых психологическая окрашенность слова имеет минимальное значение. В этих областях все подчинено задачам чисто интеллектуального (логического) познания действительности, и потому работа над уточнением речи имеет здесь огромное значение. Этой цели служит подбор слов с точно определенным кругом употребления, слов; имеющих только одно определенное, специально закрепленное за ними значение, не вызывающее в принципе никаких дополнительных ассоциаций. Такими точно... разработанными вплоть до непосредственной договоренности словами являются так называемые термины»<sup>48</sup>.

Итак, от лингвистической семантики исходит призыв об уточнении речи, что составляет, надо сказать, главный методологический постулат семантического анализа. Одновременно языковеды видят опасность злоупотребления этим методом и предостерегают от него.

«Между словом и его значением в преобладающем большинстве случаев имеет место связь совершенно внешняя, но тем не менее вследствие частого употребления связь эта настолько укрепляется, что мы начинаем склоняться к тому, чтобы принимать слово за само содержание и далее вследствие объективизации предметных представлений отождествлять слова с обозначаемыми ими предметами. В призраках мы нередко видим реальную значимость, символы предметного отражения действительности принимаем за саму действительность. Подвергаясь мощному влиянию языкового воображения, мы отодвигаем на задний план связывающие нас с реальным миром внеязыковые представления, и, разорвав таким образом непосредственную связь с действительностью, мы удовлетворяем потребности восприятия ее лишенными самостоятельной значимости звуковыми символами. Именно в этом кроется большая опасность языкового мышления: кто им злоупотребляет, легкомысленно стирая выразительность связанных с ним реальных образов, тот становится на скользкий путь пустого вербализма, который рано или поздно должен привести к выхолащиванию разума»<sup>49</sup>.

Предостережение это сказано устами лингвиста. Напомним его для наших последующих философских рассуждений.

Таким образом мы закончили общую информацию о предмете лингвистической семантики.

Как мы видели, ее предметом является значение слов, изменения значения слова и причины этих изменений. Специфическую черту лингвистической семантики составляет изучение истории значений, историческое толкование языка.

Касаясь частных интересов лингвистической семантики, мы смогли выделить следующие проблемы: характер и функция знака, как знаки что-то обозначают, многозначность в виде омонимии и полисемии, а также связанные с этим опасности и т. д.

Разумеется, это не все области лингвистической семантики. Однако мне представляется, что это главные области и что выделение их должно оказаться полезным для наших дальнейших рассуждений.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Очерк истории семасиологии и изменений круга ее интересов мы можем найти, в частности, в работах: E. Cassirer, *Philosophie der symbolischen Formen*, Teil I. Die Sprache, Berlin, 1923; H. Kroneser, *Handbuch der Semasiologie*, Heidelberg, 1952; S. Ullmann, *The Principles of Semantics*, Oxford, 1957; В. А. Звегинцев, *Семасиология*, М., 1957.

<sup>2</sup> Кронассер (цит. соч., стр. 29) не согласен с этим тезисом, выступая против общепринятого мнения по этому вопросу.

<sup>3</sup> M. Gréal, *Essai de sémantique. Science des significations*, Paris, 1904, p. 8.

<sup>4</sup> Там же, стр. 99.

<sup>5</sup> Ср. A. W. Read, *An Account of the Word «Semantics»*, в *«Word»*, 1948, 4, p. 78—97.

<sup>6</sup> A. Darmesteter, *La vie des mots étudiée dans leurs significations*, Paris (без даты вып.).

<sup>7</sup> L. Vendryes, *Język*, Warszawa, 1956, s. 185—186.

<sup>8</sup> Там же, стр. 195.

<sup>9</sup> Z. Klemensiewicz, *Język polski*, Lwów—Warszawa, 1937, s. 10—14, 22—24 и далее.

<sup>10</sup> Л. Булаховский, *Введение в языкознание*.

<sup>11</sup> W. Doroszewski, *Z zagadnień leksykografii polskiej*, Warszawa, 1954, s. 93.

<sup>12</sup> W. Doroszewski, *Uwagi o semantyce*, в *«Myśl Filozoficzna»*, 1955, № 3 (17).

<sup>13</sup> Там же. Это положение подтверждается позицией сторонников логического метода в семантике, выражаемого ими *expressis verbis*. Например, Ф. Р. Блэйк пишет в работе, озаглавленной *«The Study of Language from the Semantic Point of View»* («Indoger-

manische Forschungen», 1938, 56, S. 242; цит. по В. А. Звегинцеву, цит. соч. стр. 12).

<sup>14</sup> Ср. по этому вопросу Ульман, цит. соч., стр. 152 и далее.

<sup>15</sup> W. v. Humboldt, Über das vergleichende Sprachstudium Taschenausgaben der «Philosophischen Bibliothek», z. 17, S. 22.

<sup>16</sup> В качестве примера можно назвать следующие работы: К. Вühler, Sprachtheorie, Jena, 1934; Е. Кассирер, Philosophie der symbolischen Formen; его же: An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture, New York, 1954; О. Jespersen, Language, Its Nature, Development and Origin, London, 1954; А. Марту, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, Halle a. S., 1908; А. Мейнонг, Über Annahmen, Leipzig, 1910; С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, разд. XI: «Речь», М., 1946; Е. Сапир, Language, New York, 1921; W. Wundt, Völkerpsychologie, Т. 1 и 2; «Die Sprache», Leipzig, 1911—1912.

<sup>17</sup> F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1949, p. 33.

<sup>18</sup> Ср., например, G. Stern, Meaning and Change of Meaning, Göteborg, 1931.

<sup>19</sup> S. Szober, Zarys językoznawstwa ogólnego, z. 1, Warszawa, 1924, s. 5.

<sup>20</sup> Там же, стр. 6.

<sup>21</sup> Н. Гаертнер, Grammatyka współczesnego języka polskiego, Cr. 2, Lwów, 1933, s. 66 и далее. Критику ассоционизма Шобера содержит статья М. Оссовской: М. Ossowska i jej, Semantyka profesora St. Szobera.

<sup>22</sup> Ф. де Соссюр, цит. соч., стр. 99.

<sup>23</sup> Там же, стр. 157.

<sup>24</sup> Л. Булаховский, цит. соч., стр. 11.

<sup>25</sup> Там же, стр. 12.

<sup>26</sup> С. И. Смирницкий, Значение слова, «Вопросы языкознания» № 2, 1955, стр. 82—84.

<sup>27</sup> Вандриес, цит. соч., стр. 74.

<sup>28</sup> Там же, стр. 87.

<sup>29</sup> Е. Р. Курялович, Заметки о значении слова, «Вопросы языкознания» № 3, 1955, стр. 78—79.

<sup>30</sup> Бреаль, цит. соч., стр. 105—106.

<sup>31</sup> Опубликовано первоначально в «Année Sociologique», 1905—1906, а затем перепечатано в книге: А. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, Paris, 1948.

<sup>32</sup> Мейе, цит. соч., стр. 271.

<sup>33</sup> Вандриес, цит. соч., стр. 186.

<sup>34</sup> Клеменевич, цит. соч., стр. 21 и далее.

<sup>35</sup> Л. Булаховский, цит. соч., стр. 74.

<sup>36</sup> Бреаль, цит. соч., стр. 112.

<sup>37</sup> Там же, стр. 256.

<sup>38</sup> L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, 1912; F. Boas, Kultur und Rasse, Leipzig, 1914; его же: Race, Language and Culture, New York, 1949; В. Малиновский, The Problem of Meaning in Primitive Language. Приложение в С. К. Ogden and J. A. Richards, The Meaning of Meaning, London, 1953.



<sup>39</sup> Ф. Н. Ш е м я к и н, Теория<sup>3</sup> Леви-Брюля на службе империалистической реакции, «Философские записки», вып. 5, М., 1950.

<sup>40</sup> Ср. в частности: В. В. В и н о г р а д о в, Свободная дискуссия в «Правде» по вопросам языкознания...; Д. И. Р а м и ш в и л и, Неприемлемость теории первичности языка жестов, «Известия Академии педагогических наук РСФСР. Вопросы психологии мышления и речи», вып. 81, М., 1956.

<sup>41</sup> В а н д р и е с, цит. соч., стр. 191.

<sup>42</sup> К. Н у г о р, Das Leben der Wörter, Leipzig, 1903.

<sup>43</sup> К л е м е н с е в и ч, цит. соч., стр. 10—14.

<sup>44</sup> Л. Б у л а х о в с к и й, цит. соч., стр. 46 и далее.

<sup>45</sup> Необычайно интересный и весьма глубокий материал читатель найдет в цитированных выше работах Ст. Ульмана и Г. Кронассера.

<sup>46</sup> Б р е а л ь, цит. соч., стр. 143 и далее.

<sup>47</sup> В а н д р и е с, цит. соч., стр. 189—190.

<sup>48</sup> Л. Б у л а х о в с к и й, цит. соч., стр. 19.

<sup>49</sup> S. S z o b e r, op. cit., S. 20—21.

## ГЛАВА II

# Л о г и к а

Осуществляя свое намерение исследовать на базе конкретных областей знания значение слова «семантика» и выяснить сферу проблематики семантики, я перехожу от языкознания к логике. Поступая так, мы окажемся в самом центре этой проблемы, ибо с конца прошлого столетия именно логика стала областью, в которой интерес к семантике был самым тесным образом связан с философией. Именно поэтому мы сталкиваемся здесь с многочисленными трудностями, в особенности методологического характера.

Разумеется, и традиционная (лингвистическая) семантика содержит важные философские моменты. Понятно, что отдельные языковеды, обращающиеся к семантике, занимали и занимают совершенно определенные философские позиции (о чем они порой говорят прямо и открыто), благодаря которым они именно так, а не иначе решают семантические проблемы. Но в области логической семантики с этим вопросом дело обстоит иначе.

В лингвистической семантике мы без труда можем отделить чисто языковые рассуждения от их той или иной философской интерпретации. Только в исключительных случаях, например в системе де Соссюра, мы имеем дело со столь тесной, органической связью языковедческой теории с философской концепцией, что механически их разделить нельзя. Но здесь дело идет уже о *системе* науки о языке, а не просто о рассуждении из истории значений.

И вот то, что в области лингвистической семантики является скорее исключением, в логической семантике составляет правило. Во-первых, потому, что — если не говорить о технических разделах логических исчислений —

логика есть *философская* наука, не поддающаяся отделению от проблематики теории познания и от определенных мировоззренческих концепций. Во-вторых, потому, что логическая проблематика семантики развивается в тесной связи с определенными философскими направлениями, как бы в их обрамлении, наиболее ярким примером чего является неопозитивизм, который был главным духовным покровителем семантики на протяжении последних десятилетий. Поэтому, собственно говоря, отделение логической семантики от ее философской базы — задача не только трудная, но и в какой-то степени искусственная. Тем не менее разделение это возможно и даже необходимо. Ибо только идя по этому пути, мы сможем выделить из философского обрамления, будь то хорошего или плохого, реальную исследовательскую проблематику, которая родилась из потребностей развития формальной логики и продолжает иметь значение для развития этой отрасли науки, а тем самым — принимая во внимание роль и место формальной логики в человеческом знании вообще, — для развития науки в целом.

Сомнения относительно возможности разрыва генетической связи между семантикой и философией, а также обвинение, связанное с представлением готовых результатов некоего мыслительного процесса, некой абстракции вместо объективной экспозиции фактического материала, мы отвергаем на основании известного положения, гласящего, что изложение результатов исследований отнюдь не должно воссоздавать всего конкретного пути исследования. Ех ге\* объяснения метода изложения своей экономической теории Маркс высказал некогда мысль, что путь исследования всегда эмпиричен и ведет через исследования конкретных фактов в их конкретной последовательности, а это не означает, что, излагая свою теорию, исследователь якобы должен повторять весь этот путь в подробностях. В изложении можно, а часто и нужно брать за исходный пункт готовые результаты, выводы из произведенной уже абстракции. Разумеется, это вызывает ряд трудностей и неудобств, но иной процесс дал бы нам их еще больше. В связи с этим мы обращаем внимание на то, что данный раздел следует читать и продумать

---

\* По случаю, касаясь (лат.). — Прим. перев.

вать в тесной связи с последующим философским разделом. Ибо только благодаря связи логических проблем с их исторически данной философской базой и философской интерпретацией мы можем получить целостную картину.

Обращаясь после этого краткого отступления к истории вопроса, можно сказать, что если под семантикой понимать в общем рассуждения на тему об отношении высказываний языка к предметам, этими выражениями обозначаемым, или рассуждения на тему о значении высказываний, то элементы такой науки мы найдем уже в древности, в особенности у Аристотеля. Интерес к этой проблематике проявлялся у разных философов на протяжении всей истории философии. Однако логическая семантика как самостоятельная область появляется только к концу XIX века, к тому же лишь на почве определенных трудностей и связанных с ними исследовательских потребностей логики и математики. Понимание того, что язык не только средство, но и *предмет* исследования, возникает главным образом из потребности преодоления трудностей в логическом (терминологическом) обосновании арифметики, трудностей, которые угрожали всему ее теоретическому построению, а также логике. Я вовсе не хочу утверждать, что это единственная причина, вызвавшая усиленный интерес к языку со стороны логики. Есть и другая причина, которая от экспериментальных наук ведет к конвенционализму, а оттуда — к изучению языка. Но стимулы, вытекающие из вскрытых антиномий, особенно сильны и своеобразны. Это внутренние стимулы, они связаны с потребностями развития математики и логики, независимо от тех или иных философских интерпретаций, даже если они им сопутствуют.

Все началось с письма молодого тогда Бертрана Рассела к уже известному Готтлобу Фреге, когда тот закончил второй том своих «Grundgesetze der Arithmetik». В этом письме Рассел сформулировал свой знаменитый парадокс класса классов, которые не являются элементами класса; таким образом, он показал, что в работе Фреге содержится противоречие, угрожающее всей его системе. И вот этот великий математик и логик, которого в настоящее время считают самым крупным новатором в области логики со времен Аристотеля, был вынужден написать в «Дополнении» к своему произведению следующие полные тревоги слова:

«Пожалуй, самое страшное, что может произойти с ученым-писателем,— это подрыв одного из оснований его конструкции после завершения произведения.

В такую ситуацию поставило меня письмо г. Бертрана Рассела именно тогда, когда печатание данного тома приближалось к концу. «Solatium (sic!) miseris socios habuisse dolorum». Я тоже этим утешаюсь, если это может быть утешением; ибо каждый, кто в своих доказательствах обращался к области понятий, классов, множеств, находится в том же положении, что и я. Ставится под вопрос не частный способ построения арифметики, а то, что арифметике вообще можно дать логические основы»<sup>1</sup>.

Фреге правильно понял значение расселовской критики. Критика эта касалась в сущности канторовой теории множеств, родственной с которой была и система Фреге. Этому вопросу было посвящено также основное логическое произведение Рассела и Уайтхеда — «Principia Mathematica».

В чем же состоит критика, содержащаяся в письме Рассела? Вот как пишет об этом сам Фреге:

«...Г-н Рассел открыл антиномию, которую теперь можно было бы сформулировать так:

Никто не будет утверждать о классе людей, что это — человек. Перед нами класс, который не принадлежит самому себе. Я говорю, что нечто принадлежит какому-то классу, когда подходит под понятие, объем которого есть класс.

Рассмотрим теперь понятие: *класс, который не принадлежит самому себе*. Объемом этого понятия (если мы можем говорить о его объеме) является, следовательно, класс классов, которые не принадлежат самим себе. Назовем его просто классом *K*. Зададимся теперь вопросом, принадлежит ли класс *K* самому себе. Допустим сначала, что да. Если что-либо относится к какому-то классу, то оно попадает под понятие, объемом которого является этот класс. Если, следовательно, какой-нибудь класс принадлежит самому себе, то это класс, который не принадлежит самому себе. Таким образом, наше первое предположение ведет к противоречию. Допустим теперь, что наш класс *K* не принадлежит самому себе и в таком случае подпадает под понятие, объемом которого он сам является и вследствие этого принадлежит самому себе. И здесь мы снова получаем противоречие»<sup>2</sup>.

Этот парадокс Рассела стал особенно знаменит, хотя после него было открыто много других. Впоследствии ему было дано очень много формулировок, более или менее интуитивных, более или менее легких или трудных. Я не буду представлять здесь отдельных парадоксов<sup>3</sup>, но по причине исключительной исторической значимости парадокса Рассела позволю себе привести его еще в формулировке Мостовского. Следует заметить, что Мостовский считает тождественными понятия «множество» и «свойство»,

«Назовем *нормальными* свойствами такие свойства, которые не служат сами для себя. Так, нормальными свойствами будут: *быть человеком* (ибо ни один человек не идентичен с этим свойством), *быть функцией*, *быть числом* и т. п. Свойство *быть свойством* уже не нормальное, так как принадлежит самому себе.

Используя термин *множество* вместо *свойство*, мы скажем, что *нормальными* множествами мы называем такие множества, которые не являются своими собственными элементами. Множества людей, функций, чисел суть нормальные, множество всех множеств не является нормальным.

Рассмотрим теперь следующее свойство  $W_0$ :

*быть нормальным свойством.*

(В другой формулировке:  $W_0$  есть множество всех нормальных множеств.) Для всякого свойства  $W$  имеет место равнозначность:

(1) ( $W$  имеет свойство  $W_0$ )  $\equiv$  ( $W$  есть нормальное свойство), из которой на основе правила транспозиции вытекает другая равнозначность:

(2) ( $W$  не имеет свойства  $W_0$ )  $\equiv$  ( $W$  не есть нормальное свойство).

Спросим теперь, является ли  $W_0$  нормальным свойством или не является.

Если  $W_0$  есть нормальное свойство, то (в соответствии с определением нормальных свойств) свойство  $W_0$  не служит самому себе, то есть  $W_0$  не имеет свойства  $W_0$ . В соответствии с (2) выводим отсюда, что  $W_0$  не есть нормальное свойство вопреки допущению, что таковым оно является.

Если же  $W_0$  не есть нормальное свойство, то (в соответствии с определением нормальных свойств) свойство

$W_0$  служит самому себе. В соответствии с (1) делаем вывод, что  $W_0$  есть нормальное свойство вопреки допущению, что таковым оно не является.

Таким образом, как предположение, что  $W_0$  есть нормальное свойство, так и предположение, что  $W_0$  не есть нормальное свойство, ведет к противоречию, то есть  $W_0$  не есть ни нормальное, ни ненормальное, несмотря на то что, согласно закону исключенного третьего, один из этих случаев должен был бы иметь место»<sup>4</sup>.

Еще проще это рассуждение представляется в виде формулы:

«Дефиниция свойства  $W_0$  такова:

$$W_{0df} = (X)(X \in X)'.$$

Из этого вывода мы получаем

$$\vdash X \in W_0 \equiv (X \in X)',$$

отсюда путем подстановки постоянного вместо буквы  $X$  и учета тавтологии  $\vdash (p \equiv p') \equiv p \cdot p'$  вытекает

$$\vdash (W_0 \in W_0) \cdot (W_0 \in W_0)»^5.$$

Я подробно остановился на парадоксе Рассела, потому что он типичен по крайней мере для группы парадоксов, связанных с теорией множества и неконтролируемым употреблением слова «каждый» или «все». В «Principia Mathematica» Рассел еще не проводит различия между разнообразными типами парадоксов; с появлением же работы Ф. П. Рамсея («The Foundations of Mathematics...») наблюдается разделение парадоксов на математические и лингвистические (семантические); это разделение Рассел также одобряет во введении ко второму изданию «The Principles of Mathematics» (1937).

О чем же идет речь в этом парадоксе, который, подобно семантическим парадоксам типа «лжец» (парадокс Евбулида), внешне похож на софистическую игру? Речь идет здесь о весьма важной вещи, ибо вскрытие возможности конструирования противоречия на основании теории дедукции равнозначно уничтожению ее. Из парадокса Рассела и ему подобных вытекает также необходимость либо отказа от принципа исключенного третьего и логического принципа противоречия, а значит, и от известной нам системы формальной логики, либо поиска способа устранения противоречия путем изменения системы спо-

собов выражения. Таким образом, внимание исследователей было направлено на язык не только как инструмент, но и как *предмет* исследования. Тем более что известный тип парадоксов, как, например, классическая антиномия лжеца или сконструированные позднее антиномии Берри или Ричарда<sup>6</sup>, ясно показывал, что естественные потребности развития этой дисциплины продиктовали необходимость преодоления противоречий, которые угрожали ее основам. Как оказалось, в случае математических парадоксов речь шла о неправомерном употреблении слова «каждый», что неминуемо подвергало теорию множеств и связанные с ней логические теории опасности и противоречия; в случае же лингвистических парадоксов — о смешении языка, который исследуют, с языком, на котором рассуждают об исследуемом языке. «В обоих случаях, — говорит Мостовский, — мы констатируем одно и то же явление: *слишком универсальная система, в которой «можно слишком много выразить», должна быть противоречивой*»<sup>7</sup>.

Во всяком случае, языковые проблемы с этого времени становятся неотъемлемой составной частью логических исследований (точнее, исследований из области основ математики и логики), что составляет повод для разнообразнейших философских интерпретаций и спекуляций, соединяющихся с исследованиями чисто логическими. Это философское течение опирается на логику и результаты ее исследований, но в свою очередь оказывает также влияние на дальнейшее направление и ход исследований. Именно поэтому, как мы уже подчеркивали, так трудно отделить здесь философию от логики. Хотя с проблемами *sensu stricto* философскими мы столкнемся только в следующей главе, все же, предвосхищая дальнейшее изложение, я хотел бы заявить о своем отрицательном отношении к всевозможным разновидностям семантической философии как новому варианту субъективного идеализма. Тем более, по моему мнению, следует подчеркнуть реальное научное достижение современной математической логики, состоящее в понимании, что язык также является *предметом* логических исследований. Это по своей простоте, гениальное открытие. Правда, элементы понимания этого факта мы находим в истории науки значительно раньше, но это было скорее гениальное прозрение, чем сознательный научный вывод. Правильным является различение семантики в *широ-*



ком значении этого слова, которая охватывает все языковые вопросы логики, и семантики в *более точном значении этого слова*, которая занимается специальным исследованием отношения выражений к обозначаемым ими предметам. Взгляд этот остается в полном согласии с точкой зрения А. Тарского. Тарский, трактуя семантику как совокупность рассуждений, связанных с понятиями, касающимися некоторых связей между выражениями и предметами, о которых говорится (в качестве примера таких понятий он называет: обозначение, актуализация и определение), считает такое понимание слова «семантика» суженным по сравнению с обычным смыслом этого слова<sup>8</sup>. Expressis verbis говорит о семиотике (то есть о синтаксисе, семантике и прагматике) как о семантике в более широком значении этого слова Котарбиньский<sup>9</sup>.

Но вернемся к парадоксу Рассела и результатам его исследований.

Готтлоб Фреге уже в 1892 году в статье «Über Sinn und Bedeutung»<sup>10</sup> поставил теоретическую проблему значения и обозначения, то есть центральную проблему семантики [Фреге, несомненно, опирался здесь на традицию различения прямого значения (denotacja) и косвенного значения (konnotacja)], но идея эта, подобно тому как и другие идеи великого мыслителя, долго не замечалась. Языковые проблемы, как мы уже знаем, выдвинулись в логику на передний план благодаря открытию парадокса Рассела. Возможности преодоления этого и ему подобных парадоксов Рассел рассматривает в «The Principles of Mathematics», а развернутую концепцию по этому вопросу представил в произведении, написанном совместно с А. Н. Уайтхедом, «Principia Mathematica». Это так называемая *теория типов*.

Основная мера здесь весьма проста, хотя совсем не интуитивна. Она состоит — как и в других подобных теориях — в таком ограничении «универсальности» языка, которое позволило бы уберечься от противоречий. Эта первичная мера была, таким образом, чисто негативная<sup>11</sup>. Лишь дальнейшее развитие теории типов, а в особенности переход от так называемой *разветвленной теории типов* (Рассел) к так называемой *упрощенной теории типов*<sup>12</sup> (Хвистек — Рамсей), делает ее более естественной, интуитивной и приближает ее к разновидностям грамматических категорий, что особенно сильно высту-

пает в *теории семантических категорий* Ст. Лесневского, родственной в отношении своих концепций с упрощенной теорией типов<sup>13</sup>.

Мысль Рассела склоняется к тому, что язык не может быть таким универсальным, чтобы допускать высказывания о всех элементах некоего множества, если совокупность множества не была предварительно точно определена и завершена. Или, говоря другими словами, высказывание о *всех* элементах множества не может быть одним из элементов этого множества, высказывание о целом может быть правомочным только «извне» этого целого. Не соблюдая этого запрета, мы получим высказывания не ложные, а просто лишённые смысла. Именно такие бессмыслицы лежат в основе так называемого логического круга в рассуждении, ведущем к парадоксам. Такова вкратце основная идея теории типов.

Однако предоставим слово самому Расселу:

«Анализ парадоксов, которых следует избегать, показывает, что все они проистекают из некоторого рода порочного круга. *Порочные круги, о которых идет речь, возникают вследствие предположения, что какое-то множество предметов может содержать элементы, которые поддаются дефинированию только на основе всего этого множества.* Так, например, можно было бы допустить, что множество предложений содержит предложение, которое гласит, что «все предложения либо истинные, либо ложные». Однако казалось бы, что такое утверждение не может быть принципиальным, поскольку «все предложения» не имеют в виду какого-то уже определенного множества, ибо мы составляем новые предложения, утверждающие что-то о «всех предложениях». Поэтому мы будем вынуждены сказать, что утверждения о «всех предложениях» не имеют смысла. Вообще говоря, когда дапо какое-нибудь множество предметов, такое, что если мы допустим, что множество имеет сумму, то оно будет содержать элементы, которые заранее составляют эту сумму, в таком случае множество такого рода не может иметь суммы. Когда мы говорим, что какое-то множество «не имеет суммы», то разумеем под этим прежде всего, что нельзя сформулировать осмысленных утверждений о «всех его элементах». Как показывает приведенный выше пример, предложения должны составлять множество, не имеющее суммы. Мы увидим вскоре, что то же самое касается функций пред-

ложений, даже когда они ограничиваются такими предложениями, которые действительно может иметь некоторый предмет «а» в качестве аргумента. *В таких случаях следует разложить наше множество на меньшие множества, каждое из которых имеет некоторую сумму. Именно этого старается достичь теория типов.*

Принцип, который позволяет нам избежать необоснованное суммирование, можно сформулировать следующим образом: *«Если что-либо связывается с целым множеством, то оно не может принадлежать к этому множеству»,* или наоборот: *«Если из предположения, что какое-то множество имеет сумму, вытекает, что оно имеет элементы, которые поддаются дефинированию только на основе этой суммы, то множество это не имеет суммы».* Назовем это «принципом заколдованного круга», ибо он позволяет избежать заколдованного круга, связанного с допущением необоснованных сумм. *«Все предложения» надо каким-то образом ограничить, прежде чем они станут целым, а каждое ограничение, которое делает это целое обоснованным, должно быть таким, чтобы какое-либо утверждение относительно целого не входило в состав этого целого»<sup>14</sup>* (курсив мой.—А. III.).

Рассел применяет анализ парадоксов к области пропорциональных функций предложения, указывая, что и здесь без помощи иерархии типов возникают парадоксы, опирающиеся на заколдованный круг в рассуждении.

«...Окажется, что можно в самом начале попасть в заколдованный круг, допуская в качестве аргументов функции предложения такие выражения, в которых выступает эта функция. Этот вид ошибки весьма поучителен, а устранение ее ведет, как мы увидим, к иерархии типов.

...Когда мы говорим, что  $f_x$  многозначно означает  $f_a$ ,  $f_b$ ,  $f_c$  и т. д., мы имеем в виду, что  $f_x$  означает один из числа предметов  $f_a$ ,  $f_b$ ,  $f_c$  и т. д., однако не какой-то определенный предмет, а неопределенный. Отсюда вытекает, что  $f_x$  имеет точно определенное значение (то есть точно определенное в том смысле, что по существу оно многозначно), когда предметы  $f_a$ ,  $f_b$ ,  $f_c$  и т. д. точно определены. Это означает, что функция точно определена только тогда, когда будут уже точно определены все ее значения. Отсюда следует, что никакая функция не может быть таковой, потому что она среди своих значений имеет какое-либо такое, которое заранее предполагало бы эту функцию;

мы не смогли бы считать предметы, обозначенные многозначно функцией как определенные, если бы функция не была определенной; тем не менее, как мы видели, функция не может быть определенной, если ее значения неопределенны. Это частный, но, возможно, наиболее основной случай принципа заколдованного круга. *Функция является чем-то таким, что многозначным путем обозначает какой либо элемент некоторого целого, а именно значения (wartości) этой функции; таким образом, это целое не может содержать ни одного элемента, в который входит функция, иначе она содержала бы элементы, в которые входит целое, что исходя из принципа логического круга не может иметь места ни для какого целого*<sup>15</sup> (курсив мой.—А. Ш.).

С целью избежать этих опасностей Рассел предлагает разделение *univers du discours* на «типы»: индивидов, множеств индивидов, отношения между индивидами, между множествами индивидов и т. д. «Типы» соответствующим образом закодированы, что позволяет различать их и ограничивает, таким образом, возможность неправильного их употребления, ведущего к противоречивости и парадоксам. Ведь мы уже знаем, что при неправильной подстановке функция становится бессмыслицей, а это означает, что некоторые подстановки на основании языковых запретов теории типов лишены смысла.

Теория типов есть, следовательно, результат изучения языка логических высказываний и установления на этой основе определенной иерархии их предметов и названий этих предметов. Теория эта, однако, не была достаточно интуитивна, а кроме того, должна была по техническим соображениям ввести такие дополнительные элементы, как аксиому редуцируемости (сводимости). И тут приходит на помощь так называемая упрощенная теория типов Л. Хвистека, которая позволяет избежать антиномии и которая одновременно естественна и интуитивна. Ее основная идея гласит, что в логике можно говорить только о предметах точно определенного типа, а значит, не следует говорить о классе «вообще», а только о классе точно определенных предметов. Согласно *принципу чистоты типов*, связанному с этой теорией, пропозициональные функции (составляющие эквивалент классов), в которых выступает по меньшей мере одна переменная, проходящая через предметы разных типов, лишены смысла<sup>16</sup>.

Еще более естественно эта мысль выступает в теории семантических категорий Ст. Лесневского<sup>17</sup>, приближенной к разновидностям грамматических категорий. И здесь, подобно тому как в теории типов, речь идет о *принципе чистоты семантических категорий*, смешение которых ведет к бессмыслице.

Поскольку Лесневский высказывал свои взгляды главным образом устно, на лекциях и в беседах, а его работы очень трудны и лаконичны, мы обратимся к прекрасной и, как всегда, классически ясной формулировке А. Тарского.

«По причинам, о которых речь шла уже в начале параграфа, мы вынуждены отказаться здесь от приведения точной структурной дефиниции семантической категории, удовлетворившись лишь следующей приблизительной формулировкой: два выражения *принадлежат к той же самой семантической категории*, если (1) существует такая пропозициональная функция, которая содержит в себе одно из этих выражений, а также (2) ни одна функция, содержащая одно из этих выражений, не перестает быть пропозициональной функцией после замены в ней этого выражения другим. Отсюда следует, что отношение принадлежности к той же самой категории является обратимым, симметричным и переходным. Применяя, таким образом, принцип абстракции, можно все языковые выражения, входящие в состав производственных функций, разбить на классы без общих элементов, а именно включая два выражения в один класс тогда и только тогда, когда они принадлежат к одной и той же семантической категории; каждый такой класс мы и называем семантическим. В качестве наиболее простых примеров семантических категорий, встречающихся в разных языках, достаточно привести категорию пропозициональных функций, далее категории, охватывающие соответственно имена индивидов, классов индивидов, двучленные отношения между индивидами и т. д.; переменные (соответственно выражения с переменными), представляющие названия данной категории, принадлежат также к этой самой категории»<sup>18</sup>.

Для технических потребностей отдельным семантическим категориям мы придадим определенные числа натурального ряда, которые назовем *рядом* данной категории. Этот же ряд служит для всех выражений, принадлежащих к данной семантической категории. Функции, которые

обладают тем же самым числом свободных переменных данных семантических категорий, включаем в этот же семантический тип.

И здесь, подобно как и в разветвленной и упрощенной теории типов, антиномия избегается путем использования некоторых языковых запретов, а именно не допускается, чтобы переменные в функциях проходили через разные типы выражений или выражения, принадлежащие к разным семантическим категориям. Мера эта собственно идентична с предыдущей, и разница — помимо технической стороны — состоит в большей ясности и естественности семантических категорий<sup>19</sup>.

Во всяком случае, можно утверждать, что интерес к теории языка (семантике в широком смысле этого слова) пробудился в логике вследствие анализа антиномии и что антиномии, связанные с использованием слова «каждый» (антиномии теории множеств), можно устранить с помощью той или иной формы теории типов. Это признает также и Рамсей, который первым провел разграничение между двумя группами антиномии — антиномиями теории множеств и семантическими антиномиями.

«Не подчеркивается надлежащим образом и факт этот целиком обойден в «Principia Mathematica», что эти антиномии распадаются на две принципиально различные группы, которые мы назовем *A* и *B*. Наиболее известные антиномии подразделяются следующим образом:

*A.* (1) Класс всех классов, которые являются своими собственными элементами.

(2) Отношение (*relacja*) между двумя отношениями, когда одно не остается в этом отношении к другому.

(3) Антиномия Бурати — Форти о наибольшем порядковом числе.

*B.* (4) «Я лгу».

(5) Наибольшее целое число, которое нельзя выразить менее, чем девятнадцатью слогами.

(6) Последнее порядковое число, которому нельзя дать определение.

(7) Антиномия Рихарда.

(8) Антиномия Вейля, касающаяся слова «heterologisch».

Принцип, согласно которому я подразделил антиномии, имеет существенное значение. Группа *A* состоит из

антиномий, которые, в случае если их не устранять, могли бы выступать в самой логической или математической системе. Они охватывают только логические или математические термины, такие, как класс или число, и показывают, что что-то должно быть не в порядке в нашей логике или математике. А антиномии группы *B* не являются исключительно логическими, и их нельзя сформулировать с помощью одних только логических терминов, ибо все они содержат известную ссылку на мысль, язык или символику, которые являются не формальными, а эмпирическими терминами. Вследствие этого они могут происходить не из ложной логики или математики, а из ложных представлений, касающихся мысли и языка»<sup>20</sup>.

Эта вторая группа требует большей концентрации внимания на языковой стороне и иных предосторожностей, чем антиномии первой группы. Отсюда же происходили дополнительные стимулы, требующие со стороны логики теоретических исследований в области иерархии языков и проблематики метаязыка и метанауки.

Концепция метаязыка и иерархии языков тесно связана с теорией типов и в известном смысле вытекает из нее, в чем отдавал себе отчет и Рассел<sup>21</sup>. В самом деле, если выражения языка принадлежат к разным логическим типам (соответственно к разного рода семантическим категориям), то в порядке вещей напрашивается мысль о различиях в иерархии языков в зависимости от логических типов (от ряда семантических категорий) содержащихся в них выражений. Тем более что эта мысль связывается с некоторыми практическими потребностями, относящимися к преодолению логических антиномий.

Чтобы лучше понять этот вопрос, присмотримся к трудностям, которые имели место в дедуктивных науках в связи с антиномиями типа классической антиномии Евбулида (антиномия лжеца). Для получения максимальной ясности в проблеме приведу мысль Ю. Лукасевича в формулировке А. Тарского. Это позволит извлечь из внешней, софистической оболочки реальную лингвистическую проблематику.

«Условимся для большей ясности употреблять символ *s* в качестве типографского сокращения для выражения «суждение, напечатанное на этой странице в 17-й строке сверху». Обратим внимание на следующее суждение: «*s* не является истинным суждением»<sup>22</sup>.

Для названия, взятого в кавычки (или любого другого единичного названия) вышеуказанного предложения мы строим объяснение типа (2)<sup>23</sup>:

( $\alpha$ ) « $s$  не является истинным суждением» истинно тогда и только тогда, когда « $s$  не является истинным суждением».

Помня о значении символа  $s$ , мы утверждаем эмпирическим путем, что:

( $\beta$ ) « $s$  не является истинным суждением» идентично с  $s$ .

Сопоставляя посылки ( $\alpha$ ) и ( $\beta$ ), мы получаем противоречие:

« $s$  является истинным суждением тогда и только тогда, когда  $s$  не является истинным суждением»<sup>24</sup>.

Комментируя эту антиномию, Тарский замечает от себя:

«Легко сориентироваться, где находится источник этого противоречия: с целью конструирования утверждения ( $\alpha$ ) мы подставили вместо символа  $p$  в схеме (2) такого рода оборот, который сам содержит в себе термин «ложное суждение»... Однако не видно разумного повода, по которому подобные подстановки следовало бы принципиально запретить»<sup>25</sup>.

Еще острее и выразительнее выступает этот вопрос в связи с антиномией Вейля: является ли слово «гетерологичный» гетерологичным? Эта антиномия, состоящая в том, что когда мы высказываем суждение, что слово это является гетерологичным, то оно не является гетерологичным и, наоборот, имеет также характер явно лингвистический.

«Если речь идет о способе, — пишет Рамсей, — каким это подразделение функций на виды, для которых не может быть никакой суммы, применяется с целью избежания антиномий группы  $B$ , проистекающих, как было показано, из неточности языка, не учитывающего эти различия, — то я могу сослаться на «Principia Mathematica» (т. I, изд. I, 1910, стр. 117). Здесь, пожалуй, достаточно будет использовать этот метод в одной антиномии, не приведенной в данной работе, но в которой несущественные элементы играют особенно малую роль: я имею в виду антиномию Вейля, касающуюся слова «heterologisch» (Weil, Das Kontinuum, S. 2), которую теперь следует пояснить. Некоторые прилагательные имеют значения, являющиеся качествами самих этих



прилагательных; так, например, слово «короткий» короткое, а слово «длинный» не такое уж длинное. Назовем прилагательные, значения которых выражают собой их свойства, например слова такого рода, как «короткий», автологическими; остальные — гетерологическими. Является ли слово «гетерологический» гетерологическим? Если так, то его значение не выражает его свойства; это значит, что оно не гетерологическое. А если оно не является гетерологическим, то его значение выражает собой его свойство, значит, оно является гетерологическим. Следовательно, мы здесь имеем полную антиномию»<sup>26</sup>.

Первоначально старались избегать такого рода антиномий, применяя уже известную нам меру теории типов (или семантических категорий). Лишь позже они были выделены, и внимание было сконцентрировано на иерархии языков и результатах смешения этой иерархии.

Исходный пункт рассуждения весьма прост: следует иметь в виду разницу между языком, о котором говорится (*объектный язык*), и языком, на котором говорится о исследуемом языке (*метаязык*). Классическим примером здесь будет описание на польском языке грамматических правил, например правил английского языка. Такого рода ситуация может иметь, однако, место и в пределах одного и того же языка, когда мы будем производить рассуждения, касающиеся каких-либо его выражений. В качестве примера могут служить рассуждения о значении, обозначении, истинности и т. п. Мы имеем дело как бы с разными слоями языка, иерархия которых раскрывает большее или меньшее их «богатство». Очевидно, в чистом виде это может выступить только в формализованных языках, которые мы создаем сознательно и с определенными целями для потребностей дедуктивных наук. В разговорном языке, который имеет универсальный характер (то есть в котором выступают все возможные выражения), перемешались между собой не только выражения, принадлежащие разным логическим типам, но также и языковые слои, принадлежащие разным уровням языковой иерархии. Именно это создает трудности и вызывает опасность антиномий, появляющихся вследствие смешения выражений разных типов и языков разной иерархии. Однако при правильном различении метаязыка и объектного языка метаязык будет отличаться большим<sup>27</sup> «богатством», а объектный язык будет его фрагментом, потому что

в нем будут выступать наряду со знаками и выражениями объектного языка их единичные имена (структурально-описательные или другие), имена их отношений, а также общелогические выражения<sup>27</sup>.

Если мы проводим это различие языков, то уже не должны их смешивать друг с другом. Если мы утверждаем, что «с не является истинным суждением», и затем спрашиваем, истинно это или ложно, то ошибка здесь состоит в начальном высказывании, которое вообще невозможно при строгом различении объектного языка и метаязыка. Ибо оно содержит определение «истинный», которое принадлежит к метаязыку, а это значит, что мы включили здесь в объектный язык категории метаязыка. Подобным же образом представляется дело с антиномией, связанной со словом «гетерологический». Здесь противоречие возникает тоже тогда, когда мы оперируем слишком универсальным языком. Но мы здесь избегаем противоречивости, прибегая к запрету оперировать слишком «богатым» языком, то есть включающим в свою систему также выражения метаязыка (наименования слов, а также такие категории, как «обозначать», «быть истинным» и т. п.).

Ясное дело, что это не касается нормального пользования обиходным языком. Он универсален и содержит все возможные выражения. Но он подвержен разного рода опасностям, которыми издавна пользовались софисты. Однако то, что в обиходном языке представляется просто любопытной вещью и лингвистическим курьезом без особого значения, на основании формализованных теорий превращается в настоящую проблему. Вместе с тем именно на основе этих теорий возможно преодолеть данную проблему, и для этого находятся соответствующие средства. Средства эти связаны с анализом языка, с открытием, что язык тоже представляет собой *объект* исследования.

Различение объектного языка и метаязыка толкает к более глубокому анализу в целях получения критериев этого различения, а в особенности наталкивает на исследования таких выражений метаязыка, которые касаются отношения выражений объектного языка к обозначаемым им предметам. Таким образом, в логике рождается интерес к *описанию* языка и его *синтаксису*, а также к *семантике* в самом точном значении этого слова.

Попытаемся теперь охарактеризовать эти области исследования и их проблематику.

Приступая к общей характеристике логического синтаксиса и сфер его интересов, следует устранить опасность недоразумений, грозящую нашему изложению. Может возникнуть впечатление, будто бы только концепция метаязыка, которая возникла на основании понимания многослойности языка, возбудила интерес к синтаксису и семантике. Это логичный порядок вещей, который поддается установлению *ex post*. Действительная хронология была иной: все эти проблемы и интересы были связаны и взаимно стимулировали свое развитие, а не просто формировались один за другим. Явную очередность во времени мы можем наблюдать лишь в развитии синтаксических и семантических исследований. Только после того как выяснилось, что в логическом синтаксисе не помещается целый ряд понятий, необходимых для развития логики, и когда Тарский показал возможность введения понятия истины в теорию дедукции без впадения в противоречие, началось действительное развитие семантики *sensu stricto*.

Что же такое и чем занимается так называемый логический синтаксис?

Согласно Карнапу, это такая область языковых исследований, в которой мы абстрагируемся от субъекта, употребляющего язык, а также от десигнат языковых выражений и анализируем исключительно отношения между этими выражениями<sup>28</sup>. В другом месте Карнап определяет логический синтаксис как формальную теорию лингвистических форм языка, то есть такую теорию, которая интересуется не значением выражений, а только видом и порядком символов, из которых эти выражения сконструированы<sup>29</sup>. В этом понимании логический синтаксис устанавливает правила, согласно которым такие языковые единицы, как предложения, построены из таких элементов, как слова. Синтаксис в самом строгом значении этого слова устанавливает в этом понимании правила *формирования* языковых единиц, а формальная логика — правила их *переформирования*. Поскольку то и другое можно выразить в терминах синтаксиса, Карнап объединяет их в одну систему (формальная логика становится в этом случае частью синтаксиса и получает чисто формальный характер) как *логический синтаксис языка*.

Логический синтаксис, изложенный таким способом, трактует язык как своеобразное исчисление. Сторонники этого направления не утверждают, что это исчисление исчерпывает анализ языка, и высоко ценят анализ значений (семасиологический анализ), психологический и социологический анализ (в позднейший период два последних термина заменил термин «прагматика»). Они делают синтаксические исследования языка на *описательный синтаксис*, который занимается эмпирическим исследованием синтаксических черт данных языков, и на *чистый синтаксис*, который содержит аналитические предложения метаязыка, выводящиеся из принятых дефиниций таких синтаксических понятий, как «предложение в системе *K*», «доказуемо в системе *K*», «выводимое из системы *K*» и т.п.<sup>30</sup>

Если мы теперь зададимся вопросом, какими конкретными проблемами занимается логический синтаксис, то окажемся в трудной ситуации, ибо в период эвфории, в период, когда в особенности так называемый Венский кружок видел в логическом синтаксисе своеобразную панацею и философский камень,— в этом синтаксисе старались уместить не только всю совокупность логической проблематики, но и все, что было признано осмысленным в рамках философии.

В связи с вышесказанным явно выступает та трудность, о которой мы говорили в начале главы, а именно трудность разграничения проблем исключительно логических и философских. Ибо они сплетаются в конкретном случае в единое, неразрывное целое. К проблемам философской интерпретации мы вернемся еще в следующем разделе. Здесь же я укажу на две философские тенденции, остающиеся в тесной связи с затрагиваемыми нами сейчас вопросами синтаксиса.

Прежде всего речь идет о конвенционалистской тенденции, связанной с проблематикой логического синтаксиса. Изучая синтаксический аспект языка, Карнап и другие исходят из того, что принятие того или иного языка и господствующих в нем законов, а значит, принятие той или иной логики является делом произвольным, делом конвенции, соглашения. Мысль эту Карнап четко сформулировал в виде так называемого принципа толеранции (*tolerancja*)<sup>31</sup>, а также принципа свободного выбора логики<sup>32</sup>. На этих позициях он остался и в более

поздний период, когда от признания исключительно синтаксиса он переходит к более широкой теории семантики. Основывание синтаксиса и семантики на принципах конвенционализма мы находим в этот период в его «Введении в семантику»<sup>33</sup>. Не менее остро выступает эта позиция в статье Карнапа «Empiricism, Semantics and Ontology»<sup>34</sup>, опубликованной в 1950 году, идеи которой в значительной степени являются продолжением идеи о свободе выбора так называемой *Weltperspektive*, идеи, представляющей собой составную часть *радикального конвенционализма* К. Айдукевича<sup>35</sup>. Следует, однако, прямо сказать, что здесь нет какого-то неизбежного *iunctim*, что проблематика синтаксиса языка не ведет неизбежно к конвенционализму и не теряет своего смысла, если мы оторвем его от тыла этой философии.

Подобным же образом обстоит дело и с явно философской тенденцией придать логическому синтаксису всеобъемлющий характер: делается попытка включить в него не только всю проблематику теории дедукции, конструируемую в рамках синтаксиса, но и вообще всю логическую проблематику, и даже шире — философскую проблематику. Такую тенденцию к передаче логическому синтаксису всей философской проблематики, очищенной от так называемых псевдопроблем, представлял в то время неопозитивизм. То, что вообще оставалось от философии, покрывалось как раз логическим анализом языка, то есть логическим синтаксисом<sup>36</sup>. И здесь мы снова должны подчеркнуть, что нет какого-то обязательного *iunctim* между проблематикой синтаксиса языка и этими максималистическими тенденциями. Нет этого неизбежного *iunctim* и между синтаксическим анализом и неопозитивистской философией.

Отвергая упомянутые тенденции, идущие к синтаксическому анализу языка со стороны совершенно определенных, идеалистических направлений в философии, следует констатировать, что в качестве реальной проблематики логического синтаксиса остаются все задачи, которые связаны с *описанием* знаков и выражений языка, с исследованием *правил образования* таких выражений из более простых знаков, с анализом *отношений* между этими знаками, а также *правил преобразования* выражений. Проблемы изучения логического синтаксиса, таким образом, близки к проблемам синтаксиса в грамматическом пони-

мании. Это касается прежде всего описательного (частного) синтаксиса, занимающегося изучением синтаксиса данных языков. Проблематика чистого (общего) синтаксиса имеет полностью формальный характер. Это означает абстрагирование от десигнат и рассмотрение исключительно формы выражений, то есть их вида и порядка, последовательности, в какой они выступают (таким путем могут быть сформулированы правила конструирования предложений, а также правила дедукции). Чистый синтаксис, очевидно, входит в сферу метаязыка, который должен охватывать имена выражений объектного языка и их отношений (в особенности структуральных отношений), а также общелогические выражения. Практическое значение чистого (общего) синтаксиса выступает в настоящее время хотя бы в связи с исследованиями, касающимися переводимости обычных языков на абстрактный язык так называемых мыслящих машин (язык, который позволил бы машине производить исчисления методом «ноль — единица»), а также с созданием машин, производящих перевод с одного языка на другой, и т. п.

Таким образом, независимо от всякого рода налетов и философских извращений, это реальная и нужная научная проблематика и к тому же, как теперь оказывается, не только в области формальной логики. Другое дело, что, когда читаешь соответствующие трактаты (например, ставшую уже классической работу Карнапа о логическом синтаксисе языка), может появиться мнение, что затронутые в них проблемы вообще ни для чего не нужны и что в особенности порой усложненная и всячески развиваемая символика там и сям становится причиной запутывания и затуманивания вопроса. Приходится откровенно высказать сомнения и смешанные чувства, какие мы испытываем при виде величественных логических кранов, столь умно сконструированных для того, чтобы поднять... камешек, который проще было бы поднять просто рукой. Но я не смею сетовать на это, а тем более протестовать.

История последнего периода научила нас в этом отношении скромности и сдержанности. С того времени, когда, как это казалось, никому не нужное и чисто спекулятивное исчисление предложений оказалось практически применимым в теории релейных схем, со времени, когда математическая логика и опирающаяся на нее кибернетика

оказались необходимыми при конструировании так называемых мыслящих машин, втягивающих в настоящее время в орбиту своих практических потребностей и применений также и семантику, — трудно уже с убеждением декретировать ненужность рассуждений, важность и практическую применимость которых сейчас мы пока не видим. В этом смысле я целиком солидарен с интересным и правильным толкованием проблемы Тарским:

«...Я отнюдь не отрицаю, что ценность дела какого-либо человека может возрасти в результате значения, какое оно имеет для исследований других людей и для практики. Однако я полагаю, что вредно для прогресса науки измерять значение каких-либо исследований исключительно или главным образом на основании их полезности и применимости. Мы знаем из истории науки, что многие важные выводы и открытия должны были ждать столетия, пока их используют в какой-нибудь области. Кроме того, по моему мнению, существуют и другие важные факторы данного научного произведения, которые нельзя игнорировать при установлении ценности данного научного произведения... Вопросы значимости какого-то исследования нельзя решать стандартно, не принимая во внимание интеллектуального удовлетворения, которое результаты этого исследования дают тем, кто его понимает и кого оно касается»<sup>37</sup>.

На этой позиции, как я полагаю, мы должны стоять, переходя к анализу научных проблем семантики *sensu stricto*.

Период синтаксической эфории миновал благодаря действию двух факторов.

Во-первых, вскоре оказалось, что логический синтаксис недостаточен, что в него не укладывается ряд понятий, необходимых для того, чтобы заниматься логикой, а тем более философией. На основании одного синтаксиса невозможно сформулировать такие важные для науки семантические понятия, как понятие истины, обозначения и другие от них зависящие понятия<sup>38</sup>. Поэтому, кстати, одна по крайней мере группка неопозитивистов попыталась отказаться от этих понятий.

Во-вторых, Тарский показал, что можно пользоваться понятием истины (в соответствии с классическим определением), не впадая при этом в противоречие; таким образом, было сломлено сопротивление сторонников логиче-

ского синтаксиса против семантических понятий. Тарский выделил из круга метатеоретических исследований *морфологию* языка, над которой он затем разместил части синтаксиса и семантики *sensu stricto* (то есть проблемы истины, значения, обозначения, исполнения и т. п.).

С этого времени начинается период *семантики*, которая вытесняет логический синтаксис с его монополистической позиции. Семантика берет на себя также обязанности конструирования формальным способом теории дедукции. Ее введение значительно расширяет круг логических интересов, ограничивавшихся ранее синтаксисом, и стирает с многих вопросов пятно «псевдопроблем». Во всяком случае, полным ходом развивается проблематика истины, обозначения и значения. Карнап вносит поправки к своей прежней концепции, изложенной в «The Logical Syntax of Language», в приложении к «Introduction to Semantics» он отказывается от положения, что «логика значения излишня»<sup>39</sup>. Это ведет к изменению его позиции в вопросе экстенционального характера логики и к попыткам формулировки модальной логики<sup>40</sup>, а впоследствии — к некоей номиналистической модификации тезиса, перед которым преклонялся сам Карнап и его сторонники<sup>41</sup>.

От более подробного анализа данного вопроса освобождает нас тот факт, что такой анализ будет предметом разбора во второй части работы. Там будут рассмотрены такие проблемы, как коммуникация, знак, значение и обозначение, как допустимость общих терминов, несмотря на их многозначность и опасность гипостазирования. Что же касается формально-технической стороны вопроса, то есть способа построения разных исчислений и дедуктивной системы на основании и в рамках семантики, то это не входит ни в нашу задачу, ни в предмет нашего анализа.

Читателя, интересующегося этими вопросами, я должен отослать к специальной литературе, и прежде всего к двум уже цитированным работам Карнапа: «Введение в семантику», а также «Значение и необходимость».

На основании семантики развивается необычайно интересная с точки зрения философии *теория моделей*. По сравнению с логическим синтаксисом, который замыкался областью чисто языковых образований, исследуя их формальные отношения, семантика сделала шаг вперед



в направлении признания важности исследований отношения языковых выражений к выражаемому. Неопозитивистский декрет об исключении мнимых проблем (Scheinprobleme) был направлен на устранение исследований этого типа, ибо он принимал тезис Витгенштейна о том, что границы моего языка являются границами моего мира. Обращение к семантике пробило брешь в этом языковом монизме — оно выдвинуло на первый план вопрос о предмете, о котором идет речь в языке, вопрос о чем-то таком, что существует вне языка. Теория моделей является следующим шагом на этом пути, важным с философской точки зрения шагом, ибо при этом затрагивается вопрос о предмете, о котором говорится и который существует не только *вне* языка, но и *независимо* от языка. Понятийный аппарат языка становится как бы «пристроенным» к модели. По крайней мере дело обстоит так в некоторых вариантах теории моделей.

Теория моделей выводится из математических исследований. Как уже не раз говорилось, я не буду заниматься технической стороной проблемы; как и в других подобных случаях, с которыми мы уже имели дело, я могу здесь лишь порекомендовать читателю соответствующую литературу<sup>42</sup>. К философской стороне я вернусь в следующем разделе, здесь же ограничусь несколькими замечаниями, имеющими целью общую информацию. Я буду при этом оперировать работой Р. Сушко «Формальная логика и некоторые вопросы теории познания», используя ее популярное изложение проблематики теории моделей, проблематики, трудной по своему математическому аппарату и во все не очевидной.

Исходным пунктом для нас будет следующая формулировка Сушко: «Противопоставление формализованного языка его моделям представляет собой необыкновенно абстрактное выражение познавательного отношения субъекта к объекту, отношения мышления к тому, что мыслится».

Понятие модели языка имеет смысл по отношению к формализованным языкам. Моделью такого языка является всякое образование, о котором можно говорить на этом языке. Всякая модель языка состоит в случае с простыми языками из двух членов: из *универсума* (universum) модели, то есть из совокупности индивидуумов, которые могут быть субъектами произвольного вида,

а также из *характеристики* модели, составляющей совокупность, элементами которой являются свойства, отношения и тому подобные аспекты индивидуумов модели. Между языком и моделью этого языка складывается такое отношение, что каждому постоянному выражению языка соответствует какой-то элемент характеристики модели как значение его выражения, а каждый элемент этой характеристики имеет своего представителя в виде постоянного выражения данного языка.

Язык имеет ряд моделей, которые относятся к одному и тому же типу и о которых можно говорить на данном языке. Однако, как указывает Сушко, на эту проблему следует посмотреть и с другой стороны: с каждой моделью связана целая семья языков этой модели, которые дают возможность говорить о ней и которые имеют одну и ту же синтаксическую структуру. Среди таких языков выделяются языки *смысловые*, то есть те, которые в данных обстоятельствах (по отношению к общественной группе и ее деятельности) исполняют *коммуникативную* функцию. Такие языки возникают путем «достройки» соответствующей понятийной аппаратуры к данной модели. Эта «достройка» представляет собой определенную *общественную* деятельность.

«Мы будем говорить, что смысловой язык в данных условиях является *понятийным аппаратом, достроенным* к модели, принадлежащей семье  $MA_1(I)$  (то есть непустой подсемье семьи смыслового в данных обстоятельствах языка.—А. Ш.). Допустим, что каждый язык (смысловой в определенных обстоятельствах) возник в качестве результата произведенной в известной группе людей операции достройки понятийного аппарата к некоторым моделям языка, среди которых находится соответствующая модель  $M_i(I)$ ».

Автор заявляет далее, что «достройка» понятийного аппарата к модели может происходить в общественной группе только при наличии непосредственного ее контакта с этой «моделью», то есть на базе чувственного восприятия и практической деятельности. По мере более глубокого познания модели происходит дальнейшее развитие языка.

Как я уже говорил, здесь речь идет о популярном изложении мыслей, связанных с теорией модели. Они тесно связаны с философской интерпретацией семантики, что будет еще рассмотрено в следующем разделе книги.

<sup>1</sup> «Frege on Russell's Paradox», в «Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege», Oxford, 1952, p. 234.

<sup>2</sup> Ф р е г е, цит. соч., стр. 235.

<sup>3</sup> Читателя, который хотел бы глубже изучить проблему парадоксов, я могу отослать к весьма обширной литературе.

В наиболее общем виде эта проблема разбирается в следующих работах: A. N. Whitehead and B. Russell, Principia Mathematica, vol. I, Cambridge, 1925, p. 60—65; R. Carnap, Die logische Syntax der Sprache (англ. изд.: «The Logical Syntax of Language», London, 1937, p. 60 и далее); F. P. Ramsey, The Foundations of Mathematics..., New York, 1931, p. 20 и далее; D. Hilbert und W. Ackermann, Grundzüge der theoretischen Logik (русск. изд. «Основы теоретической логики», М., 1947, стр. 183 и далее).

В польской литературе широко представлены эти проблемы в работе: A. Mostowski, Logika matematyczna, Warszawa—Wrocław, 1948, s. 204—222, 308—324. Ср. также: T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Lwów, 1929, s. 138—139; L. Chwistek, Granice nauki, Lwów—Warszawa, s. 125—136; T. Czeżowski, Logika, Warszawa, 1949, s. 13—19.

Я не называю здесь более специальных работ Ст. Лесневского, Л. Хвистека и А. Тарского. Читатель найдет их в библиографии, помещенной в конце книги.

<sup>4</sup> М о с т о в с к и й, цит. соч., стр. 209.

<sup>5</sup> Там же, стр. 210.

<sup>6</sup> Ср. М о с т о в с к и й, цит. соч., стр. 315—320.

<sup>7</sup> Там же, стр. 320.

<sup>8</sup> А. Т а р с к и, O ugruntowaniu naukowej semantyki, в «Przegląd Filozoficzny», R. 39, 1936, z. 1, s. 50.

<sup>9</sup> Т. К о т а р б и ń с к и, Przegląd problematyki logiczno-semantycznej. Odbitka [Sprawozdania z czynności i posiedzeń tódzkiego Tow. Nauk. z. I półr., 1947, R. 2. ur 1(3)], Łódź, 1947, s. 1.

<sup>10</sup> «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 1892.

<sup>11</sup> В предисловии ко второму изданию «Principia Mathematica» мы читаем: «Следует заметить, что все влияния теории типов негативно: она накладывает запрет на некоторые выводы, которые делались бы без нее, но не позволяет делать никаких выводов, которые без нее не делались бы» (У а й т х е д и Р а с с е л, цит. соч., стр. VIII).

<sup>12</sup> L. Chwistek, Antynomie logiki formalnej, в «Przegląd Filozoficzny», R. 24, 1921, z. 3 и 4; е г о ж е: Granice nauki (rozd. V); F. P. Ramsey, The Foundations of Mathematics...

<sup>13</sup> St. Leśniewski, Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, в «Fundamenta Mathematicae», 1929, t. 14; е г о ж е: O podstawach ontologii, в «Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk., Warszawa, Wyd. 3., R. 23, 1930, z. 4—6.

<sup>14</sup> Whitehead, and Russell, op. cit., p. 37—38.

<sup>15</sup> Там же, стр. 38—39.

<sup>16</sup> «Чтобы устранить антиномию Рассела, достаточно принять упрощенную теорию логических типов. Создателем теории типов является Бертран Рассел. Эта теория сложна, и ее нельзя сформу-

лировать ясно в нескольких словах. Зато ее можно упростить так, что действительно удастся выразить в нескольких коротких предложениях.

Я допускаю так называемый *univers du discours*, состоящий из предметов, которые я называю *индивидуумами*. Более подробных свойств этих индивидуумов или каких-то конкретных примеров я не сообщаю.

Помимо индивидуумов, я допускаю *классы индивидуумов, классы классов индивидуумов* и т. д.

И это все. Ясно, что понятие класса как такового здесь не имеет смысла. Можно только говорить о классах некоторых определенных предметов. Тем самым вопрос, является ли класс своим элементом, отпадает как лишенный смысла.

Эту упрощенную теорию типов я впервые сформулировал в работе под заголовком «Антиномии формальной логики», изданной в 1921 году (L. C h w i s t e k, *Granice nauki*, s. 129).

<sup>17</sup> «В 1922 году я набросал некую концепцию «семантических категорий», которая должна была заменять мне ту или иную «иерархию типов», лишенную, на мой взгляд, какого бы то ни было интуитивного обоснования, и которую я, если говорить честно, был бы вынужден принять и сейчас, если бы даже на свете не было никаких «антиномий». Моя концепция «семантических категорий», оставаясь по своим теоретическим выводам в формальной связи с известными «теориями логических типов», перекликалась, если говорить о ее интуитивной стороне, скорее с традициями «категорий» Аристотеля, с «частями речи» традиционной грамматики и «категориями значения» г-на Эдмунда Гуссерля» (St. Le ś n i e w s k i, *Grundzüge eines neuen Systems...*, S. 14).

<sup>18</sup> A. T a r s k i, *Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych*, Warszawa, 1953, s. 67.

<sup>19</sup> Под влиянием этих теорий — в особенности упрощенной теории типов — Рассел впоследствии меняет способ аргументации, становясь фактически на позиции, близкие к упрощенной теории типов и к семантическим категориям. В предисловии ко второму изданию «*The Principles of Mathematics*» (London, 1937, p. XIX) мы читаем:

«Основное содержание теории типов, просто говоря, таково. Если дана функция предложения « $\phi x$ », все элементы которой истинны, то существуют выражения, которые нельзя подставить вместо « $x$ ». Например, все элементы, «если  $x$  есть человек, то  $x$  смертен», истинны, и можно отсюда сделать вывод, что «если Сократ человек, то Сократ смертен», но заключать, что «если принцип противоречия есть человек, то принцип противоречия смертен». Теория типов устанавливает, что этот последний набор слов нонсенс, и указывает правила, касающиеся допустимых элементов  $x$  в « $\phi x$ ». В деталях существуют разные трудности, но общий принцип — это только более уточненный принцип того, который всегда признавался. В старой традиционной логике обычно считали, что такие формулировки, как «добродетель треугольна», ни истинны, ни ложны, тем не менее не пытались получить какое-либо собрание правил, позволяющих решить, имеет данный ряд слов смысл или нет. Это осуществляется теория типов. Так, например, выше я утверждал, что «классы предметов не суть предметы». Это будет означать: «Если « $x$ » есть элемент класса  $a$ » является предложением и « $\phi x$ » также пред-

ложение, то «фа» — это уже не предложение, а только лишенный смысла набор символов».

<sup>20</sup> R a m s e y, op. cit., p. 20—21.

<sup>21</sup> Expressis verbis он говорит об этом в работе «An Inquiry into Meaning and Truth» (London, 1951, p. 62).

<sup>22</sup> Именно это предложение фигурирует в 17-й строке сверху.

<sup>23</sup> Здесь речь идет об объяснении выражения типа «*x* есть истинное суждение», которое звучит: «*x* есть истинное предложение тогда и только тогда, когда *p*».

<sup>24</sup> A. T a r s k i, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, s. 7.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> R a m s e y, op. cit., p. 26—27.

<sup>27</sup> Ср. A. T a r s k i, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, zwł., s. 14, 18, 21—23, 62; R. C a r n a p, The Logical Syntax of Language, p. 153 и далее; ег о ж е: Introduction to Semantics, Cambridge (Mass.), 1948, p. 3—4.

<sup>28</sup> R. C a r n a p, Introduction to Semantics, p. 9.

<sup>29</sup> R. C a r n a p, The Logical Syntax of Language, p. 1.

<sup>30</sup> R. C a r n a p, Introduction to Semantics, p. 12.

<sup>31</sup> R. C a r n a p, The Logical Syntax of Language, p. XV, a. 29.

<sup>32</sup> Там же, стр. 52.

<sup>33</sup> Ср. стр. 13 и 247.

<sup>34</sup> «Revue Internationale de Philosophie», 1950, № 11 (перепечатано в L. L i n s k y (ed.), Semantics and the Philosophy of Language, Urbana, 1952, p. 210—212, 223—224 и далее).

<sup>35</sup> Ср. K. A j d u k i e w i c z, Sprache und Sinn, в «Erkenntnis», 1934, t. 4; Das Weltbild und die Begriffsapparatur, в «Erkenntnis», 1934, t. 4; Naukowa perspektywa świata, в «Przegląd Filozoficzny», 1934, r. 37, z. 4.

<sup>36</sup> Ср., например: R. C a r n a p, The Logical Syntax of Language, p. XIII, 321—323.

<sup>37</sup> A. T a r s k i, The Semantic Conception of Truth... Цит. по L. L i n s k y (ed.), Semantics and the Philosophy of Language, p. 41—42.

<sup>38</sup> M. K o k o s z y Ń s k a, Logiczna składnia języka, semantyka i logika wiedzy, в «Przegląd Filozoficzny», r. 39, 1936, z. 1.

<sup>39</sup> R. C a r n a p, Introduction to semantics, p. 249.

<sup>40</sup> R. C a r n a p, Meaning and Necessity, Chicago, 1947.

<sup>41</sup> Ср. «Empiricism Semantics and Ontology».

<sup>42</sup> J. G. K e m e n y, Models of Logical Systems, в «The Journal of Symbolic Logic», March 1948, vol. 13, № 1; J. Ł o s, The Algebraic Treatment of the Methodology of Elementary Deductive Systems, в «Studia Logika», 1955, t. 2; ег о ж е: On the Extending of Models (1), в «Fundamenta Mathematicae», 1955, t. 42; A. M o s t o w s k i, On Models of Axiomatic Systems, в «Fundamenta Mathematicae», 1952, t. 39; H. R a s i o w a, Algebraic Models of Axiomatic Theories, в «Fundamenta Mathematicae», 1955, t. 41; R. S u s z k o, Syntactic Structure and Semantical Reference, в «Studia Logica», 1958, t. 8; ег о ж е: Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania, в «Myśl Filozoficzna», 1957; № 2 и 3; A. T a r s k i, O pojęciu wynikania logicznego, в Przegląd Filozoficzny, 1936, r. 39, z. 1.

## Семантическая философия

«Вначале было слово» — говорится в нашей версии Евангелия от Иоанна, и когда я читаю некоторых логических позитивистов, мне кажется, что их взгляды выражаются этим стилизованным текстом».

*Бертран Рассел,  
«Человеческое познание»*

Эту сжатую, остроумную и вместе с тем точную характеристику Рассел относит к неопозитивизму. Однако ее радиус действия значительно шире — она охватывает в той или иной степени все философское направление, которое, опираясь на установленную частными науками познавательную ценность языка, считает языковые проблемы единственной, во всяком случае центральной проблемой философии. Эта характеристика касается, таким образом, большинства направлений и школ современной семантики в широком значении этого слова.

Мы уже установили ранее, что открытие языка не только как инструмента, но и как предмета научного исследования было большим достижением в развитии науки, а в особенности в развитии логики и математики. Если же, однако, блеск семантики (в широком смысле этого слова) связан с конкретной проблематикой частных наук и потребностями их развития, то ее нищета самым тесным образом связана с философией. Впрочем, уже не в первый раз в истории философия наживает капитал на великих научных открытиях. Так было с теорией относительности Эйнштейна, так стало и с семантикой. На великом открытии роли языка в научных исследованиях приобретает капитал идеалистическая интерпретация так называемой семантической философии. Ее сущность состоит в том, что она сделала важный, хоть внешне и малозаметный, шаг от положения, что язык также является предметом иссле-

дований философии, к положению, что он является единственным предметом ее исследований.

В прежних полемиках с представителями львовско-варшавской школы можно было нередко слышать, что это неправильное обвинение, ибо никто такого тезиса не выдвигал. Я постараюсь далее показать, что такой тезис не только был высказан различными сторонниками семантики, но что, более того, он составляет основной смысл семантической философии в различных ее вариантах и оттенках. Признаюсь, что я с большим удовлетворением выбрал в качестве эпиграфа данной главы именно цитату из Рассела, столь созвучную с принятой мною оценкой семантической философии. Мой тезис подтверждает не кто-нибудь. Рассел — это не только крупный философ, но и один из духовных отцов того направления научных исканий, от которого берет свое начало современная семантика. Его взгляд на эти вопросы особенно глубок, а оценка особенно важна.

Родоначалники этой разновидности идеалистической философии, которая, признавая язык единственным предметом исследований, хочет устранить вопрос о реальной действительности, а проблему борьбы материализма и идеализма считает псевдопроблемой, начали работать в науке задолго до Рассела. То же самое и по вопросам об интерпретации роли языка в познавательном процессе. С точки зрения исторической следовало бы обратиться к номиналистической традиции, прежде всего в ее английском издании XVII и XVIII столетий. Однако этими вопросами я не буду заниматься, так как не собираюсь писать работу по истории философии. В данной связи мы можем обойтись без исторических рассуждений. Но мы остановимся на тех деталях философской интерпретации семантики, которые связаны с новейшими философскими направлениями, прежде всего с конвенционализмом и неопозитивизмом.

Но и этот вопрос я не хотел бы обсуждать здесь слишком широко. Я отказываюсь от детального изложения проблемы еще и потому, что как конкретный материал, так и собственные взгляды на этот вопрос я уже имел возможность в свое время изложить<sup>1</sup>. В наше бурное в политическом и идеологическом отношении время период в 5—6 лет иногда может быть целой эпохой. Именно только поэтому я заявляю, что в принципиальных пунктах

я полностью подтверждаю некогда провозглашенные мною критические взгляды на интересующие нас сейчас направления и рассматриваю их как дополнение к своим теперешним рассуждениям. Вместе с тем я хотел бы попутно коснуться некоторых вопросов, которые, я считаю, сейчас неправильно поставлены в той критике.

Прежде всего я считаю неправильным сам стиль критики.

Говоря о марксистской критике немарксистской идеологии, часто выдвигают требование, чтобы критика эта не была голословной и не ограничивалась наклейкой ярлыков, а была бы документирована и опиралась бы на глубокое знание и четкое изложение обсуждаемых взглядов. Это основное условие научного ведения идеологической критики, хотя оно, к сожалению, не всегда соблюдается в нашей литературе.

Существуют, однако, более тонкие требования к стилю критики. Речь идет прежде всего о том, чтобы критика не носила чисто нигилистический характер.

Вопрос был бы в конце концов довольно ясен, а причины болезни нигилистической критики нетрудно было бы найти, если бы в основании всей этой истории не лежало значительно более глубокое и значительно более принципиальное недоразумение. Ведь убеждение в том, что ложность каких-то взглядов, изложенных в некоем произведении, перечеркивает истинность всех других тезисов автора, опирается на своеобразное понимание развития науки по прямой линии, развития, в котором одни теоретические системы представляют чистую истину, другие же — чистую ложь. Это совершенный нонсенс, который можно опровергнуть при первом же сопоставлении с действительностью. Оказывается, что мифы могут играть некоторую роль даже в развитии науки.

В истории науки развитие не происходит по схеме «черное — белое». Дело намного сложнее. Истины, даже выдающиеся, могут выступать порой в ложных системах и прямо антинаучных системах (дорогой сердцу каждого марксиста пример: гегелевский диалектический метод и его система). Ложь, к тому же существенная, может содержаться и в системах самих по себе архистинных.

Тем более это важно, если мы учтем не только готовые результаты, но и научные идеи, проблемы, стоящие перед наукой. Ведь известно, что в науке постановка новой



проблемы имеет часто не меньшее значение, чем ее положительное разрешение. А у этой области нет никаких прав на исключительность. Именно таким путем рождаются новые проблемы, стимулирующие развитие мысли. Идеализм в этом отношении имеет большие заслуги.

Вытекает ли из всего этого потребность ослабления критики идеализма, отрицание требования партийности философии? Отнюдь нет. Речь идет только о правильном понимании этого требования, о том, чтобы принципиальность не отождествлялась с громкими фразами, а партийность — с нигилистической критикой. И именно во имя принципиальности, партийности и, что самое важное, эффективности критики. Ибо если критика не должна быть только ритуальным обрядом для посвященных, а должна выполнять свою действительную задачу, то есть убеждать тех, кто еще не убежден, то она не может ограничиваться отрицанием. Сказать «нет», в особенности в философских проблемах, где непосредственная и окончательная проверка утверждений чаще всего невозможна, — это еще немного, поскольку противник может ответить таким же «нет» и настаивать на своих взглядах. Эффективная критика должна прежде всего *поднять проблему*, указать на ее смысл и место в системе наших знаний и, отвергая положения, раскрытые как ложные, предложить другие, истинные. Такая позиция не имеет ничего общего с «объективизмом» и «академизмом» — это просто-напросто правильно понятая *научная критика*. Неумение занять такую позицию по отношению к буржуазной идеологии было, по моему мнению, самым большим недостатком марксистской критики, в том числе и моего собственного понимания конвенционализма и неопозитивизма.

Вернемся, однако, *ad rem*.

Я многократно подчеркивал, что, говоря о семантике, мы не можем изолировать ее языковедческий или логический аспект от философии, которая составляет не только оболочку данной конкретной научной проблематики или ее соединительную ткань, но и часто является ее кровью и плотью. Однако можно попытаться — это мы сделали в предыдущих разделах — выделить специальную научную проблематику семантики, которую следует рассмотреть независимо от того, как мы к ней отнесемся с философской точки зрения. Можно также попытаться выделить и критически оценить те элементы философской интер-

претации, которые выступали до сих пор в развитии семантики. Это я как раз и постараюсь сделать ниже.

В том, что я называю семантической философией, то есть во всех тех философских взглядах, которые видят в языке единственный или по крайней мере главный и самый важный предмет познания и философского анализа, выступают идеи, связанные с разными направлениями новейшей философии, из которых семантическая философия черпала для себя энергию и вдохновение. От конвенционализма берет свое начало тезис о произвольности выбора языка и его морфологии, о произвольности выбора логики, а в результате — той или иной перспективы мира. Последовательным дополнением этого тезиса является положение, идущее прежде всего от неопозитивизма и гласящее, что язык — это единственный объект философского анализа. Наконец, союз неопозитивизма с прагматизмом породил мысль, что семантика является своеобразной панaceей в общественной деятельности.

Анализируя эти три идеи, которые, на мой взгляд, самые важные в системе семантической философии, я не намереваюсь, повторяю это еще раз, производить какой-либо полный анализ и давать оценку конвенционализма, неопозитивизма или прагматизма (его образуют различные, хотя так или иначе внутренне связанные идеи и научные проблемы). Нас интересует в данном контексте концепция роли языка в системе познания — и ею я ограничу свой анализ. Особое внимание я уделю так называемому неопозитивизму, ибо он — в особенности в лице представителей Венского кружка — оказал наибольшее влияние на развитие интересующей нас проблематики. Я беру при этом период приблизительно до 1936 года, когда под влиянием Тарского и прагматизма вообще Карнап и другие начали менять свои взгляды, во всяком случае расставаться с «чистой» формой логического эмпиризма, которая была столь характерна для Венского кружка.

#### 1. МНИМЫЙ «ПЕРЕВОРОТ В ФИЛОСОФИИ» — ЯЗЫК КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мориц Шлик, считавшийся в свое время философским вождем Венского кружка, писал в первом номере журнала неопозитивистов «Erkenntnis» во вступительной статье

под выразительным заголовком «*Переворот в философии*».

«Итак, что такое философия? Конечно, наукой она не является, но является чем-то очень важным и великим, так что и теперь ее можно считать царицей наук, хотя сама она и не наука. Нигде не сказано, что царица наук сама должна быть наукой. В настоящее время мы видим в ней — и это характерная черта великого переворота в современной философии — не систему результатов познания, а систему актов действия. Философия — это деятельность, посредством которой утверждается или объясняется смысл высказывания. Философия объясняет высказывания, а науки их проверяют»<sup>2</sup>.

В этом же номере журнала Рудольф Карнап вторит Шлику:

«Новое направление этого журнала, начатое данным номером, ставит себе задачей поддерживать *новый научный метод философского мышления*, метод, который можно было бы наиболее кратко охарактеризовать, сказав, что состоит он в *логическом анализе суждений и понятий эмпирической науки...*»<sup>3</sup>

Этой позиции Карнап (как и другие сторонники неопозитивизма) будет последовательно придерживаться и впредь. Несколько лет спустя после упомянутого философского манифеста в журнале «*Erkenntnis*» Карнап пишет в своем фундаментальном произведении о логическом синтаксисе языка:

«Философию следует заменить логикой науки, то есть логическим анализом понятий и суждений отдельных наук, ибо *логика науки есть не что иное, как логический синтаксис языка науки*»<sup>4</sup>.

Присмотримся несколько ближе к этому «перевороту в философии».

Я начну с нескольких тривиальных замечаний, необходимых, однако, с точки зрения дальнейшего хода наших рассуждений.

Существуют два основных типа идеализма: объективный и субъективный. Первый признает существование объективной действительности, которая носит идеальный характер (понимание этого слова различно в разных системах объективного идеализма). Другой, то есть субъективный идеализм, видит в так называемой действительности только продукт, конструкцию, созданную мышлением познаю-

щего. В соответствии с одним из вариантов этой концепции действительность — это то же, что и комбинации моих внутренних переживаний (различные издания имманентного эмпиризма, классическим представителем которого был Беркли). Логическим следствием такой позиции является солипсизм. Согласно второму варианту субъективного идеализма, то, что дано в познании, составляет продукт, конструкцию, созданную мышлением говорящего, а проблема действительности совершенно обходится как выходящая за наш опыт (агностицизм в варианте Юма).

Но это лишь для напоминания.

Не подлежит сомнению, что теорию, которая ограничивает свой «мир» языком, языковым продуктом, составляющим внешнее выражение внутренних переживаний субъекта, мы должны отнести к субъективно-идеалистическому направлению. Не важно, какой из двух вышеупомянутых вариантов субъективного идеализма здесь выступает. Важно утверждение, что в этой своей форме субъективно-идеалистическая концепция ведет в своем логическом следствии к солипсизму и что нашелся довольно смелый человек, чтобы высказать это следствие и ясно его сформулировать. Этим человеком был один из духовных отцов неопозитивизма Людвиг Витгенштейн.

Вопреки обещанию я должен теперь оставить чисто языковые проблемы семантической философии и по крайней мере несколько слов посвятить другому ее аспекту, который особенно отчетливо проявился в Венском кружке и послужил основанием к тому, что все это направление было названо *логическим эмпиризмом*. Я хочу подчеркнуть здесь *эмпиризм* семантической философии, точнее говоря, характер ее эмпиризма. Выяснение этого вопроса (я делаю это в самом общем виде) необходимо для правильного понимания концепции языка в семантической философии.

Эмпиризм, а в особенности крайний эмпиризм, начинает идти в ногу с субъективным идеализмом с того момента, когда, принимая форму имманентной философии, он интерпретирует опыт лишь как внутренний. Классическими представителями такого толкования эмпиризма были Юм и Беркли. Очевидно также, что именно от них берет свое начало имманентный эмпиризм. К этому направлению относятся не только «чистые» имманентисты, которые часто доходят до явного солипсизма (например, Шuppe,

Ремке, Шуберт-Зольдерн и другие), но и представители «стыдливой» формы имманентизма — эмпириокритицизма, а также в новейший период — неопозитивизма. Неопозитивизм связан непосредственно с эмпириокритицизмом, а в особенности с доктриной Маха об элементах, то есть о представлениях, которые должны быть якобы философски нейтральными и субъективный или объективный характер которых зависит от «координационного ряда» (Авенариус). О связях с махизмом красноречиво говорит программный документ Венского кружка<sup>5</sup>, о них говорил подзаголовок журнала «Erkenntnis», говорят о них и сегодня в своих ретроспективных рассуждениях насчет возникновения неопозитивизма его представители и создатели<sup>6</sup>. Неопозитивисты шли еще глубже, до Юма и Беркли, а Рассел упрекал их, что они делают это еще недостаточно. Во всяком случае, неопозитивистская доктрина о *протокольных предложениях*, к которым сводится вся наша наука, доктрина, основывающая все здание науки на отчетах о каких-то элементарных переживаниях и впечатлениях субъекта как об *исключительном* содержании познания, является новым, хотя весьма крайним видом имманентного эмпиризма.

С психологической точки зрения может быть интересным анализ такого странного факта: люди, которые представляли в большинстве своем точные и естественные науки, люди, которые хотели исключить всякую метафизику и заменить ее точной и строгой наукой, пришли в результате к крайней, на мой взгляд, метафизике, граничащей с солипсизмом.

Эмпиризм, который говорит о часовых стрелках и о показаниях измерительных приборов, о контролируемости и проверяемости нашего наблюдения и науки, опирающейся на эти данные, должен быть привлекательным и понятным для представителей естественных наук. Особенно если он позволяет избавиться от мистики разных иррационализмов, которые были пугалом в философии двадцатых годов — начиная от феноменологии и неогегельянства — своими понятиями *Wesenschau*, «эссенции и экзистенции», «*Les Nichts*» и т. п. каждому строго и точно мыслящему человеку привили отвращение ко всякой философии. Однако в свое время Энгельс предостерегал естественников: пренебрежение философией чаще всего ведет к наихудшей философии. Оказывается, что

и такая позиция, которая безгранично доверяет часовым стрелкам и шкалам измерительных приборов, может привести к мистике и метафизике, когда она повелевает верить, что мир — это наше творение, наша конструкция. Именно это произошло с неопозитивистами вопреки их антиметафизическим декларациям.

К критике элементов Маха или Koordinationsreihe Авенариуса, данной в книге «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина, немногое надо добавить, чтобы получить критическую научную работу, направленную против крайней субъективистской, неопозитивистской доктрины Protokollsätze тридцатых годов. Ибо за это время изменилась скорее форма доктрины, нежели ее существо.

Иным был период, в который возникал неопозитивизм, иными были люди, которые его создавали. Представителям естествознания и точных наук, которые стояли у колыбели Венского кружка, важно было подчеркнуть прежде всего точность и строгость науки и исключить все то, что поражало их в традиционной философии своей неопределенностью и туманностью, неразрешимостью вследствие плохо поставленного вопроса, устранить из научной сферы все то, что они совершенно правильно определяли как философскую «абракадабру» и как псевдопроблемы. Для людей этого типа в данной ситуации неприемлемы были традиционные, философски вульгарные формы идеализма со всей их фразеологией. Против этого они подняли бунт. Они не понимали современного им материализма и поэтому выбрали такой вариант идеализма, который создавал видимость точной и строгой науки. Видя спасение в замене философии логическим синтаксисом, то есть фактически анализом синтаксиса языка науки, Карнап писал: «Нужно выбраться из трясины субъективистско-философской проблематики и стать на твердую почву синтаксической проблематики»<sup>8</sup>. А в действительности мы видим снова субъективный идеализм, скрытый под покровом языкового анализа, новое издание идеализма, подготовленное конвенционализмом (роль языка в научных конвенциях) и логистикой (в особенности открытие роли языка как объекта познания, а также доктрина Рассела об атомарных и молекулярных предложениях). Таким образом, из объединения имманентного эмпиризма с новой концепцией языка и из его роли в философских исследованиях рождается семантическая философия. Этот

союз был зафиксирован в первичном названии нового направления — логический эмпиризм.

Семантическая философия — это, значит, не просто философия, преувеличивающая роль языка и его место в познании, она не просто какая-то философия языка, а это такая философия языка, которая генетически и органически связана с имманентным эмпиризмом. Она возникает как разновидность субъективного идеализма.

Как я уже упоминал выше, неопозитивистскую концепцию языка, его роль и место в процессе познания подготовил конвенционализм, а также связанная с ним логистическая разработка лингвистических исследований специального типа.

Рассел и Уайтхед занялись в «Principia Mathematica» не только проблемой антиномий и связанной с ними проблемой уровней языка, но и анализом структуры языка, в котором они выделили *элементарные (атомные и молекулярные)* предложения как категории предложений особой значимости, предложений, составляющих фундамент всех наших знаний о мире<sup>9</sup>. Людвиг Витгенштейн, ученик Рассела, продолжает идеи логического атомизма и придает им, как я уже говорил, явную форму эпистемологического солипсизма (в этом смысле здесь можно говорить о языковом солипсизме), создает мост между английской логистикой и континентальным неопозитивизмом, духовным отцом которого он является<sup>10</sup>.

Добравшись, таким образом, до Витгенштейна, мы добрались до основного пункта наших рассуждений на тему о семантической философии. Его «Трактат», безусловно, является одной из самых удивительных книг по философии и с точки зрения стиля, и с точки зрения метафорически-интуиционного способа изложения при одновременном стремлении к точности. И получается просто парадоксально, что произведение, которое представляет направление, стремящееся исключить всякую метафизику, фактически является братом-близнецом бергсоновскому интуиционизму и его метафизическим концепциям. В «Трактате» Витгенштейна мы находим основные мысли семантической философии, а именно что язык является единственным предметом исследования, что задача философии сводится к объяснению смысла языка науки, что все, что выходит за пределы этой задачи, есть бессмысленная метафизика. Много лет спустя Карнап в своем фунда-

ментальном труде подтвердит эту зависимость неопозитивизма от Витгенштейна и выразит полную солидарность с его основными идеями, за исключением двух: нельзя формулировать предложений о синтаксисе и нельзя формулировать предложений о логике науки<sup>11</sup>.

В «Трактате» Витгенштейн пишет:

«5.5561. Эмпирическая действительность ограничена совокупностью предметов. Эта граница в свою очередь проявляется в совокупности простых суждений...

5.6. Границы моего языка означают границы моего мира.

5.61. Логика заполняет мир; границы мира суть также ее границы...

То, о чем невозможно мыслить, мы не можем мыслить, мы не можем также *высказать* того, чего не можем мыслить»<sup>12</sup>.

Позиция Витгенштейна отнюдь не однозначна. Я специально начал с высказывания на тему эмпирической действительности как совокупности вещей, предметов. Известно, однако, что такого рода высказывание приобретает определенный смысл лишь тогда, когда мы говорим, что подразумеваем под «предметом». Из последующих параграфов мы узнаём, что *мой* язык есть граница *моего* мира, ибо мы можем сказать только то, что можем подумывать (в п. 4 Витгенштейн утверждает, что мысль — это осмысленное предложение; а в п. 3.5 — что мысль — это реализованный, использованный в мысли знак предложения). Чтобы развеять все сомнения относительно интерпретации эпигматического суждения о языке и границах *моего* мира, Витгенштейн раскрывает свою позицию по вопросу о солипсизме.

«5.62. Это замечание дает нам ключ к решению проблемы, насколько солипсизм является истиной. А именно то, что солипсизм *утверждает*, правильно, однако это невозможно *высказать*; на это можно только указать.

То, что мир является *моим* миром, делается очевидным в том, что границы языка (языка, который только я один понимаю) означают границы моего мира.

5.661. Мир и жизнь составляют единство.

5.63. Я есть мир для себя (микрокосмос)...

5.64. Отсюда видно, что строго рассматриваемый солипсизм совпадает с чистым реализмом.

«Я» солипсизма сокращается до неизмеримой точки, остается только координирующая его действительность.



5.641. Поэтому в философии действительно можно в известном смысле говорить о «Я» непсихологически. «Я» входит в философию через то, что «мир — это мой мир».

С точки зрения философии «Я» — это не человек, не человеческое тело или человеческая душа, которой занимается психология, а метафизический субъект, граница мира, а не его часть»<sup>13</sup>.

Разве этот фрагмент не является прямо-таки классической иллюстрацией тезиса Энгельса о судьбе тех, кто осмелится пренебрегать философией? Ибо разве существует более самоуничтожающаяся философия, чем солипсизм? Полон комизма и наивности вид автора, который во имя борьбы с метафизикой и туманностью (Витгенштейн в п. 4.116 говорит, что все, что возможно высказать, можно высказать ясно) исключительно туманным способом вводит какие-то метафизические субъекты, являющиеся к тому же не частью, а границей мира.

Но зато нельзя отказать Витгенштейну в гражданском мужестве: мало кто в истории не устранился бы призрака солипсизма. Даже Беркли спрятался от него под крылышко объективного идеализма. Потому что дойти до солипсизма — значит дойти до философского самоуничтожения, в особенности сегодня, в эпоху такого расцвета естественных наук. Неопозитивисты не повторили, правда, тезиса Витгенштейна (только Карнап в «*Der logische Aufbau der Welt*» говорил о методическом солипсизме), но то, что они фактически взяли и развили из идейного наследия «Трактата», самым тесным образом связано с его солипсизмом.

Витгенштейн, продолжая доктрину Рассела об элементарных предложениях, доходит до языкового солипсизма. Наиболее глубокий смысл этого солипсизма кроется в суждении, что границы моего языка суть границы моего мира. Витгенштейн делает отсюда выводы, которые сыграли большую роль в дальнейшем развитии неопозитивизма.

Во-первых, он ставит перед философией задачу логического объяснения (логического анализа) мысли, которое, по его мнению, равнозначно с «критикой языка».

«4.112. Целью философии является логическое объяснение мысли.

Философия — это не наука, а деятельность.

Философское произведение состоит в сущности из объяснений.

Результатом философии являются не «философские суждения», а объяснения суждений.

Задача философии — сделать так, чтобы мысли, которые без ее помощи неясны, туманны и запутанны, стали ясными и четко друг от друга отграниченными<sup>14</sup>.

А в другом месте он говорит:

«4.0031. Всякая философия есть «критика языка» (однако в значении Маутнера). Заслуга Рассела состоит в раскрытии того, что внешне логичная форма суждения не всегда является логичной формой в действительности»<sup>15</sup>.

Во-вторых, Витгенштейн сводит это объяснение к формальной (синтаксической) стороне языка, в полном отрыве от стороны значений.

«3.33. В логическом синтаксисе значение отдельных знаков не может играть никакой роли; должна быть возможность построения его без учета значения отдельных знаков. Он может предполагать только описание выражений»<sup>16</sup>.

В-третьих, все, что выходит за эти границы, рассматривается как метафизическая бессмыслица, то есть как псевдопроблема.

«4.003. Большинство утверждений и вопросов, содержащихся в философской литературе, не ложно, а только лишено смысла. Поэтому на вопросы такого рода вообще нельзя дать ответа, можно лишь показать их бессмысленность. Большинство вопросов и утверждений философов исходит из того, что мы не понимаем собственной логики языка.

(Сюда относятся вопросы такого рода, как: когда Добро более идентично или менее идентично с Красотой?)

Потому нет ничего удивительного, что самые глубокие проблемы по сути дела вообще не являются проблемами».

В заключение же «Трактата» Витгенштейн пишет:

«6.522. Однако существует что-то, что является невыразимым. На это нечто указывают, оно является чем-то мистическим.

6.53. Верным методом философии был бы, собственно, следующий: говорить только то, что можно сказать, то есть высказывать утверждения естествознания, иными словами, нечто такое, что не имеет ничего общего с философией. А если некто захочет сказать что-то метафизическое,

ему следует указать на то, что некоторые знаки в своих утверждениях он не наделил никаким значением. Он не будет доволен таким методом — он не будет чувствовать, что мы излагаем ему философию, — однако *этот* метод был бы единственно строгим и верным»<sup>17</sup>.

Это касалось философии Витгенштейна. Я привел изрядное количество цитат, прежде всего учитывая значение этой философии в развитии неопозитивизма.

Теперь посмотрим, как мысли Витгенштейна были приняты, подхвачены и развиты неопозитивизмом. Как я уже обещал, мы постараемся избежать ненужного балласта эрудиции и ограничимся иллюстрацией, приводя лишь примеры авторитетные<sup>18</sup>.

Неопозитивизм, продолжая идеи Рассела и Витгенштейна, доводит их мысль до особенно радикальной формы — что язык есть единственный предмет философии. Соединяя же эту концепцию языка с имманентным (логическим) эмпиризмом, доводит семантическую философию до совершенства.

Какие же аргументы говорят в пользу такой интерпретации неопозитивизма? Самые разнообразные, косвенные и прямые. Аргументы, почерпнутые из сочинений *всех* представителей неопозитивизма. Сравнительно краткое изложение нам диктуют исключительно только те соображения, о которых мы говорили выше.

Уже на сравнительно ранней фазе развития Венского кружка Карнап представил в своем произведении «*Der logische Aufbau der Welt*» теорию *конституции* и теорию *методического солипсизма*. Опираясь на Рассела, в особенности на его доктрину атомарных предложений и мира как логической конструкции, состоящей из разных аспектов, опираясь на Витгенштейна, который, как мы уже видели, радикализует в своей языковой концепции тезисы Рассела, Карнап становится фактически на почву своеобразного языкового солипсизма.

Теория конституции, которая легла в основу тогдашней концепции Карнапа, гласит, что сложные понятия выводимы из основных понятий. А эти основные понятия (именно здесь к логико-языковой концепции присоединяется имманентный эмпиризм) идентичны «тому, что дано». Карнап постулирует «сведение «действительности» к «тому, что дано» (*das Gegebene*), что постулировали, а частично реализовали Авенариус, Мах, Пуанкаре, Кюльпе, а

прежде всего Циен и Дриш»<sup>19</sup>; Карнап утверждает, правда, что его концепция нейтральна по отношению к спору «материализм — идеализм», что спор этот носит языковой характер и зависит от выбора основных понятий, то есть от выбора языка; но он одновременно провозглашает следующее:

«Теория конституции и субъективный идеализм согласны в том, что все высказывания о предметах познания поддаются в принципе преобразованию в высказывания о структурных связях... Взгляд, состоящий в том, что данное — это мои переживания, является общим для солипсизма и для теории конституции. Теория конституции и трансцендентальный идеализм совместно защищают взгляд, что все предметы познания конструированы (на языке идеализма: «созданы в мышлении»); а именно конструированные предметы являются объектом понятийного познания только как логические формы, построенные определенным способом. Это относится в конечном счете и к основным элементам конституционной системы»<sup>20</sup>.

Эту концепцию Карнап называет «методологическим солипсизмом». В этом понимании тезис Витгенштейна, что границы моего языка суть границы моего мира, приобретает особую убедительность.

Витгенштейн заимствовал у Рассела мысль о сводимости всех высказываний к атомарным предложениям, из которых мы строим молекулярные предложения, и только из этих элементарных предложений — предложения более высокого порядка. Ни Рассел, ни Витгенштейн не определяют, однако, характера этих предложений (лишь Рассел под влиянием неопозитивистов, в особенности Айера, вводит наряду с понятием «atomic propositions» понятие «basic propositions»). Первым шагом к радикализации концепции Витгенштейна неопозитивизмом была замена атомарных предложений отчетными предложениями, которые — в неопозитивистском толковании — явно ставят всю концепцию на почву индивидуальных переживаний субъекта<sup>21</sup>. Идя далее в этом же направлении, эту концепцию связали с конвенционализмом. При этом отбросили мысль, что отчетные предложения представляют собой какой-то дифференцированный класс, а их отбор был предоставлен конвенции.

При таком понимании роли языка в познании тезис Витгенштейна для концепции семантической философии

должен представляться прямо-таки спасительным (тезис о том, что задачей философии является объяснение предложений «критика языка», а также сведение этой «критики» к анализу логического синтаксиса). Идеи эти теперь станут доминирующими в неопозитивизме и будут долгое время повторяться в разнообразных вариантах и тональностях.

Подхватывая тезис Витгенштейна, Шлик, а за ним Карнап и другие (как мы уже указывали в начале данного параграфа) видят в замене всей философской проблематики логическим синтаксисом языка науки поворотный пункт в развитии философии. Я не иллюстрирую это цитатами. Наиболее характерные из них, мне думается, были уже приведены. К тому же мысли эти уже сотни раз повторялись в неопозитивистской литературе, подобно тому как и связанная с ними концепция: то, что нельзя в области философии охватить языком логического синтаксиса, есть метафизика, а значит, псевдопроблема и бессмыслица.

Эта последняя концепция особенно ярко выступает у Карнапа. Он делит теоретические проблемы на *предметные* и *логические*. Первые касаются объектов изучаемой области и представляют собой исключительную домену эмпирических наук. Другие же касаются формы выражений (их синтаксиса) и составляют собственное содержание научной философии. Традиционно содержащиеся в философии предметные проблемы являются либо псевдопредметными проблемами и поддаются переводу на язык синтаксиса (Карнап развил целую теорию переводимости предложений из материального ряда в формальный, то есть теорию, которая позволяет с помощью предложений о предложениях исключать предложения о вещах и вызывает тем самым впечатление, что язык есть действительно единственный предмет нашего исследования), либо просто псевдопроблемой, иначе говоря, метафизической бессмыслицей.

«Материальный порядок речи есть преобразованный порядок речи. Используя его с целью высказывания чего-то о каком-либо слове (или предложении), мы говорим вместо этого слова (или предложения) что-то параллельное о предмете, обозначенном этим словом (или предложением)»<sup>22</sup>.

Не удивительно, что, находясь на этой позиции, Карнап делает следующий вывод относительно суждений философии:

*«Переводимость в формальный порядок речи составляет пробный камень всех философских высказываний или, говоря более обобщенно, всех высказываний, которые не относятся к языку какой-либо из эмпирических наук»<sup>23</sup>.*

Все другие есть бессмыслица.

*«В области метафизики (включая сюда оценочную философию и нормативную науку) логический анализ приводит к негативному результату, а именно к тому, что мнимые суждения в этой области совершенно лишены смысла»<sup>24</sup>.*

Мы здесь ясно видим, как замыкается круг рассуждения: мы начали с тезиса, что язык есть единственный предмет исследования в философии, а кончили утверждением, что все, что выходит за пределы исследования, есть просто бессмыслица. Таким образом, негативным методом был подтвержден тезис, что *вне* языка в философии мы ничего не можем исследовать.

Я здесь не углубляюсь в оценку и опровержение идеалистических тезисов. Ибо не стоит повторять банальных утверждений, очевидно вытекающих из противоположности между материализмом и идеализмом (для подробной аргументации, касающейся некоторых связанных с этим проблем, будет отведено место во второй части работы). Я сознательно ограничиваюсь констатацией некоторых фактов. Принципиально важно выявление идеалистического характера философии, которая сводит предмет познания к внутренним переживаниям в случае с эмпирическими науками (доктрина протокольных предложений; от сводимости к этим предложениям должна зависеть осмысленность высказываний) и к анализу синтаксиса языка этих высказываний — в случае с философией. От констатации этого факта зависит прежде всего оценка научного значения семантической философии.

Ясно, что раскрытие идеалистического характера каких-либо взглядов отнюдь не дискредитирует их в глазах идеалиста. Как раз наоборот: борьба материалиста и идеалиста с этого именно и начинается. Что касается направления, представители которого отрицают, что они поддерживают идеализм, эта констатация факта является окончанием начального этапа борьбы. Именно так складывается ситуация в случае семантической философии, а в особенности неопозитивизма (логического эмпиризма). Ибо это направление, подобно тому как некогда махизм,

прокламирует свою нейтральность в споре между материализмом и идеализмом, а свое воображаемое научное превосходство оно старается закрепить, дискредитируя этот спор как псевдопроблему и метафизическую бессмыслицу. Эти претензии, однако, лишены всяких оснований. Так называемая семантическая философия, подвергающая анафеме метафизику, каковой, по ее мнению, является вся классическая философская проблематика, сама вязнет в традиционной метафизике, к тому же весьма низкого сорта. Да и зачем дуться на субъективный идеализм Беркли (Рассел с этой точки зрения был намного более последовательным, ибо не стыдился родства с субъективным идеализмом), когда сам копируешь его образцы в концепции протокольных предложений? Зачем метать громы и молнии в адрес метафизики, если свою собственную философскую позицию основываешь на целиком метафизическом (в традиционном значении этого слова) тезисе, что язык есть единственный объект философского анализа? Не меньшей метафизикой, чем утверждение об исключительном существовании продукта моего разума, является утверждение об исключительном существовании языкового продукта, который является продуктом моего разума. К принятию такого тезиса ведет в конце концов имманентный эмпиризм в соединении со специфической философией языка и с агностицизмом. Языковой солипсизм столь же метафизичен, как и всякий другой.

Как я уже сказал, раскрытие идеалистического характера основных тезисов семантической философии не означает, что мы убедили сторонников этих тезисов в их неправильности. Я не думаю, чтобы это можно было сделать сразу же, даже если бы направить против них весь арсенал материалистической аргументации. Вопросы эти слишком сложны, в них выступает слишком много элементов разнородного типа, чтобы спор можно было решить столь легко и быстро. Зато ниспровержение мифа об антиметафизическом характере семантической философии, извлечение на свет божий ее явно метафизических и идеалистических оснований — вещь значительно более легкая и в данной ситуации решающая. Особенно важным будет для нас под этим углом зрения свидетельство такого мыслителя, как Бертран Рассел. По тем же самым причинам, по которым я взял высказывание Рассела в качестве эпиграфа для

всей главы, я хотел бы его же оценкой закончить выводы данного параграфа.

В работе «An Inquiry into Meaning and Truth» Рассел подробно останавливается на анализе неопозитивистской доктрины протокольных предложений. Он оценивает отрицательно как эмпирическую, так и языковую сторону этой доктрины. Вот что он пишет в заключение своих рассуждений в разделе, озаглавленном «Basic Propositions».

«Когда я говорю «солнце светит», я не имею в виду, что это одно из предложений, между которыми нет противоречия; я имею в виду то, что не имеет вербального характера, нечто, для чего придуманы такие слова, как «солнце» и «светит». Слова нужны для того, чтобы можно было заниматься иными, чем слова, предметами, хотя философы, кажется, забывают об этом простом факте. Если я вхожу в ресторан и заказываю обед, то для меня важно не то, чтобы мои слова подходили вместе с другими словами к какой-то системе; для меня важно то, чтобы они послужили поводом для появления пищи. Я мог бы справиться с этим, не используя слов, беря то, что мне надо, однако это было бы менее удобно. Вербалистские теории некоторых современных философов забывают о простых, практических целях повседневно употребляемых слов и растворяются в неоплатоновском мистицизме. Я почти слышу их голос: «вначале было слово», а не «что слово означает». *Достоин внимания факт, что этот поворот к древней метафизике произошел в результате стремления к ультраэмпиризму*»<sup>25</sup>.

К этой оценке мне нечего добавить.

\* \* \*

В вышеизложенных рассуждениях мы допускали как само собой разумеющееся, что существует язык, который мы анализируем. Проблема же, откуда взялся этот язык, каково его отношение к действительности, оставалась до сих пор в тени. А это проблема необычайной важности, в особенности в системе семантической философии. Отсутствие ясного ответа на этот вопрос всегда открывает возможность для реалистической интерпретации, которая могла бы выглядеть следующим образом: следует анализировать язык, ибо *через посредство* этого анализа мы сможем узнать что-то о реальной действительности, отобра-



женной языком. Я сказал ясно, что интерпретация *могла бы* быть такой, если бы не были поставлены точки над «и» в выяснении генезиса языка и его возможных связей с действительностью в свете семантической философии. Тороплюсь добавить, что все точки над «и» уже поставлены собственноручно творцами этой философии и что мы освобождены от всяких сомнений. Более того, лишь введение этой проблемы позволяет нам полностью понять характер семантической философии. Ибо кто провозглашает не только то, что язык *единственный* объект философского анализа, но и то, что язык этот избирается или создается нами *произвольным* образом, что он результат произвольной *конвенции*, вместе с которой изменяется образ единственной доступной нам действительности, тот в самом деле провозглашает крайнюю разновидность идеалистической философии.

Эта нить понимания — как мы увидим — ведет по прямой линии к эпистемологическому солипсизму (гласящему, что каждый индивидуум может познать только свое собственное содержание), который довольно близко граничит с онтологическим солипсизмом.

## 2. ЯЗЫК КАК ПРОДУКТ ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНВЕНЦИИ

Один из основных тезисов семантической философии гласит, что язык есть продукт произвольной конвенции и что поэтому, выбирая тот или иной язык, мы можем произвольно изменять свою картину мира. Тезис этот по меньшей мере странный, особенно когда сопоставляешь с ним сформулированное так называемым радикальным конвенционализмом утверждение, что эти произвольно созданные языки замкнуты в себе и взаимно непереводимы. Отсюда следует не только то, что мы можем изменять свою картину мира, не только то, что существуют разные картины мира, но и то, что могут существовать разные замкнутые в себе картины мира, между которыми нет никаких связей и переходов.

Прежде чем мы приступим к философской оценке этих тезисов, мы остановимся на том, откуда они выводятся, каковы источники этой странной формы языкового идеализма. Ибо утверждение, что здесь дело идет о сознатель-

ном камуфляже идеализма, есть наивность и вульгаризация. Против этого говорит хотя бы образ тех людей, которые создали эти взгляды.

Как я уже сказал, создателями упомянутых концепций были преимущественно (в особенности если дело идет о неопозитивизме) люди, связанные с точными науками, люди, для которых образцом совершенства была теория дедукции. А очень хорошо известно, что означает в теории дедукции «создать язык» или «выбрать язык»; известно, что значит факт, что могут существовать разные языки и что в зависимости от выбора какого-то из них изменяются и «перспективы мира» — в смысле способа понимания и разрешимости некоторых вопросов; известно также, что означает, что существуют языки «более богатые» и «более бедные» и так далее. Не может ли такая трактовка естественных языков и связанных с ними проблем происходить именно от теории дедукции? По моему мнению, дело, безусловно, так и обстоит.

Впрочем, соблазн признать естественные языки за произвольный продукт конвенции выводится и из других источников. Дело в том, что существуют «языки», которые действительно являются результатом конвенции, причем более или менее произвольной. Примеров здесь можно привести много, начиная от кодов, служащих целям коммуникации (например, «язык» флагов на корабле), шифров, в известной степени язык жестов глухонемых и кончая «языком цветов» влюбленных. Если пренебречь строгим различием между языком и речью, то язык можно определить как систему знаков, служащих целям общения людей между собой. В этом смысле каждый из приведенных выше примеров представляет какой-то «язык», который есть продукт конвенции и к тому же произвольной. Не усиливает ли это соблазн трактовать подобным же образом и естественные языки? Тем более что естественные языки имеют действительно много элементов, общих с искусственными языками.

Я не намереваюсь в данной связи производить анализ сходств и различий, которые имеют место между естественными и искусственными языками. Такой анализ включал бы в себя также и рассмотрение проблемы отношения языка к мышлению и к действительности. Это проблема огромная сама по себе; некоторые ее аспекты затрагиваются во второй части работы. Но на одну вещь я должен

все же обратить внимание, ибо она, на мой взгляд, проливает яркий свет на всю проблему в целом.

При всех сравнениях и аналогиях между искусственными и естественными языками нельзя забывать о принципиально важном вопросе: искусственные языки строятся на базе естественных языков, и только на этой базе они возможны и понятны. Это касается также и их произвольно конвенционального характера: конвенции, применяемые при создании разных языков (как языков дедуктивных теорий, так и кодов, шифров и т. д.), опираются на *существующие* естественные языки и без них не были бы возможны. Поэтому, несмотря на все аналогии и сходства между разными системами знаков, служащих для взаимопонимания между людьми, попытка перенесения на естественные языки выводов, полученных из анализа искусственных языков, в основе своей ошибочна. И это потому, что естественные языки могут прекрасно существовать без искусственных, а искусственные языки могут существовать только на базе естественных языков и светят лишь отраженным светом. Следовательно, мы можем не интересоваться вопросом отношения к действительности, например, языков теории дедукции или языка флагов (хотя и они относятся, разумеется, к реальному миру), ибо так или иначе мы переводим их на естественные языки. Мы можем согласиться на том, что имеем дело с конвенциональным продуктом, и на этом закончить разговор. Но нельзя делать на этом основании вывод, что и в случае с естественными языками можно абстрагироваться от проблемы их отношения к мышлению и действительности. А эта мысль явно вытекает из позиции неопозитивизма (Витгенштейн, Карнап и др.), а также радикального конвенционализма. Когда размышляют таким образом, то допускают логическую ошибку. И эта ошибка, на мой взгляд, лежит как раз у основания конвенционалистской концепции языка.

Исходным пунктом конвенционализма является утверждение, что научное познание опирается на договор, что, создавая науку, мы создаем фактически конвенции, подбираемые с точки зрения их удобства. Однако лишь Леруа последовательно развивает конвенционализм в направлении признания зависимости теории от *выбора языка*<sup>25</sup>. Выбор этот свободен, и нет необходимости, диктующей выбор именно *этого* языка, хотя конкретный выбор, про-

изведенный данным индивидуумом, обусловлен психологически<sup>26</sup>.

Этот тезис конвенционализма переносится на базу неопозитивизма. Тем более что неопозитивистская концепция языка как единственного объекта философского анализа *требует* этого следствия. Всякое иное, чем конвенциональное, решение проблемы снова ставит вопрос о реальной действительности и отношении «язык — действительность».

Конвенционалистские выводы из принятой неопозитивизмом концепции языка делает в наиболее крайнем выражении в рамках Венского кружка Р. Карнап. В подобном направлении (хотя и независимо) идет в Польше радикальный конвенционализм Айдукевича.

Карнап сформулировал свою мысль в виде *принципа толерантности*, который провозглашает полную произвольность выбора языка (как форм образования, так и преобразования предложений) и логики.

*«В логике нет моральных предписаний. Каждый волен строить свою собственную логику, то есть свою собственную форму языка, по своей собственной воле. От него требуется только одно — чтобы он, если вообще об этом дискутировать, ясно очертил свой метод и дал синтаксические правила вместо философских аргументов»*<sup>27</sup>.

Принцип свободного выбора языка (с учетом всех последствий для проблемы *создания* субъектом своей картины мира — перспективы мира) достиг своей вершины в радикальном конвенционализме Айдукевича. Это концепция, родственная неопозитивизму, но без его доктрины протокольных предложений (суждений. — *Прим. перев.*). Данная концепция доводит до крайности тезисы семантической философии. Я имею в виду теорию замкнутых и непередаваемых языков и одновременно произвольно выбираемых по принципу конвенции. В системе радикального конвенционализма такая теория преобразует субъект в монаду без окон и дверей, которая не только является в известном смысле создателем действительности, но и недостижима для какого-либо аргумента вне пределов *ее* языка.

Вот как характеризует проблему Айдукевич:

«Основной тезис обычного конвенционализма, представителем которого является, например, Пуанкаре, гласит, что существуют проблемы, которые нельзя решить ссылкой на опыт, пока не будет введена известная конвен-

ция, ибо только эта конвенция вместе с данными опыта позволит решить проблему. Суждения, составляющие это решение, не навязаны нам данными опыта, — их принятие зависит частично от нашего же признания их, ибо ту конвенцию, которая участвует в разрешении проблемы, мы можем произвольно изменить и в результате этого получить другие суждения.

В данной работе мы имеем намерение обобщить этот тезис обычного конвенционализма и радикализировать его. В частности, мы хотим здесь сформулировать и обосновать утверждение, что не только некоторые, но *все суждения, которые мы принимаем и которые создают всю нашу картину мира, не являются еще однозначно определенными данными нашего опыта, а зависят от выбора понятийного аппарата, с помощью которого мы отображаем данные опыта. Мы можем, однако, выбрать тот или иной понятийный аппарат, из-за чего изменится вся наша картина мира*<sup>28</sup>.

Взгляды Айдукевича, опубликованные в журнале «Erkenntnis», безусловно, не могли не оказать влияния на развитие неопозитивистских взглядов сторонников семантической философии. Впрочем, Айдукевич не стоял особняком. Его тезисы созвучны с принципом толерантности Карнапа или же с теориями, скажем, Ц. Г. Гемпеля<sup>29</sup>.

Дополнительный свет на проблему выбора языка проливает неопозитивистская доктрина физикализма<sup>30</sup>.

Вот как Карнап характеризует эту доктрину:

«Тезис *физикализма* гласит, что язык физики является универсальным языком науки, то есть каждый язык каждого подраздела науки может быть равнозначно переведен на язык физики. Отсюда следует, что наука есть однородная система, в рамках которой не существуют принципиально разные объектные области, не существует, следовательно, и пропасть, скажем, между естественными и психологическими науками. Это тезис о *единстве науки*»<sup>31</sup>.

Мы уже говорили, что особенно в неопозитивистских кругах было много людей, связанных с естественными и точными науками. Отсюда и тенденция к перестройке философии по образцу точных наук, отсюда же и симпатии к физике и ее языку, симпатии, принимающие порой вульгаризированную форму бихевиоризма<sup>32</sup> (напри-

мер, взгляды Карнапа на психологию и воззрения Нейрата на социологию как на отрасль физики). Не подлежит сомнению, что в физикализме выходят на свет все горести и печали естествоиспытателей. Но это не может изменить очевидного и неопровержимого факта, что сама концепция физикализма со времени своего появления конвенционалистична, что она выводится из концепции языка как произвольной конвенции и что понимается она как удобное средство унификации науки, а не как уступка в пользу какого-то познавательного реализма.

Конвенционализм отчетливо выступает во многих высказываниях создателей физикализма. Для подтверждения этого мы ограничимся лишь самым необходимым минимумом цитат.

Мориц Шлик, который принадлежал к значительно более умеренным сторонникам неопозитивистской философии, чем Карнап или Нейрат (см., например, его полемику против теории когерентности), задолго до возникновения физикализма обосновал его теоретико-познавательные принципы:

«Физическое» не означает какого-то особого вида действительности, а лишь особый вид обозначения действительности, а именно — необходимую для познания действительности систему понятий естественных наук. «Физическое» было бы ошибочно понимать как свойство, которое относится к одной части действительности, а к другой — нет, это скорее слово, обозначающее вид понятийной конструкции, подобно тому как, например, «географическое» или «математическое» обозначают не какие-то частности реальных вещей, а всегда только способ представления их с помощью понятий»<sup>33</sup>.

Именно в этом направлении пошли создатели физикализма, делая из своей теории нечто вроде лингвистического приема и превращая ее в исключительно языковую проблему.

Карнап пишет:

«Нетрудно заметить, что оба эти тезиса (то есть как тезис физикализма, так и тезис единства науки. — А. Ш.) касаются синтаксиса языка науки»<sup>34</sup>.

Принцип же толерантности подсказывает нам, что язык и его синтаксис мы можем выбирать произвольно.

Точки над «и» ставит Нейрат — главный проводник идеи физикализма, подобно тому как, впрочем, и дру-

гих крайних неопозитивистских идей. Он связывает физикализм с теорией когерентности, придавая ей тем самым чисто языковой облик.

В статье «Soziologie im Physikalismus» Нейрат защищает тезис о единстве науки и о единстве языка этой науки. Социологию, например, он интерпретирует как общественный бихевиоризм, составляющий часть физики в широком смысле слова. А в чем состоит правильность тезисов этой науки? В согласованности ее предложений между собой.

«Наука как система высказываний всегда является предметом дискуссии. *Высказывания сравниваются с высказываниями*, а не с «переживаниями», не с «миром», не с чем-то другим. Все эти лишённые смысла *дублирования* относятся к более или менее строгой метафизике, и потому их следует отбросить. Каждое новое высказывание сопоставляется с существующими, взаимно между собой согласованными высказываниями. *Высказывание признается правильным, если можно его в них включить*»<sup>35</sup>.

В свете принципа толерантности, радикального конвенционализма и физикализма не подлежит ни малейшему сомнению конвенционалистский характер так называемой семантической философии. Философский анализ ограничивается анализом языка, а язык выбирается на принципе произвольной конвенции — вот ее главные тезисы. Как я уже сказал, я не вступаю здесь в полемику с этими тезисами; в таком случае надо было бы прежде всего рассмотреть и решить проблему отношения: язык — мышление — действительность. Для наших целей достаточно указания на идеалистический, отнюдь не антиметафизический характер семантической философии. Каждый объективно мыслящий читатель, пожалуй, признает, что эта цель достигнута.

В заключение еще одно замечание. Решительная оппозиция в отношении конвенционалистских тезисов о произвольности естественного языка, рассматриваемого в отрыве от действительности и мышления, которое отражает эту действительность, никак не означает, что я отрицаю всякую форму содержащейся в этих тезисах (в особенности у К. Айдукевича) мысли об *активной роли* языка в процессе человеческого познания. Сравнительные исследования языка и культур (Сепир, Уорф и другие) не оставляют в этом отношении никакого сомнения, а умеренная

формулировка этой мысли не может вызывать возражений философов. Но это уже другого рода вопросы, о которых речь пойдет во второй части работы.

\* \* \*

В форме *post scriptum* я хотел бы сделать несколько замечаний на тему о теперешнем развитии семантической философии.

Одной из ошибок марксистской философской критики по сей день является игнорирование вопроса развития и изменения критикуемых взглядов. Если когда-то неопозитивисты, например Карнап или Айер, провозглашали какие-то взгляды, например доктрину протокольных предложений или же сводимость философии к логическому синтаксису языка, то эти высказывания считают за чистое выражение неопозитивизма *вообще* или же неопозитивистичности некоторых его представителей. А ведь люди имеют полное право уточнять свою позицию и охотно этим правом пользуются. В результате часто бывает так, что мы критикуем все еще прежнего Карнапа и Айера и не знаем или не хотим знать их теперешних взглядов.

Очевидно, критик может принимать в расчет и анализировать какой-то конкретный период или этап развития доктрины. *Scripta manent* — и поэтому сохраняют свою историческую ценность даже те направления и воззрения, авторы которых уже давно отказались от них. Логический эмпиризм Венского кружка есть объективное идеологическое явление, которым должен заняться каждый, кто исследует неопозитивизм, хотя — насколько мне известно — никто из прежних авторов доктрины протокольных предложений (при этом следует помнить о большом разнообразии взглядов на эту тему среди неопозитивистов) не проповедует ее теперь, по крайней мере в тогдашнем виде. Однако исследователь, анализирующий явление, которое относится уже к прошлому, обязан упомянуть, что он занимается только определенным *этапом* развития данной доктрины, а не этой доктриной вообще; при этом желательно показать хотя бы в общих чертах, в каком направлении пошла эволюция критикуемой доктрины. Этим я и хотел бы сейчас заняться.

Относительно семантической философии я охарактеризовал бы это изменение в самом общем виде как переход



с позиций субъективизма на позиции более реалистические.

В доктрине физикализма имелась некоторая двойственность, нерешительность. Но философская позиция, например, Карнапа периода «Der logische Aufbau der Welt» или более поздней его работы «Die logische Syntax der Sprache» была однозначной. Это была типичная позиция семантической философии, как мы ее представили выше.

Сравним ее с воззрениями Карнапа периода «Testability and Meaning», а тем более «Introduction to Semantics» или же «Empiricism, Semantics and Ontology»; наблюдая подобие и непрерывность некоторых идей семантической философии, мы не сможем отрицать, что позиция эта подверглась серьезным изменениям.

Подобную операцию можно провести, например, на взглядах английского выразителя неопозитивизма А. Д. Айера, сравнив его ранние работы, такие, как «Language, Truth and Logic» (1936) и «The Foundations of Empirical Knowledge» (1940), с работой «The Problem of Knowledge» (1956).

Среди многообразных изменений, которые происходят во взглядах приверженцев семантической философии, нас интересует прежде всего изменение, связанное с концепцией языка и его анализа. Внешне оно проявляется как переход от безусловного признания логического синтаксиса к признанию также и семантики *sensu stricto*. Причины этого мы разбирали уже в предыдущей главе. С философской точки зрения изменение это означает введение проблемы отношения выражений к означаемому *предмету* и вместе с этим проблематики значения. Несмотря на непоследовательность в переходе на позиции классического определения истины и вместе с тем на позиции семантики *sensu stricto*, в рассуждения семантической философии врывается проблема *объективного эквивалента* языка. Конечно, эту проблему можно запутать и затуманить, если не занять последовательно реалистической, то есть материалистической позиции в теории познания. Так именно обстоит дело в соответствующих сочинениях семантиков. Но самое важное состоит в том, что эта проблематика вообще появилась в поле зрения семантической философии, что семантическая философия вышла из заколдованного круга формальных языковых

операций как единственного предмета философских исследований.

Понятно, что такой шаг повлек за собой дальнейшие последствия. Они были выдвинуты в рамках семантики так называемой теорией моделей, которая — как мы уже писали — теоретически обобщает тезис, гласящий, что язык *отображает* какую-то свою модель, то есть какую-то действительность, которая может найти разнообразное языковое выражение. Теория моделей развивается в рамках теории дедукции и служит ей, но одновременно она имеет и большое философское значение — является выражением реалистических тенденций развития в семантической философии.

Трудно сейчас сказать, какими будут дальнейшие судьбы этого развития. Тем более что отказу от идеалистических тезисов в одной области может сопутствовать появление или углубление их в другой. Наша обязанность состоит в том, чтобы лишь сигнализировать, что эти изменения наступают, и указать их направление.

\* \* \*

Особо следует коснуться в рамках этой главы вопроса *семиотики* — продукта скрещения неопозитивизма с прагматизмом.

Семиотика как общая теория знака имеет, как показал Чарлз Моррис<sup>36</sup>, долгую историю, которая от стоиков через эллинистическую философию, Оккама (*Scientia sermocinalis*), Лейбница (*characteristica universalis*), Локка (*σημειωτική*) ведет к современной математической логике. Корни современной семиотики в том виде, какой ей придал Моррис, восходят через влияние неопозитивизма именно к этой логической традиции, а вместе с тем они лежат в американском прагматизме и его анализе влияния знака на человеческое поведение. Здесь имеются в виду прежде всего работы Ч. Пирса из области семиотики, а также работы Джемса, Дьюи и Дж. Мида.

Не подлежит сомнению, что потребность *общей теории знака* возникла из упомянутых нами синтаксических и семантических интересов математической логики и неопозитивизма. Идейные направления, исходящие из позиции семантической философии, то есть превращающие язык в единственный или по меньшей мере в главный пред-

мет философского анализа, должны были также заняться всесторонним анализом знака — в связи с его ролью в проблематике языка.

Для возникновения такой общей теории знака необходим был учет также отношения знака к его производителю и адресату — человеку. Этой стороной проблемы, чуждой в принципе логическим исследованиям, занимался прагматизм и бихевиористская психология, то есть направления типично американские. Поэтому нет ничего удивительного, что представителем нового варианта семиотики стал человек, подверженный из-за своего университетского воспитания родным ему влияниям прагматизма, а из-за последующей учебы в Европе — влияниям неопозитивизма. Чарлз Моррис в настоящее время наиболее известный представитель семиотики, которая, выделяя синтаксическую, семантическую и прагматическую плоскости процесса *семиоза* (то есть процесса, в котором выявляется функция знака как функция значения), впитала в себя, в сущности говоря, как теория более высокого ранга логический синтаксис и семантику как свои составные части. В результате семиотика претендует на роль философии с большой буквы. Моррис писал:

«Семиотика дает основания для понимания главных форм человеческой деятельности, а также их взаимозависимости, поскольку все эти формы деятельности и зависимости находят выражение в знаках, являющихся посредниками деятельности... Делая возможным это понимание, семиотика обещает выполнить одну из тех задач, которые традиционно считаются философскими. Философия часто грешила, путая на своем собственном языке разные функции, исполняемые знаками. Но в соответствии с древней традицией задачей философии должно быть вскрытие характерных форм человеческой деятельности и стремление к возможно более общему и наиболее систематическому познанию. В своей современной форме эта традиция проявляется как отождествление философии с теорией знаков и с унификацией науки, то есть с наиболее общими и систематическими аспектами чистой и описательной семиотики»<sup>37</sup>.

Следует отметить, что представители семиотики провозглашают ее философскую нейтральность:

«Сама семиотика не принадлежит к какой-то отдельной философии и таковой по необходимости не создает. Наука

о знаках в одинаково малой степени говорит как в пользу «эмпирической» или «неэмпирической» философии, так и в пользу «натуральной» или «субнатуральной» религии. Сама по себе она никого не может принудить к тому, чтобы он верил только в научно проверенные утверждения и выражался только научно или чтобы свои оценки и принципы поведения высказывал, только опираясь на науку. Тем не менее семиотика окажет глубокое влияние на развитие философии, поскольку она занимается вопросами, особо важными для систематической философии... В этом смысле философия будущего будет иметь семиотическую ориентацию. Но характер этого влияния не будет оставаться тем же самым, а будет зависеть от роли, какая будет указана в отношении личности и общества научному познанию»<sup>38</sup>.

Это является истиной настолько, насколько рассуждения формального или классификационно-терминологического порядка (а этим прежде всего занимается семиотика) удастся связать с разными мировоззренческими системами. Другое дело, что Моррис нередко занимает намного более реалистическую и приближенную к материализму позицию, чем его коллеги по неопозитивистскому анализу языка. Можно здесь указать на параграфы, посвященные проблеме значения и универсалий в работе Морриса, помещенной в «International Encyclopedia». Еще яснее позиция эта выступает в связи с его анализом социальной стороны процесса семиоза.

Последний вопрос особенно интересен. Однако мы не станем здесь излагать взгляды Морриса на существо знака и семиоза, поскольку они будут предметом более подробного анализа во второй части работы, где процесс коммуникации между людьми и роль знака в этом процессе выдвинутся на первый план.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Имеются в виду прежде всего разделы, посвященные критике конвенционализма и неопозитивизма в моей работе «Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy», Warszawa, 1951, а также критика радикального конвенционализма, содержащаяся в брошюре «Poglady filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza», Warszawa, 1952.

<sup>2</sup> M. S c h l i c k, Die Wende der Philosophie, в «Erkenntnis», 1930—1931, t. I.

<sup>3</sup> R. C a r n a p, Die alte und die neue Logik, в «Erkenntnis», 1930—1931, t. I.

<sup>4</sup> R. Carnap, *The Logical Syntax of Language*, London, 1937, p. XIII.

<sup>5</sup> «Wissenschaftliche Weltanschauung». Der Wiener Kreis, Wien, 1929.

<sup>6</sup> Ср., например, Ph. Frank, *Modern Science and Its Philosophy*, Cambridge, 1950 (в особенности «Introduction: Historical Background»); R. von Mises, *Positivism. A Study in Human Understanding*, Cambridge, 1951; H. Reichenbach, *The Rise of Scientific Philosophy*, Univ. of California Press, 1956.

<sup>7</sup> Полагаю, что марксисты должны опровергнуть некоторые неточные или прямо ложные оценки неопозитивизма и неопозитивистов, сложившиеся в недавний период; они нанесли вред делу, оставив силу правильных аргументов, а отдельным людям нанесли неза заслуженную обиду.

Не подлежит сомнению, что между материалистической философией марксизма и субъективно-идеалистической философией существует принципиальная противоположность. Но от утверждения, что данный мыслитель является представителем ложной философии, до обвинения его в политическом обскурантизме и политической враждебности нет непосредственного логического перехода. Факт, что большинство членов Венского кружка были политически прогрессивными людьми, симпатизирующими делу рабочего класса. Карнап был известен как *der rote Professor*, а Нейрат считал себя близким к коммунистам.

<sup>8</sup> R. Carnap, *The Logical Syntax of Language*, p. 332.

<sup>9</sup> A. N. Whitehead and B. Russell, *Principia Mathematica*, vol. I, Cambridge, 1925, p. XVI и далее.

<sup>10</sup> Ср. в связи с этим воспоминания Ф. Франка в «*Modern Science and Its Philosophy*», p. 31 и далее.

<sup>11</sup> R. Carnap, *The Logical Syntax of Language*, p. 282—284.

<sup>12</sup> L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, London, 1933.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Помимо уже цитированных выше работ Франка и Мизеса, а также работы Рейхенбаха, я хотел бы назвать читателю следующие историко-информационные и критические работы, касающиеся интересующего нас вопроса: J. Jorgensen, *The Development of Logical Empiricism*, в «*International Encyclopedia of Unified Science*, vol. 2, № 9, Univ. of Chicago Press, 1951; W. Kraft, *Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus*, Wien, 1950; J. R. Weinberg, *An Examination of Logical Positivism*, London, 1936.

<sup>18</sup> R. Carnap, *Der logische Aufbau der Welt*, Berlin, 1928, S. 3.

<sup>19</sup> Там же, стр. 249.

<sup>20</sup> C. I. Hempel, *On the Logical Positivism, Theory of Truth*, в «*Analysis*», 1935, vol. 2, № 4.

<sup>21</sup> R. Carnap, *The Logical Syntax of Language*, p. 309.

<sup>22</sup> Там же, стр. 313.

<sup>23</sup> R. Carnap, *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*, в «*Erkenntnis*», 1931, t. 2, S. 220.

<sup>24</sup> B. Russell, *An Inquiry into Meaning and Truth*, London, 1951, p. 148—149 (курсив мой.—А. III.).

<sup>25</sup> E. Le Roy, Science et Philosophie, в «Revue de Métaphysique et de Morale», 1949, p. 529—530, 533.

<sup>26</sup> E. Le Roy, Un positivisme nouveau, в «Revue de Métaphysique et de Morale», 1901, p. 144.

<sup>27</sup> R. Carnap, The Logical Syntax of Language, p. 52, ср. также p. XV, 29.

<sup>28</sup> K. Ajdukiewicz, Das Weltbild und die Begriffsapparatur, в «Erkenntnis», 1934, t. 4. S. 259; ср. его же: «Naukowa perspektywa świata», в «Przegląd Filozoficzny», R. 37, 1934, z. 4; «Sprache und Sinn», в «Erkenntnis», 1934, t. 4; «Die wissenschaftliche Weltperspektive», в «Erkenntnis», 1935, t. 5; «W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych», в «Myśl Filozoficzna», 1953, № 2 (8).

<sup>29</sup> C. G. Hempel, Le probleme de la vérité, в «Theoria», 1937, vol. 3.

<sup>30</sup> Ср., в частности: R. Carnap, Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft, в «Erkenntnis», 1931, t. 2; «Psychologie in physikalischer Sprache», в «Erkenntnis», 1932—1933, t. 3; «The Logical Syntax of Language» (§ 82; «The Physical Language»); O. Neurath, Soziologie im Physikalismus, в «Erkenntnis», t. 2.

<sup>31</sup> R. Carnap, The Logical Syntax of Language, p. 320.

<sup>32</sup> Карнап утверждает, например, в статье «Psychologie in physikalischer Sprache»: «Ниже будет объяснен и обоснован тезис, что *всякое утверждение психологии может быть сформулировано на языке физики...* что все утверждения психологии говорят о физических явлениях, а именно о физическом поведении человека и других животных. Это частный тезис общего положения *физикализма*, что язык физики есть универсальный, то есть язык, на который можно перевести любое утверждение.

В другой статье, «Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft», Карнап обобщает свой тезис: «Наше понимание проблемы часто называли «позитивистским»; кто захочет, может его также назвать «материалистическим». Мы ничего не можем иметь против такого определения, если не упускать из виду разницы между ранним материализмом и методическим материализмом, как его логически очищенной формой». Однако несколько раньше он объяснял смысл своего «методического материализма» в явно конвенционалистском духе: «...Аналогичным образом можно определить тезис об универсальности языка физики как «методологический материализм». Путем добавления слова «методологический» подчеркивается, что речь идет о тезисах, которые говорят исключительно о логической возможности языковых преобразований и устранении производных преобразований, а не о какой-то «действительности» или «не-действительности» («существовании», «не-существовании») того, что «дано», что «психическое», что «физическое».

<sup>33</sup> M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre, Berlin, S. 271.

<sup>34</sup> R. Carnap, The Logical Syntax of Language, p. 320.

<sup>35</sup> Нейрат, цит. соч., стр. 403.

<sup>36</sup> Ch. W. Morris, Signs, Language and Behaviour, New York, 1946, p. 285 и далее.

<sup>37</sup> Ch. W. Morris, Foundations of the Theory of Signs, в «International Encyclopedia of Unified Science», vol. I, № 2, p. 58—59.

<sup>38</sup> Ch. W. Morris, Signs, Language and Behaviour, p. 238.

## Общая семантика

Начиная свое прекрасное изложение основ семантики в статье «Семантическая концепция истины и основания семантики», Альфред Тарский писал:

«Возможно, следует отметить, что семантика — в том значении, в каком это слово понимается в данной работе (а также более ранних работах нижеподписавшегося), — является дисциплиной трезвой и скромной, не претендующей на роль универсального лекарства от всех человеческих бед и немощи, воображаемых или действительных. Напрасно было бы искать в семантике рецепты против зубной боли, мании величия или классовых конфликтов. Семантика не является также средством доказательства того, что, кроме автора и его друзей, все остальные несут чушь»<sup>1</sup>.

Нетрудно догадаться, в чей адрес направлена эта едкая заметка в стиле: «Я не отвечаю за долги и поступки моего супруга», прочитав хотя бы следующий абзац из многократно цитированной в литературе, но у нас совершенно неизвестной книги Альфреда Кожибского:

«С помощью новых методов устраняют или смягчают разные семантогенные торможения: многие «эмоциональные расстройства», разные трудности в учебе, чтении или речи и т. д., равно как и общие неполадки в профессиональной или частной жизни. Такие трудности в большой мере являются результатом того, что «интеллект» используется не тем способом, который позволил бы вынести правильное суждение.

Хорошо известно, что многие психоматические симптомы, такие, как некоторые болезни сердца, пищеварительного тракта, дыхательных путей, половые расстройства, некоторые хронические болезни суставов, артрит,

болезни зубов, мигрени, кожные болезни, алкоголизм и т. д., имеют семантогенное происхождение, а следовательно, нейросемантическое и нейролингвистическое. В обучении общей семантике точка зрения медицины как таковая не принимается во внимание. Мы устраняем вредные семантогенные факторы, и в большинстве случаев вытекающие из них симптомы исчезают — при условии если обучающийся готов серьезно работать над собой»<sup>2</sup>.

Я знаю взгляды и духовный мир польских представителей семантики и поэтому могу представить себе испуг — да, это единственно правильное слово в данном случае — Альфреда Тарского после прочтения этого меню проблем, охваченных солидным названием «семантика».

Справедливости ради следует заметить, что Альфред Кожибский сам подчеркивал разницу между прежней семантикой и тем, что он понимает под семантикой.

«Существует принципиальное смещение понятий прежней «семантики», связанной с теорией *вербальных* «значений» и слов, дефинированных словами, с современной теорией «общей семантики», которая занимается исключительно *нейросемантическими* и *нейролингвистическими*, живыми реакциями Смита<sub>1</sub>, Смита<sub>2</sub> и т. д. как их реакциями на нейросемантическую и нейролингвистическую *среду как среду*»<sup>3</sup>.

Нельзя также не согласиться с мнением Анатоля Рапопорта, высказанным им в прекрасной с информационной точки зрения статье «Что такое семантика?»<sup>4</sup>, что существует обоснованное сопротивление как со стороны академических кругов, так и со стороны приверженцев Альфреда Кожибского против включения семантики и так называемой общей семантики Кожибского в одно и то же теоретическое направление. Во всяком случае, нельзя отождествлять семантику, связанную с логикой и теорией познания, с общей семантикой, которая в интерпретации своих крайних сторонников представлена как техника психотерапии.

В некоторых аспектах действительно существуют генетические связи между семантикой и общей семантикой. Однако они скорее формально-логического порядка и носят совершенно поверхностный характер. В действительности же дело идет не только об отличных друг от друга направлениях и взглядах, но часто о прямо противо-



положных, в особенности если принять во внимание позицию их защитников. Тем более неприятно это смешение понятий в марксистской философии, которое в этом смысле существует до сих пор и которого не заметил даже такой серьезный автор, как Морис Корнфорт, в своей книге «Наука против идеализма».

Не подлежит сомнению, что здесь сыграла роль погоня за легкостью в критике буржуазной идеологии. Легкость эта проявляется в тенденции к выхватыванию из критикуемых произведений ложных взглядов, забавных казусов и слабостей и к обходу того, что в них правильно и порождает мысль, но что не подходит под идейную схему «белое — черное». Таким образом можно препарировать любого противника, не говоря уже о человеке, представляющем сплетение столь странных и противоречивых взглядов, какие содержит в себе общая семантика. Какую пользу, однако, мы имеем от этой легкой победы над специально препарированным противником? По-моему, никакой. Ибо усиление нашего отрицательного отношения к критикуемым взглядам здесь лишь кажущееся. Невежество — плохой советчик в идеологических вопросах, а как превентивное средство против влияний чуждой идеологии оно может подвести в самый решающий момент. Зато потери, которые приходится нести в результате такого превентивного средства, очевидны и чувствительны. Теряется определенное количество полученных человечеством знаний и — что порой еще более важно — ценные стимулы к творческим раздумьям и творческой деятельности. Книги можно читать двумя способами. Можно их читать, выискивая только то, что в них глупо и плохо, выискивая «пищу» для критики — так читают люди, которые не могут пользоваться наукой. Но можно их читать и совершенно иначе: искать в них то, что ново, пробуждает мысль и двигает вперед, несмотря на ошибочные и ложные положения, которых у автора может быть много. Так читают люди, которые умеют пользоваться наукой. Если в научном произведении есть хотя бы одна новая и творческая мысль, побуждающая научную изобретательность, то ее нельзя терять, нельзя позволить, чтобы она утонула в море ошибок.

Бросая взгляд на вопросы *sub specie* этого требования, следует решительно отбросить нашу многолетнюю практику в области критики немарксистских взглядов в фило-

софии. Я об этом уже писал выше. Эти мысли напрашиваются, однако, снова и с еще большей силой, когда мы касаемся вопроса общей семантики. Это происходит потому, что именно в связи с этой тематикой с особой остротой всплывают все наши ошибки и недостатки в области критики.

В некоторых случаях характерной чертой этой критики является обычное *невежество*. Ведь только невежеством можно объяснить продолжающееся уже многие годы отождествление семантики с *общей* семантикой, отождествление взглядов Стюарта Чейза (являющегося, кстати, только популяризатором идей Кожибского) со взглядами, например, Карнапа или Тарского. Только невежеством можно также объяснить неспособность видеть *реальную* проблематику, которая кроется, несмотря ни на что, в общей семантике. Складывается впечатление, что, пожалуй, никто из тех, кто в нашей литературе писал о Кожибском, не читал его книгу внимательно. Я говорю так не для того, чтобы защищать ее. Напротив, я полагаю, что эта книга, помимо всех других недостатков, содержит в себе явные признаки монomanии, что она больна. Но критика ее в нашей литературе неправильна — она не вскрывает существенных ошибок, не видит в ней и реальных проблем. Ведь можно без труда показать, что «*Science and Sanity*» Кожибского — книга туманная, дилетантская, что она эклектически объединяет самые разнообразные идеи и бесцеремонно присваивает себе чужие мысли, что это книга, о которой справедливо говорили, что то, что в ней правильно, старо, а то, что в ней ново, неправильно. Но одновременно можно бы сказать, что в ней развиваются идеи Павлова, что она некоторыми своими концепциями близка идеям познавательного реализма и диалектике процесса познания. Утверждение, что она произведение, приближенное к марксизму, свидетельствовало бы о невежестве автора такого утверждения; но и то, что до сих пор говорили в нашей литературе об этой книге, свидетельствует о неменьшем невежестве. И это не говоря уже о работах некоторых авторов, принадлежащих к школе общей семантики, таких, например, как цитированные нами А. Рапопорт и С. И. Хаякава или Ирвинг Дж. Ли, Уэнделл Джонсон и другие.

Не подлежит сомнению, что общая семантика является направлением, весьма удаленным от нормальных стан-

дартов науки. Занимаясь этой странной мешаниной «поэзии и правды», нельзя забывать, что это образчик специфически американский, что это скорее секта, чем научная школа. Это ясно видят трезвые наблюдатели и даже наиболее трезвые из числа сторонников и жрецов общей семантики. Вот что пишет на эту тему в цитированной уже нами статье А. Рапопорт:

«Выдвигаемые против сторонников Кожибского обвинения о создании культа не лишены оснований. В Соединенных Штатах уйма «искателей истины». Многим из этих людей не хватает способностей к напряженным интеллектуальным усилиям, необходимым для плодотворного труда в науке, иным недостает навыков критического суждения, которые позволяли бы им видеть различия между истиной и ложью. Третьи не могут успокоиться до тех пор, пока не найдут панацеи, в которую они могли бы уверовать. Эти люди поддерживают «движения» и культы. Однако есть готовые выступить в пользу «Christian Science» или технократии, психоанализа или теософии, доктрины «великих дел» или дианетики. И столь же неизбежно некоторые из них оказались в рядах приверженцев общей семантики... Склонили ли их к этому в сущности общая семантика или другие факторы, нельзя установить без соответствующих исследований. Они являются апостолами веры, придавая этому «движению» черты культа»<sup>5</sup>.

Общая семантика — это значит также и секта, со всеми признаками сектантского движения и связанного с ним культа. Пусть это засвидетельствуют слова только что цитированного автора, внешне трезвого и реально мыслящего критика этой «секты». Рапопорт констатирует, что работа Кожибского туманна и дилетантична, что вопреки заверениям автора она отнюдь не является плодом эмпирических исследований. Вот как он излагает свои дальнейшие выводы:

«Если нельзя сказать о Кожибском, что он создал эмпирическую науку, то что же он в таком случае сделал? Он указал путь к созданию такой науки. Он был предшественником как раз начинающейся интеллектуальной революции, которая — есть признаки этого — будет не меньшей, чем революция Возрождения. Если мы посмотрим на Кожибского с этой стороны, то проблема его оригинальности или эрудиции перестанет быть важной.

Возможно, что он был в какой-то мере дилетантом. Может быть, делал вид, что у него больше специальных знаний, чем их было на самом деле. Возможно, что важные элементы его мировоззрения можно найти в работах более скромных и более старательных авторов. Не это важно. *Он был визионером и апостолом. Слишком мало таких людей в нашу эпоху специализации»*<sup>6</sup>.

И вот скончался человек науки, мыслящий рациональными категориями, и родился член секты! Весьма поучительное явление, если мы хотим понять, что такое общая семантика, если хотим открыть тайну ее общественных успехов в тридцатые годы, когда вместе с гитлеризмом появляется усиленный интерес к влиянию пропаганды на общественное мнение, к влиянию способов взаимопонимания людей на их установки и поступки. На этой волне в Америке делает быструю и большую карьеру концепция Кожибского. Я пишу здесь с полным сознанием именно о концепции Кожибского, ибо я четко отделяю позицию учителя от позиций по крайней мере некоторых его продолжателей. Я их не только ценю выше, но оцениваю в совершенно иных категориях. Их взгляды и деятельность подсказывают, что нельзя общую семантику трактовать исключительно в категориях блефа и колдовства, что, со всей резкостью критикуя ее, следует одновременно видеть и поддерживать содержащуюся в ней реальную проблематику.

Я попытаюсь сейчас по возможности более сжато проинформировать читателя о том, в чем состоят главные идеи концепции Кожибского.

Сам Кожибский, как мы читали выше, определяет общую семантику как науку о нейросемантических и нейролингвистических реакциях отдельных лиц на семантическую «среду». Рапорт определяет ее более ясно как науку о том, «как люди употребляют слова и как эти слова влияют на тех, кто их употребляет». Мы без труда найдем здесь часть семиотики, которую Моррис назвал прагматикой.

Для Кожибского общая семантика есть прежде всего техника психотерапии, как мы видели, почти со всеохватывающим объемом: от желудочной боли и порчи зубов до социальных конфликтов включительно. В этих своих стремлениях Кожибский руководствуется образцами, данными Фрейдом.

А вот теоретические основы, на которых он строит свои взгляды.

Исходным пунктом интересов и суждений Кожибского является общая антропологическая теория и теория культуры, что и было темой его первой работы<sup>8</sup>. Именно под этим углом зрения он поднимает вопрос о роли символов в общественной жизни человека. Точнее, проблему патологии знака.

К сожалению, излагая эти вопросы в краткой форме, мы придаем им значительно более рациональный и серьезный вид, чем это есть в действительности. Фактически концепция Кожибского представляет собой странную мешанину разных теорий из разнообразнейших областей знания. А основная мысль, которая проскальзывает в его рассуждениях, прямо-таки поразительна: все органические и социальные болезни семантогенны; «слушайте меня, и вы будете избавлены от них!»

Выслушать же следует очень простой рецепт: надлежит отвергнуть устаревшую аристотелевскую (двухвалентную) систему языка в пользу неаристотелевской (то есть системы, которая отвергает выступающий в традиционной логике принцип двухвалентности), и тотчас же исчезнет причина всяческого зла — семантическое торможение. Конечно, я несколько сгущаю краски, излагая эту основную идею Кожибского, но, право же, не слишком.

Проблему роли символа в общественной жизни Кожибский почерпнул в бихевиоризме и павловизме (Кожибский рассматривает свою теорию как расширение теории условных рефлексов Павлова). Фрейдизм же служит ему в качестве вдохновения для своеобразной концепции патологии символа. И здесь как раз проступает неаристотелевская теория системы языка и опирающаяся на нее техника психотерапии.

Эта концепция представляет собой теоретический вклад Кожибского. Однако следует констатировать, что вклад этот не оригинален. Мы легко сможем выписать метрику для каждого его составного элемента, хотя нередко первоначальные идеи целиком мистифицированы.

Начнем с общей концепции неаристотелевской системы языка. Речь идет о том, что существующая система языка, которую Кожибский называет аристотелевской (его более разумные сторонники, как, например, С. И. Хаякава, говорят о индоевропейской системе языка), якобы

навязывает двухвалентную систему оценок (например, «Ты—либо коммунист, либо некоммунист»), что должно вызывать какие-то нейротические заболевания. Неаристотелевская же система, которая якобы связана с современной наукой (Кожибский часто пользуется в своей аргументации такими словами, как «коллоидальный», «квантовый», употребляя их как попало), должна иметь бесчисленную шкалу оценок. Нить, идущая от Лукасевича и его теории многовалентных логик, очевидна. Но эта идея использована путем, не имеющим ничего общего с прообразом, и без каких бы то ни было обоснований нового использования.

Но дело здесь только начинается. Мы узнаем о дальнейших подробностях, касающихся неаристотелевской системы языка.

Прежде всего он накладывает запрет на употребление связки «есть» в значении тождества. «Слово не является вещью, им обозначаемой»,— говорит Кожибский. Дело в том, что на «невербальном уровне» мы можем только указывать на вещи, а когда говорим: «это есть стол», тогда мы как бы отождествляем слово с предметом, что становится источником серьезных семантогенных расстройств. Мы снова узнаем источник, из которого заимствована эта концепция: «невербальный уровень» исходит от неопозитивистов. У Кожибского это, однако, карикатура. В том виде, о каком он говорит, ни один нормальный человек не отождествляет вещи со словом, и лечение, состоящее в повторении: «это не есть стол»—или же в производстве соответствующих механических операций на вымышленном Кожибским «структурном дифференциаторе» смахивает на шаманский фокус<sup>9</sup>.

Другой принцип гласит, что «карта не есть территория». Речь идет о том, что знак не может претендовать на полное представительство. Аристотелевская система языка была якобы «элементалистичной», познание Аристотель разбивал на элементы, которые претендовали на полноту и абсолютность. А неаристотелевская система является «неэлементалистичной» и видит необходимость целостного понимания познания. Это мысль, явно выходящая за рамки гештальтпсихологии.

И, наконец, третий принцип подчеркивает «многорядность» (multiordinality) символа. Не только карта не есть территория, но и карта карты<sub>1</sub> не есть карта<sub>1</sub>. Иначе

говоря: язык, на котором мы говорим о другом языке, не является этим объектным языком. Надо, следовательно, различать иерархию языков и избегать многозначности, помещая слова в ясном контексте, чтобы было известно, на каком уровне абстракции мы находимся. Мы без труда видим здесь линию теории типов Рассела и связанной с ней концепции иерархии языков.

На этой теоретической базе Кожибский производит в своей книге анализ структуры языка, прослеживая с этой целью разные ступени от языка человека, умственно больного, до языка высшей математики. Его же целью является открытие техники психотерапии, позволяющей зафиксировать новую структуру языка и установить соответствующее его отношение к человеческому поведению. Это должно привести к повышению уровня общественного здоровья. Отсюда и название книги «Наука и здоровье» («Science and Sanity»).

Кожибский выдвигает также целый ряд конкретных предложений, которые должны модифицировать язык в направлении придания ему «неаристотелевской» структуры.

Во-первых, добавление индексов к общим именам, чтобы устранить мистифицирующий подход к классам предметов и подчеркнуть специфику и неповторимость индивидов. Согласно концепции Кожибского, если мы будем говорить не вообще «негр», а конкретно «негр<sub>1</sub>», «негр<sub>2</sub>» и т. д., то мы устраним причины такого социального явления, как расовая ненависть.

Во-вторых, добавление дат, чтобы различать разные фазы явления и устранять таким образом неправильные обобщения. То есть следовало бы говорить не вообще, например, «Адам Мицкевич», а «А. Мицкевич — сентябрь 1820 года», «А. Мицкевич — сентябрь 1921 года» и т. п.

В-третьих, добавление ко всем характеристикам слов «и т. д.» с целью напомнить, что «карта» не представляет совокупности «территории», или же, иначе говоря, мы не достигаем полноты познания (этим объясняется странное название центрального журнала школы общей семантики «ЕТС»\*).

---

\* Начальные буквы латинского выражения *et cetera* — «и так далее». — *Прим. перев.*

Наконец, Кожибский рекомендует употребление кавычек для обозначения того, что мы отходим от основного значения определенных слов.

В качестве технического средства Кожибский рекомендует упражнения на сконструированном им аппарате, называемом «структурным дифференциатором»; эти упражнения имеют задачей внушить пациенту прежде всего то, что слово не есть вещь, о которой он говорит, а во-вторых, что слова находятся на разных ступенях абстракции.

Разве наше краткое описание не подтверждает того, что то, что в теориях Кожибского истинно, старо и известно, а то, что ново, не истинно?

Я не высказываю своего мнения о терапевтической стороне «семантических» мероприятий. Психогенные расстройства, безусловно, составляют очень важную область медицины, и я не исключаю, что в таких случаях кому-нибудь может помочь тыканье пальцами в соответствующие дырки «структурного дифференциатора». Но это уже совершенно другой вопрос.

Так, вполне возможно, что общая семантика Кожибского — это просто невероятный вздор, который можно выбросить на помойку. Может быть, это *только* сознательная идеалистическая мистификация, продиктованная классовыми целями, как это вытекало из многих марксистских публикаций? Я отнюдь не придерживаюсь этого мнения.

При всей странности и прямо-таки, как мне кажется, маниакальности концепции Кожибского в ней есть, однако, что-то такое, мимо чего нельзя пройти просто так. Возможно, это исходит от заимствований, которых у Кожибского хоть отбавляй. Но именно это «что-то» сделало возможным создание влиятельной школы общей семантики, к которой примыкают не только любители сектантских движений, но и люди, имеющие какой-то вес в науке, в особенности в лингвистике. Именно это «что-то» заставило некоторых крупных философов (Бронислава Малиновского, П. Бриджмена, Бертрана Рассела и др.) помещать в конце произведения Кожибского положительный отзыв о его идеях и хвалебную оценку его работы. Хотелось бы обратить внимание любителей легких путей в критике, что с *философской* точки зрения Кожибский не всегда представляет собой легкий орешек именно для марксистского критика.



Не подлежит сомнению, что вся его концепция перенасыщена какой-то абсолютизацией языковой функции. Особенно остро это выступает в социальных проблемах, которые Кожибский тоже хотел бы свести к семантогенным пертурбациям. Совершенно всерьез он пытается трактовать, например, проблему коммунизма и фашизма в категориях нейросемантических реакций на определенные сигналы<sup>10</sup>. Эту традицию, которая по вполне понятным причинам попала под особый обстрел марксистской критики, продолжил затем Стюарт Чейз в своей книге «Тирания слов» («The Tyranny of Words»)<sup>11</sup>. Но вместе с тем мы находим именно у Кожибского понимание того факта, что язык только тогда правильно исполняет свои функции, когда он отражает действительность. Мысль эта была ведущей для Кожибского в вопросе изменения структуры языка, и именно эту мысль продолжают его сторонники (например, Стюарт Чейз, Ирвин Дж. Ли, С. И. Хаякава, Уэнделл Джонсон). Вот что пишет по этому вопросу Кожибский:

«Поскольку слова не являются вещами, которые они означают, *структура и только структура* становится единственной связью, соединяющей наши словесные процессы с эмпирическими данными. В целях достижения хорошей приспособляемости и психического здоровья, а также зависимых от этого состояний мы должны исследовать *сначала* структуральные черты мира и только потом строить языки с подобной структурой, вместо того чтобы по привычке приписывать миру примитивную структуру нашего языка... Помимо этого, каждый язык, располагая структурой, по самой своей природе отражает в ней такую структуру мира, какую приписывают ему те, кто развил этот язык. Иными словами, мы бессознательно придаем миру структуру языка, которым мы пользуемся. Угадыванием и приписыванием миру воображаемой, преимущественно примитивной, принятой заранее структуры занимаются именно «философия» и «метафизика». Наука же состоит в эмпирическом исследовании структуры мира и построении новых языков (теорий) с необходимой, или подобной, структурой. Каждый, кто задумается над этими частными структурными свойствами языка, поймет семантический принцип, что научный метод заключается в применении единственно правильного языкового метода. Метод этот развивается *согласно есте-*

ственной порядку, в то время как метафизика всех мастей использует обратный порядок, то есть в конечном счете патологический»<sup>12</sup>.

Спрашивается, правильны ли эти мысли? Лично я считаю их не только правильными (способ их подачи — вопрос второстепенный), но даже важными с точки зрения критики идеализма, критики семантической философии. То есть это нечто такое, что не помещается в рамках шаблонных схем и принятых на этот счет формул. Тем более что у Кожибского это не какая-то случайная идея, а идея, которой он посвящает много десятков страниц и которую кладет в основу своей концепции. К тому же идею эту подхватывают и развивают продолжатели Кожибского из школы общей семантики. Послушаем, например, такого автора, как Уэнделл Джонсон:

«Ключевым вопросом, который следует решить при работе над проблемами применения языка, является отношение между языком и действительностью, между словами и не-словами. Если мы не поймем этого отношения, появится серьезная опасность, состоящая в том, что мы нарушим деликатную связь между словами и фактами, что мы позволим употребляемым нами словам утратить свою значимость и тем самым будем для себя же производить продукт фантазии и иллюзии»<sup>13</sup>.

И даже Стюарт Чейз, явно настроивший себя на то, что он пишет «бестселлер», говорит то же самое:

«Семантическая дисциплина вытесняет духов из образа и создает новый образ, образ, максимально приближенный к действительности. Мы перестаем быть догматичными, болезненно чувствительными, скороспешными в дискуссии над тем, что считаем правильным и неправильным; мы становимся покорными и осторожными и отдаем себе отчет в том, что очень многих вещей не знаем. Наша новая карта может быть ошибочной, мы можем ошибаться в наших суждениях, но вероятность, что суждения эти правильны, теперь намного больше, ибо мы больше опираемся на явления внешнего мира, чем на их отблески в наших мозгах»<sup>14</sup>.

«Хороший язык сам по себе не спасет человечества. Но если мы будем видеть за именами вещи, это поможет нам в понимании структуры мира, в котором мы живем. Хороший язык поможет нам понимать друг друга в беседах о реальных вещах нашего окружения, тогда как

теперь мы говорим туманно, на чужих друг другу языках»<sup>15</sup>.

Давайте же будем рассудительными! Оказывается, эти люди понимают некоторые вещи, которых не могли понять неопозитивисты или радикальные конвенционалисты. Это нельзя сбрасывать со счетов, и это как раз разбивает оценки по схеме «белое—черное».

А как же быть с тем, что Кожибский, высказываясь против статичной в пользу процессуальной концепции действительности, приближается временами к хорошо нам известной аргументации по крайней мере некоторых сторонников диалектики? И это снова вовсе не случайно. Отвергая «аристотелевскую» структуру языка, Кожибский выступает одновременно против традиционного понимания так называемых «законов мышления» и пишет следующее:

«Нельзя в одной книге произвести ревизию этой «логики» и сформулировать  $A_{\infty}$ -валентную *неэлементалистскую* семантику (неаристотелеву семантику с бесконечной валентностью. — А. III.), подобную по своей конструкции внешнему миру и нашей нервной системе. И здесь вместе с тем следует напомнить, что «закон тождества» никогда не действует в отношении процессов. «Закон исключенного третьего» или «исключенной третьей возможности», как его иногда называют, закон, который придает «логике» А (аристотелевой. — А. III.) двухвалентный характер, устанавливает в качестве общего принципа то, что составляет предельный случай, следовательно, *в качестве общего принципа* не может быть удовлетворительным»<sup>16</sup>.

Но самое худшее еще впереди. Кожибский ссылается *expressis verbis* на родство с павловизмом, и, по-моему, он в известном смысле прав. Я был даже склонен полагать, что Кожибский сформулировал свои идеи под влиянием павловизма. Сам же Кожибский говорит о конгенитальности с Павловым и утверждает, что познакомился с идеями Павлова после формулирования своей аристотелевской системы<sup>17</sup>.

«Моя лингвистическая структуральная, *неэлементалистическая, теоретическая ревизия* ведет к новому и значительному расширению возможностей применения к человеку *опытной* теории «условных» рефлексов Павлова. Факт, что эти независимые друг от друга открытия под-

держивают и подтверждают друг друга, является ярчайшим примером эффективности теоретических исследований»<sup>18</sup>.

Я не знаю, известна ли была Кожибскому павловская теория о второй сигнальной системе, но то, что он пишет, например, на стр. 331—332, даже терминологией напоминает эту теорию. Если бы это действительно была конгениальность, то это был бы факт весьма поразительный. И даже если бы Кожибский писал под влиянием Павлова, все равно проблема остается очень сложной. Ведь концепция семантогенных расстройств в человеческом поведении прекрасно подходит к теории условных рефлексов, а тем более к теории второй сигнальной системы. Ведь именно от Павлова исходит объяснение неврозов механизмом конфликта возбуждения и торможения. В действие вступают не только сигналы, вызывающие условные рефлексы, но и сигналы сигналов, то есть слова. Отбросим странную форму патологии знаков у Кожибского, и останется реальная проблема семантогенных расстройств. Более того, здесь дело не только в психиатрии. Существует, помимо того, проблема, сформулированная, как мы уже писали, А. Рапопортом следующим образом: «Как люди употребляют слова, так и слова влияют на тех, которые их употребляют» (С. И. Хаякава пишет еще более «рекламно» на суперобложке своей книги: «Как люди употребляют слова, так и слова употребляют людей»). Концепция Кожибского содержит поэтому реальную и многостороннюю научную проблематику.

Это относится в еще большей степени к некоторым продолжателям Кожибского из школы общей семантики.

Их несомненно рациональная идея представляет собой программу *прагматического* изучения языка, то есть исследования языка в аспекте *производителей* языковых знаков. Рапопорт характеризует эту проблему следующим образом: грамматика изучает отношения между словами, логика — отношения между суждениями, семантика — отношение слов и суждений к их предметам (*referents*) и на этой основе производит высказывания о их значении и истине, общая же семантика идет далее, поскольку она исследует сверх того влияние слов и суждений на человеческое поведение:

«Для сторонника общей семантики взаимопонимание — это не только слова в соответствующей последователь-

ности и в правильной форме (как для грамматиста), или суждения, находящиеся в правильном отношении друг к другу (как для логика), или же суждения, находящиеся в правильном отношении к предмету (как для семантика), но все вместе составляет цепь: «факт — нервная система — язык — нервная система — действие»<sup>19</sup>.

Здесь видно явное влияние прагматизма, воздействующего прежде всего через посредство семиотики. Несомненно, не без причины общая семантика возникла именно на родине прагматизма. Это та же линия влияний, которая выступает в семиотике Морриса, хотя научная программа иная, значительно более широкая и выходящая за пределы общей теории знака.

Общая семантика в своем рациональном варианте ссылается на повышенный интерес к «нейролингвистическим» факторам человеческого поведения со стороны таких научных дисциплин, как психология, психиатрия, а прежде всего этнология и культура (это не совсем точный эквивалент того, что в США называют *cultural anthropology*). Именно эти дисциплины, заявляют сторонники общей семантики, дают доказательства того, что человеческий опыт состоит в отборе стимулов, идущих от окружающей нас среды, а человеческое поведение — в организации опыта в соответствии с определенными образцами. Оба эти действия остаются в определенной зависимости от языка, его структуры и языковой практики. Отсюда вытекает значение конкретных исследований над языком и программа этих исследований.

Этим исследованиям, независимо от нашего отношения к тому или иному обоснованию программы, нельзя не придавать значения. Вот их краткое перечисление.

Прежде всего речь идет о проблемах взаимопонимания людей (коммуникации). Ведь мы помним, что первичный успех общей семантике обеспечили интересы, связанные с быстрым ростом гитлеризма в тридцатые годы. В рамках этих интересов были сделаны попытки интерпретации общественных конфликтов в категориях семантических пертурбаций. Начало этому течению дал Кожибский, его последователями были Стюарт Чейз, С. И. Хаякава, Уэнделл Джонсон и другие. Следует открыто сказать, что уже в 1949 году С. И. Хаякава заявляет во введении к новому изданию своей книги «Язык в мысли и действии» («*Language in Thought and Action*») о крахе этих начи-

наний, которые правильно были определены марксистами как целиком враждебные. Остались, однако, другие интересы, более скромные по своим претензиям, но весьма важные для практики: условия ведения дискуссий, условия трудности и легкости во взаимной коммуникации людей и т. п. Именно с этой проблематикой связана богатая литература, опирающаяся на посыпки общей семантики, а в особенности с проблемой влияния языка на правильное мышление и на человеческую практику в общественном и индивидуальном аспекте. Особым типом этих интересов являются проблемы воспитания и психиатрии, причем Кожибский первоначально заинтересовался патологией языковых знаков.

С этой скорее практической проблемой связаны теоретические проблемы общей семантики, такие, как роль символа и знака, отношение языка к мышлению, а также разнообразнейшие вопросы, которые я назвал бы прикладной семантикой относительно неопределенности и многозначности языковых выражений.

Наконец, общая семантика занимается проблемами влияния языка на формирование культуры в смысле *cultural anthropology*. Приобретают важность сравнительные исследования из области культуры в ее связи с развитием языка. В качестве примера может служить работа Б. Малиновского «Проблема значения в примитивном языке» («The Problem of Meaning in Primitive Language»), а также исследование Б. Л. Уорфа языка индейцев хопи: «The Relation of Habitual Thought und Behavior to Language».

Следует вспомнить, что круг интересов общей семантики значительно шире. Я говорю не об экстравагантностях типа «семантика и дентистика», а о более умеренных претензиях в роде влияния на литературу, искусство, претензиях на родственные связи с кибернетикой и т. п. Это вещи более чем спорные. Поэтому я остановился только на тех проблемах, которые действительно изучаются школой семантики, содержат *реальные* научные вопросы и находят отражение в соответствующей литературе<sup>20</sup>. Их достаточно много, и к тому же они не без значения. Во всяком случае — и это я повторяю еще раз — нельзя пройти мимо них, не замечая их, нельзя и не должно их просто отбросить. Следует согласиться с Максом Блэком, который в цитированной уже нами работе о се-

мантике Кожибского приходит к выводу, что теоретические основы общей семантики логически ошибочны, но одновременно он утверждает: «История науки дает ряд примеров, когда туманные теоретические системы вызывали полезные и интересные следствия»<sup>21</sup>. Добавим от себя: когда они выдвигали *реальные* научные проблемы.

Является ли проблематика общей семантики философской? Это уже совершенно иной вопрос. Ее сторонники, безусловно, не считают себя философами. И действительно, они прежде всего социальные техники, а то, что они делают в теории, намного дальше от проблем философии *sensu stricto*, чем проблематика семантики, связанная с логикой и теорией познания. Тем не менее общая семантика имеет определенные философские импликации. Безусловно, в ней содержатся и идеалистические импликации, о которых во весь голос говорится в марксистской критике. Но есть и импликации другого рода, которые эта критика замалчивает, ибо они нарушают схему и замутняют образ «чистого» идеализма. Замалчивание не нужно и наверняка вредно, так как все, что искажает истину, вредно. Тем более что обвинение это можно выдвинуть не только в адрес прежних публикаций, подобных известным работам Б. Быховского или Корнфорта, но и в адрес публикаций последнего периода<sup>22</sup>.

Замалчивание вредно еще и потому, что оно подрывает вопреки намерениям авторов престиж марксизма. Не знаю, известен ли факт, что статья «Семантическая философия» из «Краткого философского словаря» (под редакцией Розенталя и Юдина, Москва, 1951 год) была без комментариев перепечатана в конце цитированного нами сборника «Language, Meaning and Maturity». Таким образом, критический разбор семантики разделил судьбу ряда других статей «Краткого философского словаря», которые были перепечатаны без комментариев и отдельно изданы антикоммунистическим журналом «Preuves». Что это значит? Это значит, что идеологические противники считают высказывания, которые должны были бы служить «уничтожающей» критикой идеалистической идеологии, самой лучшей контрпропагандой, самым лучшим оружием против марксизма и коммунизма. Разве можно найти более резкое осуждение таких форм идеологической критики?

Итак, мы завершили первую часть работы. Она дала нам в результате не только информацию того, что означает «семантика» и каков предмет ее исследования в разных областях, но сверх того, безусловно, позволила устранить ряд недоразумений и ошибочных оценок, которые накопились в марксистской литературе, чаще всего вследствие недостаточного знания предмета. Она дала нам также обзор богатой проблематики, большей частью полностью не тронутой марксистской критикой и марксистским анализом. Некоторые проблемы из области семантической проблематики, в особенности связанные с теорией коммуникации, знаком и значением, мы разберем в последующих главах.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> A. T a r s k i, *The Semantics Conception of Truth*; перепечатано в L. L i n s k i (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language*, Urbana, 1952, p. 17.

<sup>2</sup> A. K o r z y b s k i, *Science and Sanity*. Lancaster (Rens), 1941, p. VII.

<sup>3</sup> Там же, стр. X.

<sup>4</sup> Для ознакомления со взглядами общей семантики книга А. Кожибского не совсем подходит. Она поразительно туманная и дилетантская, да к тому же слишком большая (почти 800 страниц). Вместо нее я рекомендую три замечательные с этой точки зрения статьи в сборнике «*Language, Meaning and Maturity*» (New York, 1954), который содержит избранные работы, взятые в основном из журнала «ЕТС», за 1943—1953 годы. Я имею в виду упомянутую работу Анатоля Рапопорта «*What is Semantics?*» и две работы С. И. Хаякавы «*Semantics, General Semantics and Related Disciplines*», а также «*What is Meant by Aristotelian Structure of Language?*»

<sup>5</sup> A. R a p o r t, *What is Semantics?*, p. 6.

<sup>6</sup> Там же, стр. 17 (курсив мой.—А. Ш.).

<sup>7</sup> Там же, стр. 4.

<sup>8</sup> A. K o r z y b s k i, *Manhood of Humanity*, New York, 1921.

<sup>9</sup> Убедительную критику этих взглядов дал Макс Блэк в статье «*Korzybski's General Semantics*», входящей в состав его книги «*Language and Philosophy*» (New York, 1949).

<sup>10</sup> A. K o r z y b s k i, *Science and Sanity*, p. XXIII—XXIV.

<sup>11</sup> Нью-Йорк, 1938. Стюарт Чейз повторяет эту идею в новой работе под названием «*The Power of Words*» (New York, 1954).

<sup>12</sup> A. K o r z y b s k i, *Science and Sanity*, p. 59—60.

<sup>13</sup> W. J o h n s o n, *People in Quandaries*, New York, 1946, p. 113.

<sup>14</sup> S t. C h a s e, *The Tyranny of Words*, p. 206.

<sup>15</sup> Там же, стр. 361.

<sup>16</sup> A. K o r z y b s k i, *Science and Sanity*, p. 405.



<sup>17</sup> Там же, стр. 315—316.

<sup>18</sup> Там же, стр. 326.

<sup>19</sup> A. R a p o r t, What is Semantics?, p. 14.

<sup>20</sup> Поскольку литература эта у нас совершенно не известна и, я бы сказал, ею пренебрегают, приведу некоторую информацию, которая может помочь лицам, желающим подробнее ознакомиться с предметом.

Большое число работ из разных областей и разной ценности можно найти в номерах журнала «ЕТС», выходящего с 1943 года. Сборник статей из «ЕТС» за период с 1943 по 1953 год вышел, как мы уже говорили, в виде книги под заголовком «Language, Meaning and Maturity».

Серия монографий вышла в издании «International Non-Aristotelian Library». Как среди этих монографий, так и среди работ, опубликованных в других издательствах, я хотел бы здесь указать на следующие труды: S t. C h a s e, The Tyranny of Words, а также The Power of Words; R. W e i l, The Art of Practical Thinking, New York, 1940; H. W a l p o l e, Semantics, New York, 1941; S. J. H a u a k a w a, Language in Thought and Action, New York, 1949; J. Y. L e e, Language Habits in Human Affairs, New York, 1952; W. J o h n s o n, People in Quandaries; A. R a p o r t, Science and the Goals of Man. A Study in Semantic Orientation, New York, 1953; K. S. K e y e s, jr, How to Develop Your Thinking Ability, New York, 1950.

<sup>21</sup> Б л э к, цит. соч., стр. 246.

<sup>22</sup> Я имею в виду, например, работу Брутяна Г. А. «Идеалистическая сущность семантической философии» в сборнике «Современный субъективный идеализм», Госполитиздат, 1957.

ЧАСТЬ II

**Некоторые категории  
семантики**

# Философский аспект процесса взаимопонимания

Общественную роль и общественную силу языка люди представляли себе до некоторой степени и в донаучных размышлениях над действительностью. Лукиан Самосский повествует, что галлы представляли Геркулеса — символ силы — в виде старого человека, который тянет за собой людей, привязанных золотыми цепями за уши к его языку. Люди эти, пишет Лукиан, охотно и радостно идут за своим повелителем, хотя они легко могли бы освободиться. Этот необычный образ можно объяснить убеждением галлов, что физическая сила — ничто по сравнению с могуществом слова. А цепи, которые привязывали людей к языку Геркулеса, — это слова, идущие из его уст к их умам<sup>1</sup>.

Проблемы эти не раз поднимались в литературе, главным образом философской: и в древней, особенно у греков, и в новой, особенно английской. Но научному анализу эта проблема общественной роли языка, а особенно проблема философской значимости языка подверглась лишь в новейшую эпоху. В XX веке проблема языка становится доминирующей философской проблемой.

Отсюда возникают и трудности для того, кто решит дать марксистский анализ этой проблемы, трудности различного порядка.

Во-первых, огромная литература. Лишь в новейшее время исписано море чернил на эту тему.

Во-вторых, большая проблематика. Проблема общественной роли и общественного значения языка (проблема роли языка в науке и философии — это только частица данного более широкого вопроса) настолько широка, что об изложении всей проблематики в одной работе не может быть и речи. Надо, значит, выбирать — но что выбрать?

К этому добавляется трудность, вытекающая из многолетнего игнорирования марксистской литературой этой проблематики, которая тем самым часто отдается на откуп явно идеалистическим концепциям. Марксист, который берется за названные проблемы и по логике вещей вступает в полемику с некоторыми авторами прежних способов их решения, находится как бы в положении пионера нового направления научных исследований. Тем более осторожным и более ограниченным должен быть выбор проблематики. По крайней мере вначале.

При таком положении дел мне представляется правильным, чтобы выбор пал на центральные проблемы, решение которых составит исходный пункт для дальнейших, детальных исследований. Представляется также правильным начать скорее с *наметки* проблем и начертания *программы* исследований, нежели с попыток окончательного их решения, ибо полное решение этой проблематики требует опять же предварительных частных исследований.

Именно такова диалектика всякого развернутого исследования: следует выдвинуть и развить в общих чертах основные проблемы, чтобы потом положительно работать над частными проблемами без опасения теоретического и методологического блуждания в лесу деталей; но одновременно углубление частных является необходимым условием правильного решения основных проблем, которые в противном случае попадают в плен общей фразы и вербализма.

Какую же из проблем следовало бы здесь квалифицировать как центральную? С чего должна быть начата попытка марксистского анализа?

Огромной заслугой логической семантики было то, что она сделала очевидной большую философскую важность проблематики языка. При этом был сделан ряд ошибок: из проблемы языка, которая является *одной* из центральных проблем современной философии, была сделана — как мы уже многократно упоминали — главная проблема и даже *исключительная*; кроме того, эту проблему свели к формальным вопросам, прежде всего к синтаксическим вопросам; анализ был замкнут в рамках искусственных языков с целью удовлетворения потребностей дедукции. Здесь я говорю, очевидно, о ситуации, сложившейся в тридцатые годы.

Конечно, каждой области науки вольно анализировать свой научный объект с частной точки зрения. Это даже необходимо при прогрессирующей специализации наук и не влечет за собой отрицательных последствий при условии, что подчеркивается *сознательное* ограничение поля зрения. Ошибка логической семантики состоит в том, что из этой необходимости делают добродетель, более того, свою ограниченную точку зрения превращают в абсолют. Логики, занимающиеся семантикой, растеряли почти всю социологическую и гносеологическую проблематику языка, которая имеет решающее значение именно для философии. К этому присоединяется еще непригодность такого ограниченного подхода к анализу естественных языков. И это отнюдь не случайно. Ограничения логической семантики проистекали из *философски* ограниченного исходного пункта ее создателей — как сторонников аналитической философии, так и логического эмпиризма. Попытки преодоления этих ограничений предпринимались уже в довоенный период, хотя действительно широкий размах они приняли лишь после войны. Возникает общая теория знака — семиотика, которая, хотя и родилась от брака неопозитивизма с прагматизмом, тем не менее выходит за узкоформальную трактовку языка неопозитивизмом. Еще дальше идет исходящая из прагматизма тенденция общей семантики к анализу социального влияния и социального могущества языка. Одновременно обнаруживается кризис основ аналитической философии<sup>2</sup>, а также раздаются критические голоса в адрес таких формальных анализов, которые непригодны для исследования естественных языков<sup>3</sup>. Логическая семантика и ее методы, кроме того, подвергаются суровой критике со стороны лингвистов, которые атакуют чисто формальный, а тем самым аисторический и асоциальный анализ языковых явлений.

Несмотря на все достижения и успехи, ограниченный характер логической семантики выступает весьма ярко. Отчетливо выступают также и новые научные потребности: потребности отказа от узкого формализма и требования учета социального аспекта проблемы, отброса идеалистической метафизики (которая связывалась с логическим атомизмом и логическим эмпиризмом, включая в себя элементы платонизма, с одной стороны, и эпистемологического солипсизма — с другой) и перехода

на философские позиции, делающие возможным глубокий анализ отношения языка к мышлению и действительности (позиция семантики Тарского, принятая неопозитивистским лагерем, не решает этой проблемы хотя бы по причине декларированной самим Тарским философской «нейтральности» его концепции, то есть нейтральности по отношению к вопросу, что такое предмет, выступающий как противочлен знака).

Отнюдь не является случайностью, что трудности продолжают довольно долго, а устранение их все еще является только постулатом, что критика возникает даже в собственном лагере семантиков, что явно усиливаются новые тенденции. Дело в том, что в основе кризиса лежит порочность философских принципов традиционного семантического направления. И как раз в этом видна большая теоретическая роль марксистской философии. Органически соединяя в единое целое гносеологическую проблематику с социологией и материализм, в его теоретической интерпретации, с историзмом в методологии, марксистская философия как бы создана для преодоления этих трудностей и того кризиса, который в настоящее время наступил в семантике (в широком смысле этого термина).

Если мы зададимся вопросом, какова центральная теоретическая задача, разрешением которой следовало бы с этой точки зрения прежде всего заняться, то ответ должен был бы быть следующим: проблемой этой несомненно является *теория коммуникации*<sup>4</sup>.

В рамках семантической проблематики существуют, безусловно, такие частные вопросы, которые непосредственно не увязываются с философским мировоззрением. Типичным примером являются разные частные проблемы логического синтаксиса. Я далек от отрицания научной ценности этой проблематики. Однако когда мы выйдем за пределы чисто технической сферы, сразу же встает большой вопрос, от решения которого зависит то или иное решение всего комплекса проблем, именуемых обычно семантическими. Вопрос этот звучит так: что такое процесс взаимной коммуникации людей (процесс, важнейшей составной частью которого является взаимопонимание людей посредством звукового языка) и каковы условия этого процесса?

Итак, возьмем пресловутого быка за рога и начнем рассуждения именно с этой проблемы.

## 1. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ

В двадцатые годы Огден и Ричардс, авторы, которые много потрудились на ниве развития семантики, так нарисовали программу теории коммуникации:

«Еще в одном отношении никто из этих специалистов не может понять недостатков современных языковедческих теорий. Занятые исключительно тем, что их касается: этнологи — выписыванием подробностей, касающихся языков, которые быстро исчезают; филологи — сложными техническими проблемами фонетических законов, а также принципов этимологии; философы — «философией», — они не замечают острой необходимости лучшего взаимопонимания в отношении того, о чем, собственно, идет речь в дискуссии. Анализ коммуникативного процесса имеет частично психологический характер, а психология достигла уже такой ступени развития, на которой она с успехом может взяться за эту задачу. До сих пор теория знака по необходимости оставалась в стороне, но теперь никто не найдет себе оправдания, если будет изъясняться словами с неясным значением или не будет понимать, каким образом эти слова его подводят»<sup>5</sup>.

В чем, однако, состоит проблема коммуникации?

Часто бывает так, что философская проблема начинается там, где она окончилась для здравого рассудка. Именно там, где рассудок подходит к пределу проблемы, установив, что люди, разговаривая, передают друг другу разного рода информации и в этом смысле общаются между собой, философ начинает ставить вопросы: «А как? А почему? А что это означает?» Он это делает часто способом, причиняющим ущерб его доброй славе и имени «философ», позволяющим дилетанту злословить по этому поводу. Нельзя поэтому не выразить признательности поэту, который, высмеивая философскую *спекуляцию*, встает на защиту здравого рассудка. Лояльность профессионального философа принуждает привести остроумное стихотворение Эриха Вейнерта «Конгресс философов»:

Союз философов созвать  
Конгресс постановил,  
И собралась философов семья,  
Чтобы проникнуть,  
Не щадя ни времени, ни сил,  
В мир внутренний причины бытия.

Пытались мудрецы  
И днем и ночью  
Ключами, фомками,  
Отмычками и прочим  
Дверь некую открыть.  
На двери той висел  
Знак вопросительный,  
Огромный, мрачный  
(Символизируя философов удел).  
Но все попытки были неудачны.  
И следствием  
Был вывод непреложный,  
Что снабжена дверь  
Механизмом очень сложным.  
Ученые мужи заспорили теперь:  
«Как... если бы...  
Взглянув на сей предмет...»  
Но вдруг бесшумно распахнулась дверь,  
И вышел человек.  
Он скромно был одет —  
Без шапки докторской,  
Без мантии, регалий.  
Философы к нему:  
«Скажите, где достали  
Вы ключ от двери сей?»  
Он удивленно им в ответ:  
«На ручку надобно пажать —  
Вот вам и весь секрет.  
Мне даже в голову  
Не приходило, братцы,  
Что эта дверца  
Может заператься.»  
Философы пожали лишь плечами:  
«Смешно! Невежество какое перед нами!»

*(Перевод Д. Аркадьева)*

Бывает ли так? Ну, конечно! Мы сейчас покажем это на примере. Однако разве можно прервать такой «здраворассудочной» аргументацией наши рассуждения! Отнюдь нет. Уже Энгельс сказал, что так называемый здравый рассудок прекрасно подходит к повседневному обиходу, но что с ним начинают происходить странные вещи, когда



он выходит на большие воды научных, философских исканий и т. п.

Взаимопонимание людей содержит в себе серьезную философскую проблему, хотя это и странно для здравого рассудка.

Что может быть более простым для нас в повседневной жизни, как не установление такого факта: когда мы говорим лицу, с которым мы работаем: «подай мне топор» или же «поддержи столб», то лицо это, слыша наши слова, делает то, что мы требуем. Вещь эта столь проста и очевидна, что если бы ожидаемое нами поведение в ответ на наши слова *не* последовало, то мы считали бы это чем-то необычным и искали бы причины такого положения вещей. Именно факт, что наше раздумье вызывается только нарушением процесса коммуникации, свидетельствует о том, насколько нормальным и обычным является для нас этот процесс. Тем не менее именно в *этом* заключается философская и социологическая проблема огромной важности: как осуществляется взаимопонимание людей? Лишь на фоне этой проблемы мы видим в правильном свете и надлежащим образом понимаемыми такие традиционные, я бы сказал, уже классические для семантики проблемы, как проблема знака, символа, значения, языка и речи, а также связанная с этим философская, точнее, гносеологическая проблематика. Понятно, что можно заниматься проблемами логических антиномий, теорией типов и логическими исчислениями, не беспокоясь об их более широких философских аспектах. Но только до определенного момента. Ведь нельзя замыкаться всегда в узкотехническом аспекте этих явлений, не перешагивая близлежащей границы, за которой нас уже подстерегает философская проблема. От нее не уберется ни логик, ни лингвист, если он хочет заняться теоретическим аспектом языка как предмета своих исследований. Рано или поздно ему придется сделать это, и он станет *volens nolens* философом.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о споре, касающемся предпосылок, условий процесса коммуникации, о споре, который идет между двумя главными в этом плане концепциями: *трансцендентальной*, с одной стороны, и натуралистической — с другой. Мы займемся им в ходе дальнейших рассуждений и, чтобы представить вопрос конкретно и ясно, возьмем, помимо Урбана<sup>6</sup>,

в качестве протагонистов Ясперса<sup>7</sup>, представителя трансцендентальной концепции, и Дьюи<sup>8</sup> — представителя натуралистической концепции. Изложению их позиций предпошлем необходимые общие замечания.

\* \* \*

Проблема коммуникации, безусловно, относится к числу основных проблем философии. Достаточно сказать, что коммуникативность — это одна из существенных черт, входящих в состав понятия науки, *научного* познания, ибо без коммуникативности невозможна интерсубъективная проверка. Более того, коммуникация представляется неотъемлемым моментом всех процессов, связанных с познанием: даже беззвучное мышление, монолог есть своеобразный акт коммуникации (в широком смысле). Не удивительно поэтому, что философия не может пройти мимо этой проблемы, если она желает разумно заниматься теорией познания.

Далее, уже не только очевидно, но и просто тривиально утверждение, что явление коммуникации относится к основным явлениям общественной жизни. Без общения людей между собой, без *возможности* взаимопонимания общественная жизнь была бы невозможной, невозможен был бы в особенности лежащий в основе общественной жизни трудовой процесс. Понятно, что проблема коммуникации представляет собой также и одну из основных проблем социологии.

Поэтому не следует удивляться, что философы в настоящее время обращают на эту проблему особое внимание. Скажем больше: следует стараться извлечь истинную проблему даже из-под мистификаторского покрывала той или иной философской спекуляции. Нельзя отрицать ее а priori также и в случае спора об «истинном взаимопонимании», спора, который ведут две упомянутые нами концепции.

Прежде всего, однако, следует детальнее выяснить понятие коммуникации и тем самым уточнить предмет спора.

Примем вслед за Урбаном деление коммуникативных актов на две большие категории: акты, сообщающие о некотором поведении или эмоциональном состоянии (*behavioral communication*), и акты, сообщающие о некоем знании или состоянии разума (*intelligible communication*).

· Делались попытки по-разному определить понятие «человека», получить его *differentia specifica*. Маркс говорит вслед за Франклином, что человек — это животное, производящее орудия; современные семантики усматривают эту *differentia* в способности пользоваться знаками и символами. В сущности говоря, в обоих случаях речь идет о разных аспектах одного и того же процесса общественной жизни *человека*. Процесс труда и процесс использования знаков, коммуникации, связаны между собой генетически и функционально. Именно поэтому, если учитывать эту связь, можно смело ввести коммуникацию как элемент определения человека и человеческого общества. Но *какую* коммуникацию?

В известном смысле слова коммуникация выступает во всем животном мире. Пчела, «танцем» и ударами усиков побуждая своих коллег к вылету на место богатой добычи, что-то им «сообщает». Подобным же образом муравьи ударами предупреждают свое «общество» о грозящей опасности. Любовные песни птиц и порывкивание оленей являются также известной формой коммуникации. Такого рода «общение» с другими, выражение страха, восхищения и т. д. встречается и среди людей; в определенной ситуации сама экспрессия речи или даже только выражение лица или движение тела что-то сообщают нам о переживаниях источника этих действий. Является ли это коммуникацией? Постольку, поскольку переносится эмоциональное состояние с одного индивида на других или дается информация о некоторой ситуации *hic et nunc*, это коммуникация частного вида, коммуникация, исходящая из самого поведения индивидов, коммуникация, эмоционально «заражающая». Использованное здесь определение лучше всего соответствует состояниям, которые выступают как результат этих своеобразных актов «коммуникации» у пчел, вылетающих на сбор мёда, у стада, бросающегося в паническое бегство, и т. п. Данная коммуникация не является принципиально отличной от типично человеческого способа взаимопонимания, передающего некоторые знания и состояния *разума*. А именно об этом способе человеческого взаимопонимания идет речь в нашем анализе.

Так ли это? Действительно ли об этом способе коммуникации, о коммуникации *в этом* значении прежде всего идет речь?

Люди общаются, передавая друг другу свои переживания, состояния чувств, знания и состояния разума разными путями, с помощью разных средств. Здесь и возникает спор: какая коммуникация является «истинной», иначе говоря, действительным способом взаимопонимания.

Мы уже упоминали выше, что «заразительная», «побуждающая» коммуникация, то есть передающая прежде всего эмоциональные состояния одного индивида на других, выступает и у людей. Она становится огромной силой в моменты паники, вспышек стихийной ненависти, ослабления социальных уз, контролирующих инстинкты, и т. п.

Однако это еще не исчерпывает вопроса. Разве музыка или в какой-то мере скульптура (а поэзия даже в значительной степени) не являются отдельным проявлением такой специфической коммуникации? Знатоки музыки правильно предостерегают от «программного» восприятия, то есть от интеллектуализации музыки, «перевода» ее на «язык» понятийного мышления или образов. Музыку, говорят они, следует воспринимать как поток состояний чувств особого рода. Я согласен с этой точкой зрения, то есть согласен с тезисом, что если музыка вообще что-то «отражает», то только эмоциональные, чувственные состояния, и если что-то передает, сообщает другим, то только именно эти состояния. Я говорю, разумеется, о большой, хорошей музыке. Но я не согласен с тезисом, что именно это есть «истинное» сообщение, коммуникация *par excellence*, хотя признаю, что это *иной, особый* вид коммуникации.

Не с существованием ли этого типа коммуникации связан, в частности, уход изобразительного искусства в область абстракционизма? Тенденция абстракционизма направлена на то, чтобы, отбросив интеллектуальное содержание эстетических переживаний, оставить только «истинную» передачу зрителю некоторых эмоциональных состояний. Сторонники так называемого «дадаизма» и тому подобных течений в поэзии тоже хотели, как они утверждали, «истинной коммуникации», какого-то непосредственного «переливания» другим собственного эмоционального состояния, собственных переживаний.

Оставим в стороне вопрос оценок этих различных художественных тенденций и попытаемся найти то, в чем

имеются общие черты с интересующей нас точки зрения: во всех этих случаях выступает коммуникация между людьми, но коммуникация особого рода — *эмоциональной*, а не *интеллектуальной* природы. А об эмоциональном взаимопонимании идет речь, когда мы говорим о коммуникации *tout court*.

Почему? Потому, что она наиболее распространена в общественной жизни людей и играет в этой жизни особую роль — она является необходимым условием всех социальных уз, а прежде всего производственных связей.

В чем состоит этот тип коммуникации, известный нам очень хорошо из практики нашей жизни, мы постараемся разобрать лучше всего путем сравнения его с коммуникацией посредством музыки.

Композитор переживает состояние любовного порыва и изливает его на языке музыки в виде «*Ноктюрна*», или же переживает патриотический подъем, вызванный национальным восстанием, и излагает свои чувства, скажем, в «*Революционном этюде*», или же грусть в дождливый день он передает эмоционально в форме прелюдии «*Дождливый день*». Многие, многие годы спустя кто-то слушает эти произведения, не зная обстоятельств их появления, не зная их названий, не зная никакой «программной» расшифровки их содержания в интеллектуальных категориях. Тем не менее он переживает грусть «*Ноктюрна*», подъем «*Революционного этюда*», тоску прелюдии «*Дождливый день*». С условием — притом условием немаловажным, — что он принадлежит к кругу определенной культурной традиции, в особенности в области музыки; для индийца, который не встречался с европейской культурой, музыка Шопена столь же некоммуникативна, как для европейца старая индийская музыка. И еще: поскольку дело идет об интеллектуальном «заражении» внеинтеллектуальными средствами, никто не может знать, переживает ли он *то же самое*, что переживал композитор или другие люди, слушающие это произведение. Факт, что даже один и тот же субъект по-разному воспринимает одно и то же произведение в разные моменты в зависимости от собственного состояния чувств, подсказывает скорее отрицательный ответ на этот вопрос. Есть люди, которые говорят, что так должно быть и что «язык» музыки именно потому и является самым лучшим, что он пластичен. Я не

буду пытаться дать здесь решение этого вопроса. Хотел бы только отметить, что, по моему мнению, это какое-то большое недоразумение, вытекающее из перенесения *par force*, вопреки всем декларациям, категорий интеллектуальной коммуникации в область музыки.

В итоге мы можем, однако, сказать лишь то, что в случае «сообщения» своих переживаний другим через посредство музыки происходит эмоциональное «заражение», то есть что одни, передавая это сообщение, а другие, воспринимая его, переживают определенные эмоциональные состояния, что сходство этих переживаний не контролируемо, что способ восприятия того, что сообщается, зависит в большой степени от чувственного «контекста», в какой помещает это «сообщение» тот, кто его воспринимает.

А как обстоит дело в случае коммуникации, соединенной с интеллектуальным пониманием, то есть в случае сообщения известных состояний разума?

Мы не будем здесь давать подробный анализ этого типа коммуникации. Ограничимся только рассмотрением таких ее общих черт, которые позволят отличить ее от коммуникации эмоциональных состояний.

Петр, занимающийся вместе с Яном рубкой леса, говорит ему в какой-то момент: «Поддай мне топор». Ян слышит слова Петра и, понимая их содержание, подает ему топор. Условием получения результата этого акта коммуникации является то, что Ян знал язык, на котором говорит Петр. В противном случае он не мог бы понять его (именно так совершенно правильно подумал бог в легенде о Вавилонской башне). Если бы Ян, несмотря на то, что он не понимает языка Петра, догадался бы по обстановке и по жестам Петра в чем дело и подал бы ему топор, это не изменило бы существа дела. Ян, руководствуясь обстановкой, подсказал бы себе сам то, что, по-видимому, Петр хочет ему сообщить. *Понимание* Петра Яном произошло бы путем *догадки* о его намерениях. Но без понимания партнера не может быть коммуникации.

В чем же состоит акт коммуникации?

Кто-то высказывает мысль, а кто-то другой, слушая это высказывание, *понимает* его, то есть переживает *такие же* состояния разума (не *одни и те же*, ибо это зависит от индивидуального «контекста», который изменяется), что и тот, кто эту мысль высказал. И все.

Не вдаваясь здесь в подробности процесса, кстати весьма сложного, можно сразу уловить различие между двумя анализируемыми нами типами коммуникации.

При коммуникации с помощью музыки, образов, частично поэзии речь идет о передаче другим *эмоций*; здесь же — о передаче интеллектуального содержания, о передаче некоторых состояний *разума*. Это не значит, что такого рода коммуникация лишена эмоциональной окраски. Напротив, ее целью может быть именно вызов какого-то эмоционального состояния: любви, ненависти, готовности к самопожертвованию и т. д. Но эмоциональная сторона здесь всегда производна по отношению к интеллектуальному содержанию, она передается посредством его. Поэтому следует согласиться также с тем, что для непосредственной передачи эмоций «язык» музыки или образа подходит больше, чем язык слов. Как говорит поэт, «Spricht die Seele, spricht die Seele nicht mehr» («Когда *говорит* душа, тогда уже не говорит *душа*». — *Прим. перев.*).

В связи с интеллектуальной целью коммуникации ее реализации может служить только *язык слов, звуковой язык* (либо его письменная форма). Все другие формы передачи интеллектуального содержания в цивилизованном обществе (я абстрагируюсь здесь от по меньшей мере спорного вопроса первичности языка жестов) в конечном счете должны быть переведены на язык слов (касается это как языка жестов, так и языка математики или таких условных «языков», как «язык» цветов, запахов и т. д.). Иначе обстоит дело со *спонтанным* языком жестов глухонемых.

Принципиальная ошибка всяческих спекуляций, касающихся искусственных языков, состоит, как мы уже говорили в части I, прежде всего в том, что их создатели забывают, что языки эти в конечном счете опираются на естественный язык, язык слов, и в нем находят свою интерпретацию.

В противоположность эмоциональной коммуникации интеллектуальная коммуникация предполагает *понимание* того, что сообщается. Нет коммуникации без понимания определенного интеллектуального содержания, что не только излишне, но совершенно отвергается в случае эмоциональной коммуникации (например, упоминавшийся запрет «программирования» музыкального вос-

приятия). Тем самым мы констатируем, что — в противоположность эмоциональной коммуникации — условием интеллектуальной коммуникации является переживание сообщающей стороной *таких же* состояний разума и что идеал, к которому мы здесь стремимся, — это по возможности точная передача собственных состояний разума (мы говорим тогда о полной точности и адекватности взаимопонимания) с отодвиганием границ индивидуализации в переживания *таких же* духовных состояний в сферу «контекста» разных интеллектуальных, эмоциональных и других ассоциаций.

Мы несколько раз употребили слово «контекст» в переносном смысле и потому туманном, если не определить его ближайшим образом. Сделаем это лишь предварительно, потому что проблема фактически относится к сфере вопросов *значения*, которыми мы займемся в другом месте. Здесь мы только упомянем об этом и определим самым общим образом, что мы имеем в виду, когда говорим о понимании чего-то «в контексте».

Вопрос исключительно ясен, когда мы пользуемся литературной метафорой. Если кто-то говорит о ком-то: «Это мотылек, который перелетает с цветка на цветок», то понимание этого высказывания требует изменения *univers du discours* с природного на общественный. В противном случае возникнет большое недоразумение. Подобным же образом, хотя и менее очевидно, представляется вопрос с изменением значения некоторых выражений в зависимости от того, говорим ли мы категориями поэзии, или науки, или разных научных дисциплин, иначе говоря: смысл выражения изменяется в зависимости от того, в рамках какого «языка», в рамках какого *univers du discours* поместили мы данное выражение. Вот почему выражения языка необыкновенно многозначны и допускают разнообразную интерпретацию. Я не согласен с Урбаном, который утверждает, что коммуникация эмоциональных состояний поведением (*behavioural communication*), по крайней мере в наших случаях, не требует учета никакого «контекста»; но я согласен с ним полностью, что коммуникация разума, интеллектуальная коммуникация, содержит отнесение не просто к предмету, а к предмету, охваченному определенным *univers du discours*, то есть что содержание сообщения понятно только в определенном контексте. «Всякая языковая



коммуникация имеет свою систему отнесенности,— правильно говорит Урбан,— но вместе с тем она также и система»<sup>9</sup>. Если *univers du discours* мы будем понимать не только как переменную *систему знаний*, к которой мы относим данное высказывание, но и как индивидуально переменную систему накопленного опыта и переживаний, то получим то, что я обобщенно назвал интеллектуальным и эмоциональным *контекстом* переменного понимания одного и того же выражения разными индивидуальными адресатами. Пока мы можем удовлетвориться этим предварительным пояснением.

В результате мы подходим к следующим выводам, касающимся большего уточнения термина «коммуникация».

Специфически человеческий способ коммуникации относится ко всей сфере духовной жизни человека: как к сфере эмоциональных, так и умственных, интеллектуальных переживаний. Хотя обе эти сферы не отделяются друг от друга абсолютным образом, они представляют, однако, *разные* области духовной жизни, и в связи с этим здесь имеют место также *разные* формы коммуникации (впрочем, и они не могут быть отделены друг от друга совершенно и абсолютно).

Коммуникация в эмоциональной сфере происходит часто с помощью внеязыковых средств, и можно согласиться с тезисом, что, если речь идет о передаче некоторых эмоциональных настроений, об эмоциональном «заражении», экспрессивные средства музыки и скульптуры дают очевидный эффект (следует, однако, помнить, что осознание эмоционального состояния, полученного путем нелингвистического общения, требует уже лингвистических, языковых средств).

Интеллектуальная коммуникация, то есть коммуникация, имеющая целью передачу другим некоторых умственных состояний, является коммуникацией *par excellence* лингвистической (поскольку системы знаков всегда представляют какие-то фрагменты звукового языка), а ее центральной проблемой является *одинаковое понимание* высказываний партнерами, что предполагает не только их общее отнесение к одному и тому же предмету, но и общее отнесение к одинаковому *univers du discours*.

Именно с этой проблемой адекватного понимания друг другом лиц, принимающих участие в процессе ком-

муникации, связан спор трансцендентальной концепции с натуралистической, спор, который мы хотели бы сейчас подвергнуть критическому анализу.

## 2. СПОР ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ И НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИЙ

Трансцендентальную концепцию коммуникативного процесса (бесспорно, одну из самых удивительных для здравого рассудка и для научных раздумий над действительностью) нельзя понять, если не учесть ее философского фона. Исторически она восходит к доктрине Платона, который над эмпирическим познанием ставит непосредственное познание, то есть такое, которое невозможно выразить словами, некоммуникативный взгляд души в сущность вещей, в их идею. Продолжение этого взгляда мы наблюдаем в неоплатоновской мистике, а свой ренессанс в новейшее время это течение переживает в разных вариантах иррационализма. Прежде всего в интуиционизме Бергсона<sup>10</sup> и в феноменологии Гуссерля<sup>11</sup>. Именно в эти метафизические воззрения уходит своими корнями концепция, принижающая или даже совершенно отрицающая значение вербальной коммуникации. «Spricht die Seele, spricht die Seele nicht mehr». А Метерлинк говорит: «Разве кто-либо верит в то, что с помощью языка может иметь место какая-либо действительная коммуникация между одним человеком и другим?»<sup>12</sup>

Непосредственные философские источники трансцендентальной концепции коммуникации следует искать, однако, в чем-то ином: в кантианстве, точнее, в неокантианстве. Раздвоение мира на *феномен* и *ноумен* (сама терминология указывает на родственность этой концепции с платонизмом), а одновременно надделение человеческого разума врожденными формами взгляда а priori, благодаря которым то, что дано в познании, есть конструкция познающего разума,— вот философская почва, какую трансцендентализм, в особенности в своем фиктеанском издании, типичном для неокантианства, создает для всех спекуляций на тему о «транссубъективном «Я»». Такого типа спекуляция, совершенно очевидно, лежит и в основе так называемой трансцендентальной теории коммуникации.

Согласно этой теории, проблему коммуникации можно свести к следующему вопросу: предполагая, что взаимопонимание происходит между *абсолютно изолированными* друг от друга индивидами — а таковыми в понимании трансцендентализма являются индивиды, не погруженные в какой-то объединяющий их духовно мистический эфир трансцендентального «Я» (обратите внимание на это предположение, ибо оно играет принципиальную роль по всей аргументации), — мы спрашиваем, как же возможна коммуникация, то есть как возможно общение, которое опирается на перенесение от индивида к индивиду некоторых *умственных* состояний, на *понимание* высказываний, а не только на восприятие некоторых ситуаций *hic et nunc*, как в случае с behavioral communication. Трансцендентальная концепция объясняет это с помощью двух тезисов: 1) истинная коммуникация — непосредственна (платоновский мотив) и 2) в ее основе лежит своеобразное метафизическое объединение, созданное трансцендентальным «Я», соответственно «всеобщий разум», в котором так или иначе участвуют или частью которого являются индивидуальные разумы (томистическо-кантовский мотив).

Мотив «истинного взаимопонимания» выступает особенно отчетливо в варианте «экстенциального взаимопонимания» Ясперса. Вот всего одна цитата из раздела в несколько десятков страниц, посвященного процессу коммуникации во втором томе его «Философии»:

«Когда человек сквозь все, что является внешним, контактируется как личность с другой личностью, когда заблуждения исчезают и выявляется собственная сущность, тогда целью могло бы стать взаимопонимание обеих душ без скрывающих их покровов и без какой-либо связи через внешний мир.

Но *в этом мире* одно существо не может непосредственно контактировать с другим существом, а лишь через посредство отдельных содержаний. Взаимопонимание душ требует реальности действия и выражения. Ибо коммуникация актуализируется не как не встречающая препятствий на своем пути радиация некоторого духовного бытия вне времени и пространства, а как движение самосуществующего бытия в материи действительности. Правда, моментами контакт кажется непосредственным; он может актуализироваться в трансценденции по отноше-

нию к совокупности существования мира. Но и в этих случаях объем и ясность объективированного, а теперь и трансцендентированного содержания является мерой решительности момента действительной коммуникации. Вершиной этой коммуникации является участие в идеях мира, участие в задачах и целях»<sup>13</sup>.

Решающее значение имеет, однако, концепция трансцендентального «Я», вводимая в той или иной форме в теорию коммуникации.

Эту концепцию очень ясно сформулировал Карл Фосслер, введя для выяснения сущности коммуникации понятие «метафизической языковой общности» наряду с «эмпирической языковой общностью»<sup>14</sup>.

По Фосслеру, носителем и творцом беседы, в которой результативно совершается коммуникация, является всего одно лицо, хотя ее функции и роли могут быть поделены между несколькими лицами. Разговор представляет собой как бы драму, которая раскрывается в каждом из лиц, принимающих в ней участие. Это похоже на концепцию, выводящую диалог из монолога. Но Фосслер идет значительно дальше. Его объяснения показывают, каким метафизическим целям служит весь вывод.

«С метафизической точки зрения дело представляется так, что все происходящие разговоры возникают в человеческой личности, которая составляет единство произвольных множеств. Все, что вообще когда-то говорится на земном шаре, должно поэтому рассматриваться как монолог человеческого духа, который разлагается на миллиарды личных ролей и снова находит себя, преодолевая все эти индивидуальности.

Отсюда, правда, следует, что человеческий дух как таковой есть или должен бы быть *одной* личностью; и возникает вопрос, выдержит ли понятие личности это возведение в абсолют. Не подлежит никакому сомнению, что в нем содержится претензия на то, чтобы быть чем-то абсолютно духовным и монолитным; но наиболее крайняя формула с ее стремлением к бесконечно многочисленным ролям в *одной* личности еще отнюдь не осуществлена»<sup>15</sup>.

Во всяком случае, эти метафизические спекуляции филолога послужили одним из элементов в построении трансцендентальной концепции коммуникации. Предоставим слово одному из представителей этой теории, Урбану:

«Немногие трансценденталисты — не говоря уже о Канте — были бы склонны представлять себе понятие трансцендентальной личности как нечто большее, чем символ, за которым кроется это единство. Но единство, выраженное таким символом, само по себе не есть что-то мифическое. Оно представляет собой необходимое условие той всеобщности, той хотя бы минимальной общности разума, без которой знание и его передача невозможны. С современной точки зрения безразлично, воспользуемся ли мы «мифом» о надындивидуальной личности или о совокупности надындивидуальных личностей. В данной связи я не беспокоюсь особенно о том, что кто-то подумает о таком всеохватывающем разуме, в котором живут и двигаются конечные разумы, имея собственное существование, или о какой-то надындивидуальной общности разумов. Важные в других контекстах, эти вопросы здесь не имеют существенного значения. То, что имеет значение, это *трансцендентальный минимум*, или минимум «трансцендентальных взглядов», необходимых для понимания познавательной коммуникации (*intelligible communication*)»<sup>16</sup>.

Просто есть такая предпосылка, иначе якобы нельзя объяснить процесс коммуникации между людьми. И поэтому следует *верить* в какое-то трансцендентальное, супериндивидуальное «Я». А что это означает? И означает ли это вообще что-то? Это уже неважно. Надо верить. И — о чудо! — есть люди, которые во имя «философии» провозглашают это со всей откровенностью. Это действительно так, мы не преувеличиваем — пожалуйста, вчитайтесь в ответ Урбана на вопрос о доказательствах существования чего-нибудь такого, как трансцендентальное, надындивидуальное «Я»: «Сверхэмпирическая личность, которую предполагает познавательная коммуникация, является сверхэмпирической и поэтому по самой своей дефиниции не подлежит проверке как эмпирический факт через непосредственное использование эмпирического критерия»<sup>17</sup>.

Аргументация трансценденталистов в пользу своей концепции представляет собой такое философское лакомство, что я не могу себе отказать в удовольствии привести еще один вывод Урбана:

«Аргументация трансценденталиста может быть действительно особого рода, но если так, то только потому,

что факты, на которые она опирается, суть факты особого порядка. Согласно этой аргументации, как и согласно концепции Дьюи, разум, понимаемый как *совершенно обособленные, отдельные личности*, совершенно неспособен двигать тяжесть коммуникации и всех ее продуктов, — как знаний, так и человеческих учреждений. Но разум отдельных личностей тоже не адекватен, если его понимать в *чисто натуралистических категориях истории и социологии*. Доказательство опирается именно на это. Несомненно, что доказательство такого рода в значительной степени негативно, но не целиком... Если признать *действительную коммуникацию в противоположность чисто кажущейся*, то тогда «трансцендентальные взгляды» оказываются необходимыми для понимания этих фактов. А это — доказательство в любом действительном смысле этого слова»<sup>18</sup>.

Оставим в стороне курьезность, какая свойственна некоторым аргументам трансценденталистов, и перейдем к анализу противоположной концепции, концепции бихевиористов, называемой также натуралистической концепцией.

Тезис натуралистов гласит следующее. Люди могут иметь коммуникацию, то есть могут понимать высказывания друг друга, ибо они имеют ту же самую физическую и умственную структуру, а также имеют дело с общей для них всех действительностью. Посему коммуникация представляется делом весьма прозаичным и понапрасну мистифицируемым трансценденталистами. Вот ее сущность: некто переживает какой-то опыт и воздействует на свое окружение так, что другой разум переживает подобный же опыт. Здесь нет никаких таинственных явлений: в определенных условиях отдельные интеллекты переживают подобный опыт. Приблизительно так излагает позицию натурализма И. А. Ричардс в «Principles of Literary Criticism»<sup>19</sup>.

Подобным же образом понимает данный вопрос Джон Дьюи, которого я рассматриваю, хотя бы учитывая его место в истории бихевиоризма, как главного представителя натуралистической концепции.

Дьюи признает, что трансценденталисты обращали более пристальное внимание на роль языка в обществе, чем другие. Вместе с тем именно они несут ответственность за мистифицирование этого вопроса, ибо объяс-

няют его генезис, опираясь на какие-то сверхъестественные принципы. А ведь этот генезис можно объяснить совершенно естественным образом, взяв за исходный пункт общественную жизнь и ее потребности, в удовлетворении которых язык играет особую роль как средство коммуникации. Чтобы понять функцию языка и сущность коммуникации, следует прежде всего заняться *деятельностью* людей, их сотрудничеством:

«Сущность языка не состоит в «выражении» чего-то предшествующего, тем более в выражении предшествующей мысли. Она состоит во взаимопонимании, в установлении сотрудничества в деятельности, в которой есть сотрудники, сотрудничества, в котором деятельность каждого из них модифицируется и регулируется фактом соучастия. Невозможность взаимопонимания — это невозможность достижения согласованности действия; отсутствие взаимопонимания — это начало деятельности, у которой противоречивые цели»<sup>20</sup>.

Объясняя коммуникативную функцию языка, Дьюи продолжает:

«Язык является, в частности, способом взаимного воздействия друг на друга по меньшей мере двух лиц — говорящего и слушающего; язык предполагает существование организованной группы, в которую эти лица входят и от которой они приобрели свои навыки речи. Это, следовательно, отношение, а не особое свойство. Один этот факт дискредитирует традиционный номинализм... Изобретение орудий, а также владение ими сыграло большую роль в установлении значений, ибо орудие представляет собой вещь, используемую как средство для некоторых целей, а не вещь, понимаемую в непосредственном и физическом смысле. Оно по самой своей сущности является чем-то выражающим отношение, чем-то упреждающим факты, чем-то предвещающим. Без отнесения к тому, чего нет, или «трансценденции», ничто не является орудием. Наиболее убедительным доказательством того, что звери не «мыслят», является факт, что у них нет орудий»<sup>21</sup>.

Во многих своих высказываниях Дьюи приближается к марксистскому пониманию. Именно поэтому становятся понятными различия между обеими точками зрения. Мы еще вернемся к этой проблеме при изложении нашей собственной позиции по спорным вопросам.

Прежде чем перейти к анализу критических аргументов трансценденталистов, предоставим слово еще одному автору, близкому к натуралистической концепции. Речь идет об Алане Гардинере, который в своей книге «The Theory of Speech and Language» еще более заостряет тезисы Дьюи.

Гардинер начинает рассуждения с анализа понятий языка и речи.

Так же как и Дьюи, который, концентрируя внимание на проблеме значения, вынужден коснуться и проблем коммуникации, Гардинер не может обойти эту проблему.

Он рассматривает, слова подобно Дьюи, процесс речевых актов в категориях участия двух лиц: того, кто говорит (сообщает), и того, кто слушает. Но одновременно — и это весьма важно для решения проблемы — он вводит в качестве третьего элемента вещь, о которой говорится. Правда, натуралистическая концепция (например, Ричардса) объясняет возможность коммуникации подобием интеллектов и общностью действительности, но Гардинер, вводя категорию *вещи* и требуя реалистического понимания теории языка и речи, вводит тем самым новый теоретический момент, который явно сближает его с материализмом.

Гардинер начинает с критики определения речи (*speech*) как системы артикулированных звуковых символов, используемых для выражения мысли. Он пишет:

«В первом приближении речь можно определить как использование людьми артикулируемых звуковых знаков в целях сообщения своих стремлений и взглядов на вещи. Обратите внимание, что я не намерен отрицать мыслительного элемента. Вопросы, которые я хотел бы подчеркнуть, это, во-первых, кооперативный характер речи, а во-вторых, факт, что речь всегда касается вещи, то есть действительности — как внешнего мира, так и внутренних переживаний человека»<sup>22</sup>.

Таким образом, правильное понимание языка и речи, значения и понимания (Гардинер четко отличает *значение* слов от *обозначаемых* этими словами вещей), а тем самым правильная оценка *процесса* коммуникации требует, по Гардинеру, учета четырех элементов ситуации: 1) того, кто говорит, 2) слушателя, 3) вещи, о которой говорится, 4) слов, которыми говорится.



Итак, что же утверждают сторонники натурализма о сущности процесса коммуникации?

Они утверждают, что здесь речь идет о простой и прозаической вещи, которая совершенно не требует обращения к каким-то натуралистическим факторам. Речь идет просто о передаче друг другу некоторого личного опыта с помощью языковых средств, что, по их мнению, всегда может быть сведено к категории воздействия. Такая передача содержания опыта лицом, которое говорит, тому лицу, которое слушает, возможна, потому что: 1) общающиеся организмы имеют подобную структуру и 2) действительность, о которой говорится, общая для них.

Что же на это говорят трансценденталисты?

Они говорят, что эта коммуникация, хотя и понятна здравому рассудку, может касаться только «мнимого», а не «истинного» взаимопонимания, а что касается последнего, то оно отягощено логической ошибкой: оно предполагает в качестве истинного то, что еще должно быть доказано.

А вот их аргументация.

Во-первых, они ставят под сомнение предпосылку о «подобии организмов». Ведь здесь речь идет, говорят они, лишь о внешнем сходстве, что, возможно, было бы достаточно для объяснения behavioural communication, взаимопонимания, имеющего, безусловно, чисто ситуационный характер.

Интеллектуальная коммуникация включает в себя *понимание содержания* высказывания, а значит, способность аналитического мышления, выделяющего существенные и несущественные элементы, элементы, имеющие значение и не имеющие его. Приписывание интеллектам такого именно общего свойства выходит за пределы признания внешнего сходства организмов и предполагает существование в них какого-то общего фактора или силы. Исходя из предпосылки, что существуют интеллекты, *совершенно изолированные* (а как мы уже видели, именно в таком подходе трансцендентализм обвиняет натурализм), натурализм не может объяснить интеллектуальную коммуникацию и вынужден поэтому украдкой вводить в виде молчаливой предпосылки тезис трансцендентализма, против которого он якобы борется, но в котором утверждается, что существует некий трансцендентальный, надэмпирический принцип, делающий возможной коммуникацию.

Назовем ли мы его трансцендентальным «Я» или «подобием организмов», это не играет большой роли.

Во-вторых, трансценденталисты атакуют также тезис натурализма о том, что коммуникация возможна благодаря подобию окружения («общая действительность»). Этот тезис, говорят они, касается не только чисто ситуационного подобия, что было достаточным лишь в случае *behavioural communication*. Интеллектуальная коммуникация, напротив, требует отнесения высказывания к определенному *univers du discours*, то есть к действительности, которая «конструируется». Эта коммуникация предполагает, следовательно, говорят они, не только разум, который «конструирует» данный *univers du discours*, но и *общность разумов*, которые вступают в коммуникацию. Натурализм, утверждают трансценденталисты, вводя понятие «общей действительности», предполагает просто то, что должен был доказать: общность интеллектов, возможность коммуникации.

Нельзя сказать, чтобы критика трансценденталистов, даже в своей крайней форме, не находила точки опоры во взглядах натуралистов, хотя, без сомнения, она тенденциозно искажает их, а возможно, она просто не способна понять их рационального содержания. Дело в том, что в этих воззрениях действительно есть уязвимые моменты и непоследовательность, которые ставят всю концепцию под обстрел трансцендентализма. В особенности ей вредят следующие недостатки: 1) неумение объяснить проблему человеческой личности с *социальной* и *исторической* точки зрения и как результат проблему отношения личности к другим личностям, к обществу и 2) неумение занять последовательно материалистическую позицию в теории познания, а значит, и объяснить проблему *общего предмета* общественного познания и *индивидуальных различий* в восприятии его личностями.

### 3. ОСНОВЫ МАРКСИСТСКОГО ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Для марксиста, как для всякого человека, пользующегося в мышлении критериями научности, позиция трансцендентализма неприемлема, ибо это позиция метафизической спекуляции, противоречащей науке. Ближе

к нему, очевидно, позиция натурализма, по крайней мере те его тезисы, которые приближают его к последовательному материализму. Но марксист не может полностью солидаризироваться и с натурализмом — некоторые моменты аргументации натуралистов он должен подвергнуть критике, он должен заполнить многие пробелы в этой аргументации.

Поэтому марксист не согласен с положением, что в вопросе о возможности коммуникации существуют только две альтернативные точки зрения: трансцендентализм и натурализм. Тем более он не может согласиться с тем, чтобы банкротство одной из этих воюющих друг против друга теорий послужило доказательством правильности другой. Это очевидный паралогизм. Обе стороны, по крайней мере в известной степени, правы в своей критике противника. Однако ни одна из сторон не права, ибо желает этой критикой упрочить свои позиции. Трансцендентализм — это просто антинаучная спекуляция, опирающаяся исключительно на статьи метафизического толка. Натурализм тоже обнаруживает свои пробелы, непоследовательность, ошибочность некоторых своих взглядов и положений. Слабость натурализма состоит, однако, скорее в том, чего он не говорит, нежели в том, что он утверждает позитивно. Но со многими его тезисами следует согласиться, ибо они защищают позиции науки и здравого рассудка. Марксизм должен, следовательно, по-разному трактовать оба направления, но не может солидаризироваться ни с одним из них. Следовательно, он должен представить собственную попытку решения проблемы.

\* \* \*

«Лишь теперь, после того как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре стороны первоначальных исторических отношений, мы находим, что человек обладает также и «сознанием». Но и им он также обладает не с самого начала в виде «чистого сознания». На «духе» с самого начала тяготеет проклятие «отягощения» его материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым

существующее также и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми»<sup>23</sup>.

Эти слова Маркса о роли речи в процессе коммуникации людей между собой относятся к 1844 году. Приблизительно в это же время, весной 1845 года, Маркс пишет свои «Тезисы о Фейербахе», среди которых три имеют для нас особо важное значение. Тезисы 6, 7 и 8. Они касаются общественного характера человеческой личности и выводов, которые вытекают отсюда для изучения проявлений духовной жизни такой личности. Приведем эти тезисы:

6.

«Фейербах сводит религиозную сущность к *человеческой* сущности. Но человеческая сущность не есть нечто абстрактное, присущее отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность общественных отношений.

Фейербах, который не входит в критику этой действительной сущности, вынужден поэтому:

1) абстрагировать от хода истории и фиксировать религиозное чувство само по себе и предположить абстрактного — *изолированного* — человеческого индивида;

2) Сущность может быть поэтому понята только как «род», как внутренняя, немая всеобщность, устанавливающая *естественную* связь между многими индивидами.

7.

Фейербах не видит поэтому, что «религиозное чувство» само есть общественный продукт и что анализируемый им абстрактный индивид принадлежит к определенной форме общества.

8.

Всякая общественная жизнь по существу *практична*. Все мистерии, которые заводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики»<sup>24</sup>.

Я привел цитаты из Маркса в начале рассуждений о марксистском понимании проблемы коммуникации,

потому что в них можно найти основу для решения этой проблемы.

Мы помним, что трансцендентализм обвинял натуралистов в том, что они допускают ошибку *circuli in demonstrando*. Они должны доказать возможность коммуникации, между тем *предполагают* возможность коммуникации, утверждая, что имеется достаточное «подобие человеческих организмов». Натурализм беззащитен по отношению к выдвинутому против него обвинению, беззащитен, потому что принятие натурализма как исходного пункта для объяснения общественных явлений содержит в себе фундаментальную ошибку.

Начнем с вопроса о человеческой личности. Натуралисты, как некогда Фейербах, понимают человеческую личность абстрактно, только как экземпляр вида «человек». Это тоже материализм, но материализм, ограниченный вследствие абстрагирования от общественного фактора.

Единственная «всеобщность», доступная при таком анализе человека, это всеобщность *рода*, и потому именно натурализм, подобно фейербаховскому, может понять сущность человека только как «род», как «внутреннюю», немую «всеобщность, устанавливающую *естественную* связь между многими индивидами». В это слабое место натурализма бьет трансцендентализм. И правильно. Еще раз подтверждается тезис, что идеализм питается прежде всего за счет ограниченности метафизического материализма и, значит, за счет его ошибок.

Ибо если человеческая личность трактуется натуралистически, только как экземпляр естественного вида, если только так мы понимаем «подобие организмов», то что же мы можем и имеем право сказать о «подобии интеллектов», о «подобии сознания» и т. п., если то, что мы скажем, не должно быть просто предпосылкой? Трансценденталисты правы. При таком толковании ничего разумного по этому вопросу сказать нельзя, и действительно кажется, что натуралисты кладут в основу то, что должны доказать.

Да и вопрос «подобия интеллектов» не может быть решен в чисто натуралистических категориях. В этих категориях вообще нельзя решить вопрос о человеческой личности как индивиде, входящем в состав человеческого общества.

Критикуя натуралистические тенденции Фейербаха, Маркс обвинял его в свое время, что он принял в качестве предпосылки абстрактный, *изолированный* человеческий индивид, и указывал ему, что «анализируемый им абстрактный индивид принадлежит к определенной форме общества». Это критика всех «робинзонад» в общественных науках.

Понимают ли сторонники натуралистической концепции коммуникации эти истины? Заметим, что все они анализируют отношение: «говорящий — слушающий», оставляя в тени вопрос об их социальной связи. Дьюи говорит, правда, в приведенной нами цитате, что оба партнера принадлежат к общественной группе, от которой они переняли свои речевые навыки. Но он не делает почти никаких выводов из этого факта в ходе своих последующих рассуждений. Я не хочу этим самым сказать, что Дьюи и другие сторонники натурализма вообще не понимают вопроса о социальной связи или что они в действительности утверждают — как это им приписывают трансценденталисты, — что человеческие личности «абсолютно изолированы». Однако из того, что они не говорят подобных глупостей, не следует, что они правильно понимают значение социальной обусловленности коммуникативного процесса, и уже совершенно не следует, что они провозглашают подобные взгляды. Нет, таких взглядов они, разумеется, не провозглашают, и именно поэтому они подставляют себя под удар со стороны трансцендентализма. А может быть, они замалчивают этот вопрос в своей аргументации лишь потому, что рассматривают его как нечто разумеющееся, что они считают его просто трюизмом? В ответ на такие «защитные» аргументы следует сказать, что, пожалуй, самым большим трюизмом будет утверждение, что разговор включает всегда по меньшей мере двух партнеров — говорящего и слушающего. Но натуралисты тем не менее считают уместным не замалчивать этой банальности (ср. Дьюи и прежде всего Гардинера). Если бы они видели и вполне понимали значимость социальной обусловленности положения личности как социальной единицы, если бы они видели и вполне понимали значимость социальной обусловленности коммуникативного процесса, то они наверняка не замалчивали бы данного вопроса. Это как-никак важная проблема, позволяющая отмежеваться от позиции противника, от позиции трансценденталистской мистики. И в науке молчание в определенных случаях

необычайно красноречиво, отсутствие некоторых утверждений в определенных ситуациях представляет собой согласие на противоположные утверждения и, во всяком случае, свидетельство неумения или невозможности возразить им.

А ведь именно с этого вопроса об общественном положении личности следует начать рассуждения, и тогда разлетается в прах вся таинственность «подобия интеллектов» и «общего сознания», «чудодейственный характер» коммуникации и т. д.

Маркс говорит, что человеческая сущность — это не абстракция, содержащаяся в отдельном индивиде. Индивид является совокупностью общественных отношений. В понимании этого вопроса — абстрагируясь от необычной для настоящего времени формы выражения этой мысли — заключается вся суть дела. Может ли немарксист развить подобную мысль или, во всяком случае, может ли принять ее, присоединиться к ней? Я не вижу каких-то абсолютных преград для этого. Однако совершенно ясно, что *общественное, а тем самым историческое понимание духовной жизни человека и продуктов его творчества является неоспоримым и исключительно важным вкладом марксизма в науку об изучении общества.*

Чтобы избежать каких-либо недоразумений, следует добавить, что открытие Маркса не появилось на пустом месте, что ему предшествовали мысли и исследования о влиянии среды на взгляды людей (французские материалисты), а также об историческом характере человеческого сознания (немецкий идеализм). Однако Маркс не только дал синтез этих взглядов, но и, последовательно развив их, сделал на новой основе (учет роли производственных отношений в развитии сознания) истинно научное *открытие*, которое легло в основу современных теорий духовной жизни и ее продуктов.

Человек, человеческий индивид — если мы посмотрим на него не как на предмет изучения физики, химии, медицины и т. п., а как на *человеческий* индивид, то есть как на единицу человечества, человеческого общества, — является *общественным продуктом*, равно как и все проявления его духовной жизни: «религиозная установка», речь, художественный вкус, вообще сознание.

Человек как «человеческая единица» представляет собой «совокупность общественных отношений» в том

смысле, что можно понять его генезис и духовное развитие исключительно в общественном и историческом «контексте», как экземпляра «рода», но уже не только естественного, но и общественного. Это — в определенном значении данного слова историзм и в определенном значении слова — социологизм. Исторический материализм, таким образом, вводит социологическую, научную точку зрения в исследования духовной жизни человека вообще и в исследования по культуре в особенности.

В свете этой концепции становится совершенно ясно, что «сознание есть... общественный продукт и остается... им, пока вообще существуют люди». Но таким же социальным продуктом является с самого начала и человеческий язык, ибо «язык есть практическое, существующее и для других людей... реальное сознание». Генезис как сознания, так и языка исходит из общественной жизни, ее потребностей, «из необходимости общения между людьми».

В данной связи нас не интересует вопрос о генезисе языка и речи. Нас интересует другое: остается ли после преодоления ошибок натуралистического понимания общественных явлений и перенесения исследований на почву последовательного материализма еще что-либо таинственное в явлении коммуникации? Могут ли трансценденталисты с полным правом адресовать свое обвинение *circuli in demonstrando* также и в адрес марксистов?

Очевидно, трансценденталисты могут сказать вслед за Урбаном: «...Разум столь же неадекватен, если его понимать в чисто натуралистических категориях истории и социологии».

Я отвлекаюсь от того, что история и социология ничего не имеют общего с натурализмом. Этот термин заменяет здесь, по всей вероятности, «страшное» понятие «материализм». Сторонники трансцендентализма могут тогда сказать, что коммуникация, о которой идет речь в этих категориях, это не есть истинная коммуникация. Но мы тоже можем, подражая старику Дицгену, отослать сторонников «ангельского» способа коммуникации на небо, к ангелам. У нас здесь на земле в нашем распоряжении только земной способ коммуникации. Спекуляциями заниматься нам не нужно.

А остается ли в силе тот аргумент, который так эффективно бил по натурализму? Нет, ибо утрачена его основа —



тезис об «абсолютно изолированных» индивидах, который трансцендентализм может безнаказанно инкриминировать натурализму, используя его недостатки и ошибки. Но от этого тезиса ничего не осталось, а вместе с этим ничего не осталось из критической аргументации трансценденталистов.

Человек, человеческая личность является общественным продуктом как с точки зрения своей физической эволюции, так и психической; как с точки зрения своего филогенеза, так и онтогенеза. И как нет ничего таинственного в «подобии организмов», так нет ничего таинственного и в «подобии интеллектов» или «подобии сознания». Подобие это (впрочем, оставляющее место для индивидуальных различий) в высшей степени естественно и нормально, оно приобретено благодаря *воспитанию* в обществе, благодаря наследованию продукта исторического развития посредством прежде всего языка. Оба эти фактора действуют одинаково в отношении всех членов общества; что же тут удивительного, если они создают «подобие интеллектов». Что же удивительного, если они разбивают мифы об «абсолютно изолированных» индивидах! В связи с этим становится совершенно не нужным введение каких-то мистических, трансцендентальных факторов для выяснения коммуникативного процесса. Вопрос объясняется совершенно естественно, но не натуралистически. Он объясняется *социально*.

Вот что вносит в проблему коммуникации марксизм. Марксистский подход позволяет решить эту проблему последовательно научным способом, отделив марксизм как от метафизических спекуляций трансцендентализма, так и от вульгаризованного материализма натуралистической концепции.

Не менее решительно отвергается на основе марксизма второе обвинение трансценденталистов — обвинение в связи с вопросом о «подобии действительности», которого касается коммуникация. Мы помним, что трансценденталисты, ссылаясь на то, что интеллектуальная коммуникация относится всегда к какому-нибудь *univers du discours*, считают действительность, о которой идет речь в процессе коммуникации, конструкцией. На этой основе они снова выдвигают обвинение в *circuli in demonstrando*, ибо подобие, которое должно быть доказано, принимается, по их мнению, как предпосылка.

Ибо речь идет здесь не о вещах, существующих независимо от разума, а о вещах, являющихся конструкцией разума; конструкции же эти должны быть подобными, потому что подобие внес сам разум, а именно трансцендентальное «Я», в котором участвуют каким-то образом отдельные личности.

Это чистая мистика, чистая метафизическая спекуляция. Натурализм перед лицом этой спекуляции беззащитен: коль скоро сделана уступка в пользу идеализма, уже нельзя успешно защищаться от его ударов. Однако для марксизма, как последовательного материализма, и этот аргумент не опасен.

Здесь дело идет о принципиальном споре материализма с идеализмом в области онтологии и теории познания. Спор ведется, собственно, о следующем: является ли предмет, о котором говорят общающиеся лица, предметом общей беседы потому, что он существует вне их интеллектов и независимо от них, или не является таковым?

Ясно, что в философии возможен также и солипсизм. Но тогда исчезает не только *общий* предмет, но и вообще *предмет*, и остается только единственное мистическое «Я», создающее мир как свою собственную конструкцию. Здесь стираются границы между эпистемологическим и онтологическим солипсизмом. Надо отдавать себе отчет в том, что вместе с предметом мы ликвидируем также коммуникацию, ибо тогда уже нечего сообщать. Это видят даже трансценденталисты; например, Урбан говорит, что для коммуникации необходим «минимум реализма». Он говорит: «Ни одна последовательная теория коммуникации не может возникнуть из субъективистских предпосылок, и если идеализм предполагает субъективизм, то идеализм следует отбросить»<sup>25</sup>. Но Урбан высказывается против субъективного идеализма с позиций объективного идеализма. Не переводя дух он продолжает: «С другой стороны, ни одна последовательная теория коммуникации не может возникнуть без трансцендентального разума или трансцендентальных предметов. Следует отбросить всякую форму реализма, которая выступает против этого»<sup>26</sup>.

Итак, нельзя отказаться от объективности предмета (но можно, по мнению трансценденталистов, искать спасения в объективном идеализме), если не хотеть отказаться вообще от какой бы то ни было принципиальной теории коммуникации.

Но трансценденталисты могут сказать, что дело здесь не в отрицании объективного предмета, доказательством чего является факт признания ими объективности предмета коммуникации, как это делает Урбан. Дело в том, что, общаясь с другими людьми, мы действительно говорим о предметах, но о предметах, помещенных нами в рамки определенного *univers du discours*, в зависимости от «языка», которым мы пользуемся. А для конструирования этого *univers du discours* необходим «трансцендентальный разум».

Аргумент прямо-таки поразительный. Однако достаточно задать вопрос «почему?», и чары развеиваются. И в самом деле: почему «трансцендентальный разум» необходим для создания *univers du discours*, а не для существования предмета. Что означает, что предмет коммуникации объективен, если в коммуникации он выступает всегда как субъективный продукт, как конструкция? Не повторяется ли здесь старая концепция непознаваемых ноуменов, которые существуют объективно, и данных нам в познании феноменов, которые являются нашей собственной конструкцией? Но ведь с этой концепцией критика кантовского феноменализма уже давно расправилась. Поэтому надо себе ясно сказать: либо мы принимаем объективное существование предмета коммуникации, либо субъективизируем этот предмет, и тогда перечеркивается возможность взаимопонимания. *Tertium non datur*. Трансценденталисты безнадежно запутались в своей утонченности.

А как же все-таки обстоит дело с этим *univers du discours* в свете материалистической теории познания?

Если мы встанем на точку зрения, что предмет нашего познания, а вслед за этим и предмет коммуникации существуют объективно, то есть вне всякого разума и независимо от него, то разум, познавая, так или иначе *отражает* его (в частном значении этого слова). Но изолированный предмет — это абстракция: разум отражает предмет в познании всегда в *каком-то контексте*. В этом смысле контекст должен существовать и в передаче познания. Утверждение, что предмет выступает тут в определенном *univers du discours*, является банальным утверждением. Ссылка на *univers du discours* в процессе коммуникации обходит трудности, тем более что при этом дело идет не о предметах, а о *многозначных словах*, значения которых конкретизируются лишь в контексте. Но для этой цели не нужно

никакое трансцендентальное «Я», а нужно только ясное и понятное указание контекста, что в свою очередь требует точности выражения говорящего и соответствующей эрудиции слушателя. Никакое мистическое трансцендентальное «Я» не поможет мне в понимании *univers du discours*, например квантовой механики, если я не знаю предмета.

Здесь снова напрашиваются уже цитированные слова Маркса:

«Всякая общественная жизнь по существу практична. Все мистерии, которые заводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики».

Позиция марксизма в споре натурализма и трансцендентализма сводится, таким образом, к указанию на то, что спор этот ведется относительно *par excellence* общественных явлений и в этом смысле естественных.

Не является ли это трюизмом, не является ли это точкой зрения, повсеместно принятой в науке? Отнюдь нет.

О том, что это не трюизм, свидетельствует весь разбираемый нами спор. То, что это не банальность, доказывает факт, что не только трансценденталисты, но даже натуралисты не понимают полностью и не могут полностью оценить этот тезис.

Некоторые точки зрения, в особенности точка зрения трансцендентализма в интересующем нас споре, кажутся странными для здравого рассудка. Но взгляды философов не всегда согласны со здравым рассудком, а нередко вся их «оригинальность» состоит в том, что они шокируют этот рассудок. Может быть, поэтому считать такие взгляды, как это предлагали мне однажды в одной дискуссии, проявлением идиотизма или шизофрении и на этом основании отбросить их как недействительные? Или, может быть, сказать, как говорилось на этой же дискуссии, что я, по-видимому, не понимаю, что утверждают эти авторы, поскольку я приписываю им такие абсурдные взгляды; или же заявить, что поскольку их взгляды столь абсурдны, то я освобождаю себя от дискуссии вследствие очевидной ненаучности позиции противника. Я не согласен ни с одним из этих положений. Подобные взгляды, хотя это и не бросается в глаза, не являются проявлением слабости или расстройства рассудка, а просто составляют разно-

видность распространенной в буржуазном мире иррационалистической мысли. Даже мистика есть явление общественное, общественный факт, который следует видеть, понимать и оценивать, если не желаешь проиграть идеологической битвы, разгорающейся в настоящее время в области философии. Я не имею права также сказать, когда мне это удобно, что я «не понимаю», и на этом основании выйти из боя. Ведь я *понимаю* смысл высказанных фраз, хотя отклоняю их (я понимаю, например, смысл предложения, что коммуникация возможна благодаря какому-то трансцендентальному «Я», подобно тому как я понимаю предложения, утверждающие нечто о всемогуществе божьем). Слова «не понимаю» в этом случае могут означать только то, что я не согласен с данной точкой зрения, что не признаю за ней смысла с точки зрения науки и т. д. Но было бы опасным шагом, если бы мы захотели на этой основе отказаться от дискуссии. Противник тогда с успехом мог бы сказать, что он тоже «не понимает», что мы говорим. А может быть, нам не надо беспокоиться об этом, поскольку мы убеждены, что правы именно мы? Но это означало бы конец духовного прогресса, конец всякой дискуссии, вредную монополизацию научной мысли.

Следовательно, давайте дискутировать; раз необходима дискуссия, то марксистская позиция в вопросе о коммуникации не является банальностью. Как раз наоборот, не только в историческом плане, но и *в настоящее время* она является единственной позицией, вполне последовательно трактующей проблему коммуникации с общественной и вместе с тем материалистической и исторической точек зрения.

Другое дело, что великие открытия входят в плоть и кровь науки, оказываются чем-то столь простым, что кажутся банальными людям, которые формируют свои взгляды уже под их влиянием. Это обычный ход вещей. Самые большие открытия, особенно в области общественных наук, касаются обычно простых, повседневных законов, но по тем или иным причинам ранее не замечаемых, не понимаемых или просто сознательно отодвигаемых на задний план. Этот факт ничем не уменьшает величия открытия, а тем более заслуги использования его в конкретном анализе. В особенности если оно — как в случае теории коммуникации — не является ни всеобщим, ни даже чем-то, что понимают и учитывают большинство исследователей.

Мы говорили, что марксизм рассматривает человеческое сознание и язык — сознание для других — как общественный продукт. Эта гипотеза нашла свое выражение в статье Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», а также в теории Маркса и Энгельса о роли разделения труда как фактора социальной эволюции. Труд — мысль — язык — вот три краеугольных камня в марксистской концепции генезиса человеческого общества. Эти три элемента неразрывны. Человек сам выделяется из животного мира, начав производить орудия, говорит Маркс. Человеческий труд неразрывно связан с сознанием, то есть с мыслью, которая генетически в свою очередь неразрывно связана с языком. Сознание, а значит, и язык, являются продуктом процесса труда, общественным продуктом, но одновременно и необходимым условием дальнейшего развития этого процесса, существования его высших стадий. Человеческий труд опирается на кооперацию, а она невозможна без понятийного мышления и без коммуникации. Такова диалектика взаимодействия, которая одновременно позволяет понять процесс коммуникации, не прибегая к чудесам и к метафизике.

Итак, вопрос этот «прозаичен», естествен, хотя и не укладывается в рамки натуралистической интерпретации, ибо он *par excellence* социален. Но настолько ли он прост? Разве достаточно просто сказать, что кто-то говорит, а кто-то слушает и обе стороны, общаясь, понимают друг друга?

Здесь уместно выступить против здраворассудочного упрощенчества проблемы. Она исключает всякий глубокий анализ, грозит уничтожением науки.

Люди разговаривают и понимают друг друга — и это есть коммуникация, говорим мы. Правильно. Но для научного анализа здесь только и начинается сама проблема. Какая? Конечно, не метафизическая проблема того, возможна ли коммуникация. Разумеется, возможна, коль скоро мы являемся свидетелями этого на каждом шагу. Она и не мистическая проблема, какой трансцендентальный фактор делает возможной коммуникацию. Мы можем ее научно объяснить без чудес и без метафизики. Начинается научная проблема того, *как, каким образом* совершается коммуникативный процесс?

Психологи-социологи утверждают, что коммуникация состоит в том, что общающиеся стороны взаимно принимают роли своих партнеров, вживаются в их ситуацию, понимая высказанные ими слова<sup>27</sup>. Можно это понимать так, можно иначе. Однако всегда интеллектуальная коммуникация связывается с пониманием, с *одинаковым* пониманием обеими сторонами определенных высказываний.

Взаимопонимание, интеллектуальная коммуникация неразрывно связана с *языком*. К более точному определению того, что мы понимаем под языком, мы вернемся еще в последующих рассуждениях. Здесь я хотел бы подчеркнуть только одно: независимо от того, кто как определяет язык, независимо от огромных различий в этом отношении между отдельными, часто враждующими авторами, в каждом определении мы находим ссылку на проблему знаков или символов, из которых построен человеческий язык.

Говоря, человек воссоздает некоторые звуковые *знаки* особого рода (иные говорят об артикулированных звуковых символах). Коммуникация состоит в том, что тот, кто воспроизводит эти звуковые знаки, и тот, кто их слушает, понимают их одинаково, то есть придают им одинаковые *значения*. Именно так определяет коммуникацию Ландберг, когда он говорит: «Коммуникацию можно определить как передачу значений через посредство символов»<sup>28</sup>.

Таким образом, мы ввели для анализа коммуникации три основных понятия, которые требуют дальнейших исследований: знак (символ), значение, речь (язык). Для того чтобы понять смысл коммуникации и трезво выяснить социальные условия его эффективности, мы должны проанализировать сначала эти три понятия и связанные с ними проблемы. Так из предварительного анализа процесса коммуникации естественно вытекает план наших последующих рассуждений.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ссылаясь на «Геракла» Лукиана, об этом пишет Стефан Чарновский в работе «Herakles Galijski» (utw. t. III, Warszawa, 1956).

<sup>2</sup> Ср. J. O. U r m s o n, *Philosophical Analysis*, Oxford, 1956.

<sup>3</sup> Ср. очень важные в этом отношении критические очерки Макса Блэка в его работе «Language and Philosophy».

<sup>4</sup> Мы говорим о философском аспекте теории коммуникации. Она имеет также и другие аспекты: психологический, лингвистический, а особенно широко развивающийся в настоящее время технический аспект.

<sup>5</sup> С. К. Огден, J. A. Richards, *The Meaning of Meaning*, London, 1953, p. 8.

<sup>6</sup> Уилбер Маршалл Урбан в «*Language and Reality*» (Лондон, 1951) дает в главе VI «Интеллектуальная коммуникация» очень ясную картину этого спора. Сам Урбан высказывается в пользу трансцендентальной концепции, явно идя по следам Канта.

<sup>7</sup> Ср. К. Ясперс, *Philosophie*, В. 2, «*Existenserhellung*», Berlin, 1932. Глава III «Коммуникация» посвящена разбору экзистенциалистской теории коммуникации.

<sup>8</sup> Ср. J. Dewey, *Experience and Nature*, London, 1929, chapt. V.

<sup>9</sup> Урбан, цит. соч., стр. 232.

<sup>10</sup> Ср. его «*La pensée et le mouvant*», chapt. VI «*Introduction à la métaphysique*».

<sup>11</sup> Ср. Idee zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.

<sup>12</sup> См. Урбан, цит. соч., стр. 242.

<sup>13</sup> Ясперс, цит. соч., стр. 67.

<sup>14</sup> К. Vassler, *Geist und Kultur in der Sprache*, Heidelberg, 1925.

<sup>15</sup> Фосслер, цит. соч., стр. 13.

<sup>16</sup> Урбан, цит. соч., стр. 255—256.

<sup>17</sup> Там же, стр. 259.

<sup>18</sup> Там же, стр. 260 (курсив мой.—А. Ш.).

<sup>19</sup> Гл. XXI «Теория коммуникации».

<sup>20</sup> Дьюи, цит. соч., стр. 179.

<sup>21</sup> Там же, стр. 185.

<sup>22</sup> A. Gardiner, *The Theory of Speech and Language*, Oxford, 1951, p. 18.

<sup>23</sup> К. Маркси Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 20—21.

<sup>24</sup> К. Маркси Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 520—521.

<sup>25</sup> Урбан, цит. соч., стр. 264.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> Ср. G. A. Lundberg, C. C. Schrag and O. N. Larsen, *Sociology*, New York, 1954, p. 389.

<sup>28</sup> Там же, стр. 360.



# Знак, его анализ и типология

## 1. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ АНАЛИЗА ЗНАКА

Положение о том, что исходным пунктом проблем семантики должен быть общественный процесс коммуникации, находит свое яркое подтверждение в проблематике знака и значения. Ибо если пренебрегать в этих основных для семантики проблемах их общественным, социологическим аспектом, то можно забрести (в истории эта возможность нередко превращалась в действительность) в безысходный тупик вербализма и формализма.

Для того чтобы правильно ответить на вопрос, *как* протекает процесс коммуникации между людьми, чтобы ответить, в частности, на вопрос, архиважный с социальной точки зрения, что помогает, а что мешает в достижении эффективной коммуникации между людьми, мы должны точно проанализировать такие категории, как «знак» и «значение», должны точно представлять смысл этих выражений. Но именно потому, что знак и значение входят в число составных элементов процесса коммуникации, исходным пунктом их анализа должен быть в свою очередь социальный процесс коммуникации. Анализ, оторванный от этого процесса, будет односторонним, а часто совершенно искаженным. Таков уж характер диалектики взаимоотношений части и целого!

Конечно, можно заняться типологией знаков или же философской спекуляцией на тему о сущности знаков в отрыве от социального фона процесса коммуникации. Нетрудно указать на примеры такого рода анализа, производимого на протяжении богатой истории этой проблемы. Можно также стать на точку зрения, что социальный генезис проблематики очевиден и молчаливо предполагается, но что это предположение не вносит новых элементов в анализ и потому не следует приплетать его сюда. И эту

точку зрения можно, разумеется, проиллюстрировать историческими примерами. При этом в обоих случаях мы имеем дело с точкой зрения, которая, отрывая анализ знака и значения от его естественной социальной базы, широко открывает двери для бесплодной философской спекуляции.

Проблема сущности и роли знака, а в результате проблема типологии разных его форм и разновидностей обнаруживается полностью лишь тогда, когда он рассматривается в рамках проблемы: *как* люди понимают друг друга, *как* они осуществляют между собой коммуникацию.

Следует прямо сказать, что мы говорим здесь о *человеческом* процессе взаимопонимания, коммуникации. Коммуникация — в той или иной форме — выступает (об этом уже говорилось) не только в сфере развития человека, но и животного. Поэтому и говорится часто, конечно в определенном специфическом значении, не только о коммуникации животных, но и о знаках и сигналах, выступающих в процессе их совместной жизнедеятельности. Вместе с тем здесь речь идет о многозначных понятиях, которые могут затуманить проблему и вызвать многочисленные недоразумения.

Ясно, что в животном мире существует процесс коммуникации, поскольку там тоже выступает процесс совместной жизнедеятельности, который является *sui generis* процессом общественной деятельности. Всякое взаимопонимание в своем генезисе неразрывно связано с сотрудничеством (в широком смысле этого слова, охватывающем как совместный труд, так и борьбу). Ибо в совместном действии кроются потребность и источник коммуникации между сотрудничающими друг с другом индивидами. Подтверждается правильность слов поэта, который говорил, что в начале было *дело*. В практике, то есть в совместном действии, преобразующем мир (на уровне человека мы говорим здесь об общественной деятельности), философия (научная, а не спекулятивная) как раз и ищет ключ к решению (по крайней мере в генетическом смысле) многих проблем из области сознания. Это касается и процесса коммуникации и проблемы знака.

Пчелы в улье сотрудничают при сборе меда, подобным же образом сотрудничают муравьи, олени в стаде и т. п. В каждом из этих случаев мы имеем дело со своеобразным процессом коммуникации пчел, муравьев, оленей и т. п.

Каким-то своим «танцем» пчела, побуждающая других пчел к вылету, дает им «знаки». Все это весьма интересно и раскрывает огромную проблематику исследований, причем не только в области психологии животных. Тем не менее очевидно, что мы имеем в виду нечто другое, говоря о взаимопонимании, знаках и т. п. в случае с животными, чем в случае с людьми и человеческим обществом. Ради ясности и однозначности следует тотчас же отбросить туманную аналогию и опирающиеся на нее спекуляции и ограничить сферу наших интересов специфически человеческим процессом взаимопонимания, пользования знаками и т. п. Говоря здесь о специфически человеческом процессе коммуникации, я никак не предопределяю трактовку характера этого процесса у животных, а только сознательно ограничиваю сферу анализа. Это не только позволимый, но даже в конкретном случае необходимый способ исследования.

Люди понимают друг друга различными способами, и различными — в особенности на высших уровнях процесса коммуникации, когда в нем участвуют не только биологические, производственные и т. п. стимулы, но также и потребности обмена абстрактными мыслями, эмоциональными побуждениями и т. п., — являются также источники различных конкретных проявлений этого процесса. Однако всегда люди достигают взаимопонимания с помощью той или иной формы знаков. Именно отсюда происходит практическое и теоретическое значение знака, отсюда исходит и потребность определенной теории знака.

Люди договариваются с помощью жестов, с помощью звукового языка, с помощью письма, образов, условных сигналов и т. п. Но во всех этих случаях мы имеем дело со знаками. Как жесты, так и звуки речи, письмо, сигналы и т. п. — это какие-то формы знаков, которые в систематизированной форме составляют некий образ языка.

Именно потому, что человек всегда договаривается с другими людьми с помощью знаков, вся общественная жизнь наполнена знаками, невозможна без них. Даже те пресловутые академики с острова Балнибарби, о которых Гулливер говорит, что они, для того чтобы сберечь силы в процессе говорения, носили при себе все предметы, связанные с их разговором, все же вынуждены были пользоваться знаками, хотя и самыми примитивными: указа-

тельными жестами, жестами, имитирующими образы. Поэтому не удивительно, что знаки, издавна являющиеся предметом интереса со стороны философии, в настоящее время признаны некоторыми философскими направлениями в качестве главного предмета исследований. Например, Сусанна Лангер, автор интересной работы, озаглавленной «Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art», видит в проблемах знака и символа даже предзнаменование обновления философии, которая находится, по ее мнению, в состоянии кризиса вследствие того, что традиционная проблематика исчерпалась. Можно скептически относиться к такого рода крайним взглядам, но, несмотря на это, надо сказать, что проблема знака в исследованиях различных философских дисциплин выдвигается — в разнообразных формах — все более и более на один из первых планов. И следует сказать — вполне заслуженно.

Мы ограничили выше сферу наших интересов специфически человеческим процессом коммуникации; теперь ограничим ее еще более — сферой интеллектуальной коммуникации, исключив те процессы, которые связаны с передачей людьми друг другу эмоциональных состояний внеинтеллектуальными средствами. В понимаемом так процессе коммуникации дело идет о том, что некое интеллектуальное, познавательное содержание переносится от человека к человеку с помощью тех или иных знаков. Когда я говорю, пишу, жестикулирую, когда произвожу знаки, характеризующиеся сходством с обозначаемыми предметами или символизирующие некие абстракции и действия, когда я привожу в действие конвенционально установленные сигналы и т. д. и т. п., — в каждом из этих случаев данный знак соединяется для меня с определенным мысленным содержанием, и я использую его, чтобы вызвать в *ком-то другом* то же самое содержание. Иначе говоря, в процессе коммуникации знак имеет *одно и то же значение* для лиц, участвующих в коммуникации, и процесс коммуникации состоит в *передаче значений* с помощью знаков

Здесь следует различать два вопроса: коммуникацию в смысле *передачи значений* и коммуникацию в смысле *передачи убеждений*. Эти два вопроса часто выступают в литературе по данному предмету не только вместе, но и полностью смешанными друг с другом, что, конечно, не

упрощает и без того весьма сложной проблематики. Смысл этого различия можно проиллюстрировать таким примером. Если мне кто-то сообщает мысль о всесии бога, я прекрасно понимаю смысл высказанной моим партнером по разговору мысли, но отсюда совершенно не следует, что я согласен с ним. Ибо недостаточно понять значение слов или других использованных в конкретной ситуации знаков, чтобы разделять убеждения того, кто высказывает данные слова или использует данные знаки. Создание общих и согласованных убеждений требует не только одинакового понимания высказанных мыслей, но и общего признания правоты этих мыслей. Нас здесь будет интересовать только процесс коммуникации в смысле перенесения, передачи значений и роль знака в этом процессе<sup>1</sup>.

Какие типы знаков выступают в процессе человеческого взаимопонимания и каков их характер? — ответ на этот вопрос будет своеобразным анализом и типологией знаков, составляющей введение в анализ значения.

Как мы уже отмечали, исходным пунктом анализа знака, а в результате и значения (знак и значение — это не два каких-то самостоятельных «бытия», а цельное явление, разбиваемое лишь в процессе исследования на отдельные части или аспекты) является процесс коммуникации, то есть определенная *социальная деятельность*. Этот исходный пункт существен для марксистского анализа проблемы. Он составляет также рациональное содержание некоторых попыток бихевиористского, прагматического и операционалистического анализа (например, у Пирса, Дж. Мида или Морриса). Подходя к проблеме с этой стороны, мы видим в процессе коммуникации (а в особенности в понимании этого процесса как эффективного перенесения убеждений) попытку «вчувствоваться» в роль партнера. В литературе мы находим правильную аналогию с игрой в шахматы: играющий должен всегда обдумать не только собственный план наступления, но и возможные планы противника, то есть он должен «вчувствоваться» в его возможности понимания и оценки отдельных ходов на шахматной доске. В таком понимании роли партнера и в попытках «вчувствоваться» в его ситуацию заключено существо общественного диалога, связанного с соучастием и тем самым со взаимопониманием. В этом именно и заключается диалог *sensu stricto*, то есть обмен мыслей, передача значений с *помощью знаков*.

Просвещенные мужи из Балнибарби носили мешки с вещами, чтобы не говорить. Идея оказалась тщетной не только из-за необходимости таскать огромные тяжести. Как мы уже указывали, даже в этом крайнем, абсурдном случае нельзя исключить использования знаков, как, например, жестов, указывающих на определенные действия или имитирующих их. Но самая важная проблема заключается в другом: почтенные мудрецы могли экономить работу своих легких, но они не могли совершить такого чуда, чтобы исключить мышление языковыми категориями. И это объясняется просто тем, что другого мышления нет, а на тему «истинного познания» или «непосредственного познания» можно в лучшем случае строить только философские спекуляции. Мы не будем здесь вдаваться в специальные исследования, можно ли в системе мышления с помощью или посредством всякого типа знаков усматривать критерий человечества, критерий отличия человеческого мира от мира животного; хотя, кажется, все указывает на то, что это действительно один из возможных критериев (впрочем, неразрывно связанный с другими, особенно с критерием труда). Но совершенно неоспоримый факт, и это для нас в данной связи имеет наибольшую ценность, что на этапе звукового языка и связанной с ним понятийной системы каждая другая система знаков, то есть каждый другой *sui generis* язык, зависит от звукового языка в том смысле, что заменяет звуковой язык и в конечной стадии коммуникации становится *переводом* на этот язык. Иначе говоря, он составляет систему знаков других знаков (звукового языка). То, что некоторыми этот факт не замечается при рассуждениях на тему о разных системах «языков», является серьезной ошибкой, чреватой нежелательными теоретическими последствиями; прежде всего это наводит на ложную мысль о равноправии и автономности таких «языков». Опасность упомянутой ошибки подтверждает, в частности, правильность нашего тезиса о плодотворности понимания проблем семантики с точки зрения *коммуникативного* процесса в целом. Только опираясь на социальный анализ проблемы, можно увидеть правильную иерархию различных систем знаков, установить взаимозависимость разных «языков».

Обоснованный таким образом анализ знаков показывает, во-первых, их разнородность и в известном смысле иерархическое расположение с точки зрения значения

и роли в процессе коммуникации людей, а во-вторых однородность в смысле наличия в них некой общей черты, а именно той, что все знаки, целесообразно созданные для потребностей коммуникативного процесса, являются *носителями* значений, поскольку все они *производны* по отношению к звуковому языку, если говорить об их актуальной коммуникативной функции.

Выяснению именно этого положения и связанной с ним типологии знаков будут посвящены следующие рассуждения данной главы<sup>2</sup>.

## 2. ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ТИПОЛОГИИ ЗНАКОВ ГУССЕРЛЕМ

Огромная литература по данному предмету, в которой изложены различные теории знака, а тем самым и различные, часто прямо противоположные предложения относительно типологии знаков, подсказывает две мысли.

Во-первых, именно это обилие, а одновременно разнообразие предложений заставляют отвергнуть мысль о каком бы то ни было синтезе и подсказывают скорее идею о новой своей попытке разрешения проблемы с использованием прежних рассуждений как своеобразных мыслительных стимулов.

Во-вторых, анализ этих точек зрения показывает, что различия между ними, а также различия, касающиеся типологии, не носят только формального или терминологического характера, что за ними скрываются более глубокие, существенные проблемы. Проблемы эти следует четко установить посредством логических рассуждений, чтобы лучше осветить данный вопрос, а одновременно устранить господствующие здесь ошибочные взгляды.

Как мы уже говорили, исходным пунктом нашего анализа является коммуникативный процесс как некий целостный общественный процесс. Выдвигая такое теоретическое положение, мы отнюдь не утверждаем, что с него действительно начинается путь исследования. Нет, это не положение, принятое априори, а положение, к которому мы пришли *в результате* проведенных исследований и умозаключений. В другой связи мы уже говорили, ссылаясь, в частности, на Марксову практику, что использование такого метода является нормальной вещью в науке.

Таким образом, принимая за исходный пункт процесс коммуникации, очевидный, но сложный по своему протеканию и функциям факт, что люди в своей деятельности, то есть в *совместной деятельности* (ведь всякая деятельность является общественной), договариваются друг с другом, передавая с помощью знаков определенные значения, а в результате определенные познавательные акты и убеждения, мы создаем своеобразные рамки и базу для анализа знака.

Представляется совершенно тривиальным утверждение, что мы имеем дело со знаком только тогда, когда тот или иной предмет, свойство или реальное событие будут включены в коммуникативный процесс. Однако мы убедимся, что это утверждение отнюдь не тривиально, что оно имеет важное значение для правильного понимания характера знака и для соответствующей типологии знаков.

Мы говорим, что замерзание воды есть знак падения температуры, что «лисья шапка» вокруг луны есть знак надвигающейся непогоды, что — если обращаться к другой категории примеров — черное является знаком печали, выстрел красной ракеты — условным знаком (сигналом) какого-то действия, определенный звук означает то-то и то-то, ибо он является знаком (словесным знаком) определенного языка и т. п. Но ведь «само по себе» замерзание воды есть естественный процесс, а не какой-то знак. Подобным образом и красные блики на небе, черный цвет, определенные колебания воздушных волн — это тоже «сами по себе» какие-то предметы, какие-то их свойства, какие-то реальные события, а не знаки. Лишь в *рамках человеческого процесса коммуникации* эти естественные явления, предметы, события и так далее становятся еще чем-то — звеном общественного процесса, его элементом, называемым знаком.

Это утверждение не ново, как, впрочем, не нов и постулат о начале анализа элементов коммуникации от социальной обусловленности этого процесса. Оно не является исключительной заслугой и собственностью марксизма, хотя марксизм создает потенциально наиболее последовательную и прочную основу для такого именно типа анализа. Конкретную проблему — как вещи и реальные события становятся знаками в рамках процесса коммуникации людей — видел и прекрасно понимал, например, Пирс. Он со всей силой подчеркивал, что вещь, свойство вещи



или событие функционируют как знак только тогда, когда они интерпретируются, то есть когда существует кто-то, кто в процессе коммуникации выступает в роли интерпретатора данной вещи, события и т. д. как знака. Этот взгляд и в настоящее время поддерживается, например, Моррисом, составляя одну из основных идей его семиотики, которая идет, кстати, от Пирса; взгляд этот разделяет также Сусанна Стеббинг («A Modern Introduction to Logic») и другие. Речь идет, таким образом, не о том, новое ли это утверждение и кому принадлежит в этом смысле приоритет. Речь идет о том, в контексте какой системы это утверждение выступает и какие выводы делаются из него.

Следует помнить, что усиленный интерес к проблематике знака и символа создал в современной философии не только новое поле исследований и поисков, но также и новые возможности для философской спекуляции. Достаточно указать для примера на основные идеи теории символов Кассирера, чтобы убедиться, что идеалистическая спекуляция сможет использовать для своих целей всякую новую концепцию. Кассирер, безусловно, серьезный мыслитель и имеет большие заслуги в области анализа и развития учения о символизме, «создания» действительности путем символов и т. п. Однако от его утверждений о якобы врожденной функции символизации веет идеалистической спекуляцией, и их нельзя принять, не одобряя одновременно их идеалистической философской базы.

Первым результатом последовательного применения положения в том, что знак следует анализировать в контексте процесса коммуникации, то есть что знаком может быть только предмет или явление в рамках этого процесса (предмет или явление, соответственно кем-то интерпретируемые), является подрыв и даже ниспровержение принятых традиционно попыток типологии знака. Я имею в виду прежде всего взгляды Гуссерля, которые оказали огромное влияние на литературу, касающуюся знака и значения.

Как в разговорном языке, так и в попытках научного уточнения понятий поражает огромная многозначность термина «знак». Поражает одновременно необычайная неустойчивость и даже просто произвольность в терминологических различиях между «знаком», «признаком», «символом», «сигналом» и т. п. Не удивительно, что попытки выяснения функций знака связаны самым тесным обра-

зом с попытками какой-то его типологизации, которая позволила бы установить иерархию знаков с точки зрения их объема и содержания, а тем самым упорядочить терминологическую проблему.

Что прежде всего бросается в глаза в таких попытках типологизации? Пожалуй, разделение вещей и явлений, функционирующих в качестве знаков, на такие, которые имеют естественный характер, выступают независимо от целенаправленной деятельности человека и лишь *ex post* интерпретируются человеком как знак чего-то, а также такие, которые являются продуктом сознательного общественного творчества человека, вызванным к жизни с целью функционирования в качестве знака. Первые мы называем *естественными*, вторые — *собственными* или *искусственными* знаками.

Ведь в каком-то смысле мы говорим, что замерзание воды есть знак падения температуры, что «лисья шапка» вокруг луны есть знак приближающейся непогоды, что морщины на лице человека есть знак старения и т. п. В каком-то смысле мы говорим, что черный цвет есть знак траура, что цвета знамени есть национальный знак, что выстрел красной ракеты есть знак начала наступления, что памятник есть знак какого-то исторического события, что узелок на платке есть знак, который должен напомнить нам о какой-то обязанности, и т. д. И уже в другом смысле мы говорим, что высказываемые нами слова суть звуковые знаки, что написанная фраза есть письменный знак, что подмигивание глазом есть знак взаимопонимания, что определенное количество точек и тире или коротких и долгих звуков есть знак азбуки Морзе, что некоторые фигуры, изображенные чернилами, суть математические или логические знаки и т. п. Все это в каком-то смысле знаки, но знаки разные и в разных значениях.

Говоря далее о знаках *tout court*, мы будем иметь в виду собственные, то есть искусственные знаки в том понимании, что они сознательно производятся человеком в целях коммуникации с другими людьми. Правда, естественные знаки (признаки, симптомы) подпадают под общую категорию «знак» и так классифицируются нами, но они принципиально отличаются от всех иных категорий знаков; они отличаются прежде всего тем, что не производятся сознательно или вызываются к жизни человеком в целях коммуникации, а существуя независимо, как

естественные процессы, они только *ex post* используются человеком как источник информации и функционируют в таком случае так, как если бы были нормальными знаками, то есть так, как если бы кто-то сознательно вызвал их к жизни или произвел с целью проинформировать кого-то о чем-то (подробную интерпретацию проблемы мы встречаем у Е. Мартинака). Интерпретируя «значение» в контексте отношений между людьми в процессе их коммуникации (об этом речь будет идти в следующей главе), мы можем за собственными знаками признать значение в непосредственном смысле и за естественными знаками — только в производном смысле. Именно поэтому — руководствуясь хотя бы соображениями осторожности, к чему склоняет нас дискуссионность проблемы, — следует четко отделять в анализе обозначения (естественные знаки) от собственно знаков (искусственных)<sup>3</sup>.

Гуссерль произвел в своих «Логических исследованиях» принципиальное разделение знаков на *Anzeichen* (показатели) и *Ausdrücke* (выражения). Первые должны указывать на что-то другое, заменяя его, другие же — выражать какую-то мысль, имея значение и составляя знак *sensu stricto*. Если взять в качестве двух крайних полюсов в широкой гамме знаков, с одной стороны, естественные знаки типа: замерзшая вода или «лисья шапка» луны, а с другой — словесный знак, то мы найдем в этом модель типологии знаков, созданную Гуссерлем. В это прокрустово ложе крайностей он пытается втиснуть все богатство явлений, носящих многозначное название «знак».

Эту типологию мы берем как предмет анализа по двум соображениям: 1) система Гуссерля, пожалуй, классическим образом представляет плачевные результаты игнорирования принципа общественного и исторического подхода к проблеме знака и значения; 2) система эта стала исключительно влиятельной в литературе. Своеобразную типологию знака с той или иной точки зрения содержит каждая работа, касающаяся проблемы знака. Мартинак, Бюлер, Моррис, Карнап, Кассирер, Лангер (имена этих авторов я привел лишь для примера) — каждый устанавливает свою типологию знаков. Однако ни одна из этих попыток не может сравниться с точки зрения своего влияния с типологией Гуссерля. Можно, правда, утверждать, что Пирс был предшественником Гуссерля (он использовал другую

терминологию: индекс, иконический знак и символ, но смысл деления был почти идентичным<sup>4</sup>; тем не менее он долгое время был почти неизвестным автором и поэтому не мог оказывать никакого влияния своей теорией.

Исходным пунктом критического анализа является, таким образом, деление знаков на показатели (*Anzeichen*) и выражения (*Ausdrücke*), или экспрессивные знаки, причем — согласно Гуссерлю — только эти последние исполняют функцию выражения мысли, или, иначе говоря, что-то *означают*. Это деление, несомненно, принимает во внимание специфику словесных знаков и специфическое экспрессивное свойство, которое в литературе чаще всего называется «прозрачностью для значения». Этим выражениям (*Ausdrücke*) противопоставляются все другие знаки как *Anzeichen*, стирая возможные различия между ними (которые между тем могут быть значительными), а также лишая их функции *выражения*. Типология Гуссерля принимает также во внимание — и, безусловно, правильно — специфику признаков, то есть естественных знаков. Но он одновременно стирает различия между столь разнообразными признаками и различного типа знаками, которые автор подводит под ту же самую категорию (в особенности имеются в виду такие знаки, которые мы назвали бы сигналами, символами, иконическими знаками и т. п.). Признаки *Anzeichen* Гуссерля — это не признаки (естественные знаки), согласно нашей классификации, а все знаки, которым не присущи специфически понимаемые Гуссерлем антиинтенциональные акты (об этом речь пойдет в главе о значении), а тем самым значение. Нельзя, таким образом, путать типологию Гуссерля с точкой зрения, требующей исключения признаков из анализа собственно знаков, ибо его показатели (*Anzeichen*) охватывают как признаки, так и все действительные знаки, кроме словесных. И в этом состоит принципиальная ошибка всей концепции, ошибка, вытекающая из отрыва анализа знака от процесса коммуникации. Кто видит эту связь, кто понимает, что *всякий* знак включен в процесс коммуникации и вне этого контекста теряет свою функцию знака, что каждый знак является вещью или явлением, каким-то образом кем-то *интерпретируемым*, тот должен отбросить как в корне ложную концепцию, которая гласит, что только *некоторые* знаки экспрессивны, то есть выражают мысль, имеют значение. Как раз наоборот —

все знаки имеют значение, выражают мысли, и только постольку, поскольку они выполняют эту функцию, являются знаками. Все знаки выступают в процессе коммуникации вкупе с языковым мышлением или просто как своеобразный его перевод (в соответствии с определенным кодом). И это происходит потому, что человек не может мыслить иначе, как с помощью словесных знаков (в той или иной форме), а всякий иной вид знака произведен, то есть заменяет словесные знаки. Теория *Anzeichen* этого не видит, так как вырывает знак из общественного контекста процесса коммуникации, рассматривает его абстрактно как нечто изолированное и самостоятельное. В результате Гуссерль не только отрывает *Anzeichen* от *Ausdrücke*, но даже противопоставляет их. Фактически же категории эти самым тесным образом связаны друг с другом и не только не противопоставляются друг другу, а выступают связно, я бы сказал: то, что Гуссерль называет *Anzeichen*, «насыщено» тем, что он называет *Ausdrücke*. Типология, признающая их противоположность, опирается поэтому на ошибочные исходные основания.

Все действительные знаки (а значит, и большая часть *Anzeichen* Гуссерля) значимы. В этом смысле они что-то выражают, а именно соответствующую мысль, которая содержится в значении знака. Но если слово «выражать» мы будем понимать иначе, а именно связывая его с информацией об эмоциональных, не интеллектуальных переживаниях, то в этом смысле могут нечто выражать также и признаки (естественные знаки). Например, слезы выражают грусть, румянец — стыд, стеснение и т. д.

Пчела общается как-то с другими пчелами своим «танцем», олень, побуждающий стадо к побегу своим рыком и ударами рогов, тоже как-то вступает в коммуникацию с этим стадом. Человек порой поступает подобным образом в коммуникации, когда, например, рукой останавливает пешехода на проезжей части дороги и без слов указывает ему на несущийся автомобиль. Но это нечто совершенно иное, чем соответствующее ситуационное общение животных. За обычным движением и жестом как у меня, так и у лица, с которым я общаюсь (допустим, что я нахожусь в иностранном государстве, языка которого не знаю), кроется определенное содержание, что оба мы *переводим* его для себя (иногда на разные языки) на словесные знаки: «Внимание, опасность!» и оба осознаем, что мы это

так одинаково понимаем. Если по каким-либо причинам перевод на словесные знаки будет разный (например, из-за различного движения головой в знак согласия или несогласия в Европе и большей части Азии), взаимопонимание не достигнет своего результата. Это особенно видно, когда речь идет о сигналах, символах и т. п.

Подобным же образом дело обстоит с так называемыми естественными знаками, хотя их специфика заставляет нас выделить их в особую категорию. Когда катится лава, ей сопутствует грохот падающих камней и скал. Но этот грохот становится знаком того, что движется лава, а тем самым сигналом к побегу только тогда, когда есть люди, которые соответствующим образом *интерпретируют* это явление природы. Само по себе оно не что иное, как только колебание воздуха, возникающее вследствие естественных причин. Это колебание воздуха становится знаком (признаком), когда его воспринимают люди и когда люди эти понимают, проявлением чего является слышимый ими звук. Это очень важно. Но одного только существования людей недостаточно, чтобы явление могло быть интерпретировано и стало знаком. Эти люди должны иметь знание о данном явлении, понимать его, чтобы иметь возможность правильно интерпретировать его. Римлянин, который встречал человека с тавром на лбу, прекрасно понимал, что это раб. Мы бы скорее подумали, что такой знак на лбу — это свидетельство какого-то происшествия. Не зная, что значит красная точка, которую мы видим на лбу некоторых индийских женщин, мы не можем интерпретировать этот знак. Для бушмена из Экваториальной Африки, который не имеет специального образования, замерзшая вода была бы просто твердым предметом с определенными свойствами на осязание, на вид и т. д., но не знаком (признаком) соответствующего снижения температуры.

Ни одно из естественных явлений не представляет собой, следовательно, «само по себе» знак (признак) и ничего «само по себе» не значит. Иначе обстоит дело, когда такое явление выступает в рамках процесса коммуникации. Но как оно попадает в контекст этого процесса? Через наш опыт, через нашу практику. Когда мы познаем данное явление природы — его причинно-следственные или структурные закономерности, — мы начинаем их воспринимать так, словно они были вызваны специально для взаимопонимания, то есть созданы в виде знака. В качестве

«партнера» в процессе взаимопонимания в этом случае выступает природа, которая «сообщает» нам что-то. Вследствие этой своеобразной персонификации естественных явлений стирается различие между признаком и искусственным знаком. Явление природы, отнюдь не изменяя своего характера, начинает функционировать *для нас*, в контексте нашего процесса коммуникации (предполагая, что мы познали закономерности, управляющие данным явлением) как знак, начинает что-то выражать, получает значение. Но все это представляет собой что-то дополненное к явлению природы, дополненное к процессу коммуникации и выступает только в его рамках. Функция признака есть что-то вторичное с точки зрения природного процесса и всегда отнесена к определенному познавательному процессу, а впоследствии — к определенному процессу коммуникации. В этой своей функции признак так же, как и всякая форма знака, произведен в отношении к коммуникации словами, а именно в том смысле, что акт понимания признака всегда опирается в конечном счете на мышление посредством словесных знаков.

Итак, все знаки, кроме словесных, светятся отраженным светом, так или иначе заменяют словесные знаки и в процессе своей интерпретации всегда переводятся (хотя перевод этот порой принимает краткую форму) на язык слов. Все это потому, что мы мыслим всегда с помощью слов<sup>6</sup>. Именно это я имею в виду, когда говорю, что все знаки, поскольку они служат коммуникации людей, «насыщены» языком слов, а тем самым и присущим этому языку значением. Не все знаки выражают мысль *одинаково*; напротив, уже из этих общих замечаний видна принципиальная разница между непосредственным и опосредствованным, заменяющим способом выражения мысли, или же разница между функционированием признаков, с одной стороны, и действительных знаков — с другой. Но все знаки в каком-то смысле экспрессивны, и они должны быть такими, если они вообще являются знаками.

Таким образом, разделение знаков Гуссерлем на *Anzeichen* и *Ausdrücke* не выдерживает критики. Оно несостоятельно не только потому, что все знаки в каком-то смысле имеют значение, о чем уже говорилось выше, но также и потому, что все знаки в каком-то смысле *указывают*. Впрочем, это признает и сам Гуссерль, утверждая, что даже слова указывают, представляя собой *Anzeichen*

мысли. Трудно с этим согласиться, поскольку он уверяет, что мысли якобы могут возникать и существовать независимо от языка слов, а слова подбираются лишь позднее к мысли как их *Anzeichen*, указатели. Если мы стоим на позиции своеобразного органического единства мышления и языка, мы должны отвергнуть такую концепцию как спекулятивный вымысел, противоречащий всему, чему учит нас психология или физиология о процессах мышления. Но, выдвигая эту концепцию, Гуссерль тем самым ниспровергает основы своей собственной типологии. Порочное и непоследовательное разделение (и это касается *обоих* выделенных компонентов) делает эту типологию неприемлемой для нас.

### 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКА

Из всех этих рассуждений (критический, негативный анализ имел целью выдвинуть позитивные предложения) явно вытекает, что в споре с Гуссерлем речь шла отнюдь не о формальных и терминологических вопросах (хотя речь также идет и об этом). На первый план выдвигается специальный вопрос: что мы понимаем под знаком, а также в каком контексте можно понять его характер и произвести правильную классификацию всевозможных его разновидностей?

Всякая попытка типологии начинается обычно с определения знака. Иначе как иерархическое расположение, так и типология знаков были бы затруднены. Именно поэтому мы и начнем с такого определения. Сделаем, однако, некоторые оговорки, ограничивающие наши намерения.

Как мы уже говорили (не пытаюсь обосновать это глубже, так как нам еще не хватало необходимых для этого элементов), знак составляет целое, разделяемое на части и аспекты — лишь путем мысленной абстракции. Из структуры данной работы видно, что проблематикой значения мы займемся только после рассмотрения типологии знака. Без этих предварительных исследований нельзя надлежащим образом взяться за эту проблематику. Однако, к сожалению (это довольно частое неудобство во всех попытках систематического изложения), недостаток анализа значения затрудняет в свою очередь анализ знака. Вывод отсюда таков: мы коснемся здесь определения знака



лишь в самом общем виде, необходимом для дальнейших рассуждений.

Кроме того, по указанным выше соображениям, заставляющим нас выделить анализ проблемы обозначения в нашем определении, мы ограничимся собственно знаками, то есть искусственными знаками.

Подходя к проблеме с точки зрения процесса коммуникации, то есть *par excellence* общественного процесса, мы всегда принимаем в качестве исходного пункта конкретный язык, знак которого есть его составная часть, элемент, мы стараемся понять характер этой части и ее функции в целом. В этом контексте не подлежит сомнению, что каждый знак как элемент какого-то языка (слов, жестов, кода и т. п.) должен быть значащим знаком, то есть выражающим какие-то мысли — будь то непосредственно или опосредствованно. Но сверх того здесь выступает еще нечто: явное функционирование знака как средства коммуникации и в целях коммуникации. Понимание этого факта влечет за собой далеко идущие выводы для подхода к знаку, для его определения.

Понимание знака в связи с процессом коммуникации (языком) ведет по крайней мере к двоякому соотношению знака; он выступает здесь не просто как предмет, состояние или явление (именно они функционируют в определенных ситуациях как знаки), а как отношение. Говоря о знаке как об отношении, мы вводим в кратких чертах следующую мысль: предмет и т. д., выступающий как знак, остается в определенных и сложных общественных отношениях с людьми, которые используют его в качестве знака; с действительностью, которую он означает или с которой он как-то по-иному связан знаковым отношением; с другими знаками, с которыми он создает какую-то языковую систему и в контексте которых он лишь и становится понятным и т. п. Имеется в виду, следовательно, соотношение знака с *общающимися определенным, социально обусловленным способом людьми*, а также с *предметом*. Из этого двоякого соотношения, а не соотношения — как это чаще всего делают — только с предметом вытекает на первый взгляд тривиальная вещь, но чрезвычайно важная для правильного анализа знака: главной функцией знака является *коммуникация*, сообщение кому-то чего-то, *информирование* кого-то о чем-то. Это, безусловно, функция, общая всем категориям знака, и на нее должна опи-

раться дефиниция знака. *Всякий материальный предмет, его свойство или реальное явление становятся знаком, если они в коммуникативном процессе служат в рамках принятого собеседниками языка для передачи какой-нибудь мысли о действительности, то есть о внешнем мире или внутренних переживаниях (эмоциональных, эстетических, волевых и т. п.) какой-нибудь из общающихся сторон.*

Такое определение знака весьма общо и учитывает только одну (хотя, на мой взгляд, главную) сторону проблемы. Оно подчеркивает упомянутую выше черту, свойственную всем разновидностям знака: информирование о чем-то, сообщение чего-то. Положительной стороной этой дефиниции является одновременно то, что на основании ее мы сможем приступить к попытке классификации знаков, к их типологии.

#### 4. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ ЗНАКОВ

Задачей типологии знаков является выделение отдельных разновидностей знака по их специфике из общей массы и установление взаимной связи, а также возможной иерархии.

Как мы уже упоминали ранее, в связи с большим разнообразием знаков существует богатая терминология, служащая для их обозначения, но в области этой терминологии царит большой произвол. Не было бы ничего предосудительного, если бы терминологические различия были связаны исключительно с различными конвенциями. Так действительно обстоит дело во многих случаях. В этих случаях речь идет о том, чтобы точно понять данную конвенцию и ее возможную правомерность. Ведь известно со времен Платона, что не существует естественной связи между звучанием слов и их значением и что нет никакой преграды, чтобы в случае необходимости изменить терминологию. Однако есть два момента, которые следует иметь в виду и которые должны сдерживать слишком далеко идущий произвол в решении этих вопросов. Во-первых, следует помнить, что за терминологическими различиями могут скрываться различия по существу, что проявляется хотя бы в разнообразии классификации явлений и что уже не является делом лишь соглашения. Во-вторых, не следует без достаточных оснований разрушать сложив-

шея словоупотребление и современное значение слов, потому что это вызовет дополнительные сложности и запутает дело (в особенности если речь идет о словах, которые имеют уже прочное традиционное значение в живом языке).

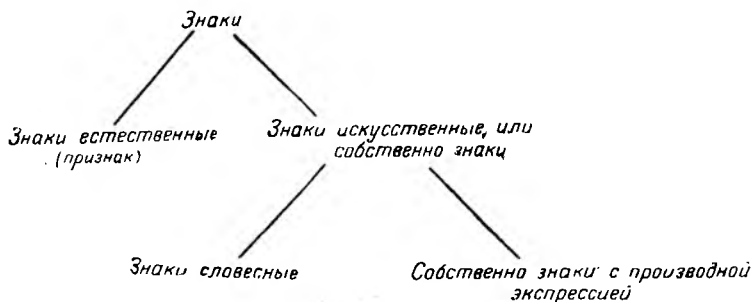
У разных авторов — различные основания деления знаков, а отсюда и различные, опирающиеся на те или иные основания принципы типологий. Еще большее разнообразие царит в области терминологии. Вдаваться в критику отдельных систем нет смысла. Это отяготило бы наш анализ и сделало бы его неудобоваримым. Мы можем отказаться от этого.

Конечно, некоторые общие принципы деления, имеющиеся в литературе по данному предмету, могут оказаться полезными в той или иной ситуации. Например, большое значение имеет уже упоминавшееся деление на естественные и конвенциональные знаки. Может быть использовано деление знаков по объему (Моррис) на индексные, характеризующие и универсальные. Может казаться плодотворным выделение вслед за Карнапом знака как события и знака как обозначения, что является преобразованием старой идеи Пирса (а также Витгенштейна), касающейся различения знаков как *token* и как *type*<sup>6</sup>. Но подобно тому как нельзя согласиться с разделением знаков у Гуссерля на показатели и выражения, так нельзя согласиться и с типологией Пирса, который делит знаки с точки зрения их отношения к предмету на индексы, иконические знаки, а также символы; с типологией Морриса, который выделяет в рамках знака только сигналы и символы, сознательно придавая этим терминам смысл, отличный от существующего; с типологией Бюлера, который, приписывая терминам своеобразные значения, выделяет знаки, признаки и символы; с типологией С. Лангер (естественные, искусственные знаки, символы) или со Стеббинг (знаки, выражающие, внушающие и замещающие) и т. д. и т. п. Каждой из этих концепций можно вменить в вину либо недостаток единого принципа деления, либо частичное наложение объемов друг на друга, либо очевидную произвольность этого принципа и т. п. Каждую из них, следовательно, мы можем использовать как своеобразный материал для размышлений, но не одну из них мы не могли бы принять как собственную.

Начнем с двух разделений; одно из них общепринято в литературе, другое относится к спорным вопросам.

Во-первых, знаки делятся (об этом уже была речь выше) на естественные (признаки, симптомы) и собственно знаки, или искусственные знаки.

Во-вторых, собственно знаки делятся на словесные знаки (и их письменные субституты), а также все другие. В некотором смысле (но только в некотором) это различие аналогично тому, которое произвел Гуссерль в отношении своих *Ausdrücke*. Подобие состоит в том, что признается какая-то обособленность словесного знака по отношению ко всем другим знакам (разница же состоит в том, что вся контробласть не втискивается в прокрустово ложе *Anzeichen*). Словесный знак и его специфику мы подвергнем в последующем (как раз из-за этой специфики) подробному анализу. Здесь следует повторить то, что было уже сказано ранее: благодаря особой роли звукового языка и словесных знаков в процессе мышления и коммуникации между людьми знаки эти занимают в иерархии знаков особое, главное место. Вот графическая картина произведенной классификации:



Итак, мы получили следующий результат: с одной стороны, мы выделили естественные знаки (признаки), противопоставив им искусственные знаки, или собственно знаки; с другой стороны, мы среди этих остальных выделили словесные знаки как основу процесса человеческой коммуникации, противопоставив им в свою очередь все другие искусственные знаки. В связи с оговоркой, что анализ словесного знака обособливается нами из-за его важности и специфики, уместно здесь дать только классификацию и подвергнуть анализу остальные искусственные знаки.

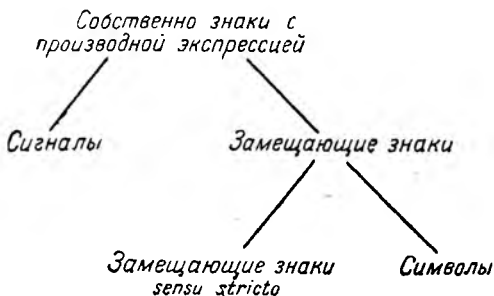
Следует ясно отдавать себе отчет в том, как далеко мы хотим идти в своем анализе, в какой мере он должен быть подробным. Ведь известно, что, например, Пирс смог выделить свыше 60 классов знаков. Производя анализ на разных основаниях, можно умножать выделенные в типологии классы, что в одних случаях может быть интересным, в других же может быть просто схоластической казуистикой. Нас в данном месте интересует прежде всего выделение больших классов знаков и выяснение смысла связанных с ними (в том числе и в живом языке) терминов.

Как мы уже знаем, каждый знак, не являющийся признаком (естественным знаком), является — в определенном значении этого слова — искусственным знаком. Большинство этих знаков одновременно договорны, тоже в определенном смысле этого слова. Знаки, не являющиеся признаками, сознательно созданы людьми в целях коммуникации. Этой цели служит либо естественное подобие предметов (состояний вещей и т. д.), либо договорное придание определенных значений предметам (состояниям вещей и т. д.), которые лишены такого подобия. Когда мы говорим об условном характере искусственных знаков — а такая условность выступает в разных их категориях (в известной степени даже там, где функционирование чего-то как знака опирается на какое-то сходство с замещаемым предметом, как, например, в случае с картами, иероглифами, картинными символами и т. п., за исключением, пожалуй, обычных подобий предметов вроде фотографии), — мы имеем в виду специальное, *социальное* понимание условности. Конечно, речь идет не о том, чтобы договор (условие) заключили *именно эти* договаривающиеся *hic et nunc* лица (хотя это и возможно), и не о том, чтобы этот договор социального, а не индивидуального характера заключался когда-либо сознательно. Искусственные знаки могут быть, как известно, вызваны к жизни путем однажды заключенного, сознательного и целенаправленного договора (например, всякие коды), но могут также выводиться из исторической практики общественного процесса взаимопонимания (классический пример — звуковой язык). В этом втором случае решающее значение имеет определенная деятельность, вытекающая главным образом из потребностей разного рода *совместной деятельности*, деятельность, социально одобряемая и естественно непрерывная, хотя и лишенная признаков сознательного договора.

Все действительные знаки, таким образом, искусственны, а в принципе и условны. То, что позволяет производить их дальнейшее деление, связано с их функцией в процессе коммуникации людей: с функцией непосредственного влияния на деятельность людей в одном случае, и с функцией замещения каких-то предметов, состояний или явлений — в другом. Под функцией замещения (субституции) я понимаю то, что знак выступает вместо какого-то предмета, его состояния или явления (эта субституция находит отражение также в деятельности людей, хотя дело обстоит отнюдь не так, чтобы появление знака всегда вызывало в деятельности людей те же самые результаты, что и замещаемый предмет, и т. п.).

Можно, правда, выдвинуть обвинение, что собственно знаки всегда являются знаками *для чего-то*, что они искусственные, созданные с определенной целью, а именно целью взаимопонимания, то есть так или иначе с целью оказывать влияние на деятельность людей. Можно также утверждать, что каждый знак есть *знак чего-то*, что он указывает «помимо себя», иными словами, он выполняет функцию замещения. Это верно. Тем не менее есть такие действительные знаки, функция которых состоит в *непосредственном* влиянии на деятельность людей (сигналы), и есть такие действительные знаки, функция которых состоит в субституции (замещающие знаки), а влияние на деятельность людей в этом случае *косвенно*. Принимая это различие функции за основу деления, мы можем в ходе нашего классифицирования разделить действительные знаки с производной экспрессией на сигналы и на замещающие знаки; эти последние мы разделим на замещающие знаки *sensu stricto* и на символы.

Вот графическая картина этого деления:



А теперь перейдем к разбору отдельных элементов вышеприведенной классификации.

#### А. Сигналы

Исходным пунктом в дефиниции сигнала для меня является современный обиходный смысл этого слова. Как известно, в литературе это слово употребляется в других, нередко произвольно выбранных значениях (например, у Морриса сигналом является каждый знак, который не является символом). Мы, однако, уже говорили, что принимаем условие, согласно которому не следует без серьезной необходимости нарушать существующие значения слов. Хотя бы потому, что это приносит больше вреда, чем пользы, так как сама процедура использования слов в новом, сознательно измененном в связи с какими-нибудь потребностями смысле в науке не только допустима, но весьма распространена.

Обычно мы не говорим (хотя Моррис велит нам так говорить), что замерзание воды в лужах есть *сигнал* падения температуры или что морщины на лице есть *сигнал* старения. Но все это совершенно соответствует нашей языковой интуиции и, мы полагаем, естественным предпосылкам классической классификации знаков, когда говорят, что появление синей ракеты в небе было для солдат сигналом начала атаки; что зеленый свет на перекрестке улиц для терпеливо ожидающих пешеходов является сигналом разрешения перехода через проезжую часть дороги; что вой сирен во время войны есть сигнал для ухода в бомбоубежище; что вой сирены кареты скорой помощи или пожарной машины для всех видов транспорта на улицах есть сигнал для освобождения пути этим машинам; что школьный звонок или фабричный гудок есть сигнал для перерыва или возобновления занятий или работы.

О чем идет речь во всех этих и им подобных случаях? Есть ли в них что-либо общее, что позволяет объединить их, несмотря на разнородность, в единый класс?

Как мы уже говорили выше, во всех этих случаях дело идет о таких знаках, главной целью которых является начало, изменение или отмена какой-либо деятельности. Это, таким образом, типичные знаки для *чего-то*, знаки, предназначенные явно для вызова определенной активно-

сти (ее изменения или приостановления) как цели коммуникации. Это, таким образом, явления *материального мира, вызванные специально или используемые в целях получить условную и согласованную (в масштабах общества, группы или индивидуально) реакцию в виде определенных проявлений человеческой деятельности.*

В том, что было сказано выше, более подробного объяснения требует только момент условности. Сигнал выступает только и исключительно там, где *explicite* был заключен договор соответствующей группой людей, для которых данное явление функционирует на сигнал.

Для того чтобы солдаты в окопах поняли появление в небе синей ракеты как сигнала для атаки, надо им заранее сказать об этом. В этом случае, и *только* в этом случае, появление ракеты для каждого означает приказ: «Вперед! В атаку на врага!» Синяя ракета при этом *замещает* определенные словесные знаки в соответствии с принятым кодом. Если бы не было именно такого договора, синяя ракета перестала бы быть знаком (сигналом) и стала бы обычным физическим явлением, лишенным *данного* свойства — передачи информации. Для посторонних людей это вообще не сигнал (они не знают договора, договоренности), подобно тому как для ожидающих условного сигнала солдат не будет сигналом выстрел, например, красной ракеты (договор был другой). Случайный выстрел синей ракеты посторонним лицом, которое не представляет себе результатов своего действия, будет, однако, понят как сигнал, ибо именно таков был договор.

То же происходит в случае зажигания и выключения соответствующего света на перекрестках улиц, изменений движений руки регулировщика уличного движения, звучания фабричного гудка в мирное время и во время войны и т. д. и т. п. Во всех этих случаях речь идет о *явном договоре* относительно значения данных физических явлений, которые чаще всего умышленно производятся одними людьми, чтобы вызвать соответствующую деятельность других. Свидетельством этого является то, что мы *учим* значения соответствующих явлений (например, мы учим правила перехода через дорогу, изучаем световые сигналы и т. п.) и без такого изучения мы не понимаем их.

И еще одно. Когда мы говорим о сигналах, то имеем в виду такой предмет (состояние или явление), который используется и производится *временно, специально* в це-



лях побуждения к *данному* действию (например, выстрел условной ракеты, когда должна начаться атака; вой сирены, когда люди должны укрыться от воздушного налета или когда налет кончился; изменение света фонарей на перекрестке улиц, когда надо пропустить или задержать пешеходов; высказывание или написание условных словесных знаков, которые, однако, не выступают здесь в своей основной семантической функции, а независимо от нее исполняют функцию условного знака для начала или прекращения какого-нибудь действия и т. д.), или же предмет, который, правда, установлен постоянно, но как сигнал *функционирует в единичной акции*, а именно тогда, когда к нему приближаются и замечают его люди, знающие соответствующую конвенцию (например, дорожные знаки для транспорта, технические приспособления с фотоэлементом, включающим в соответствующий момент световые, звуковые или другие сигналы тревоги, и т. д.).

Таким образом, в итоге сигнал будет отличаться от всех других искусственных знаков следующими чертами: 1) *его значение всегда устанавливается произвольно на основании договора соответствующей группы лиц*, 2) *всегда имеет целью вызвать соответствующее действие (его изменение или приостановление)*, 3) *выступает так или иначе в единичной акции в связи с намечаемым действием*.

Из вышеизложенных рассуждений мы видим, что сигнал является субститутутом соответствующих словесных выражений, замещая их так, как всякий код замещает звуковой язык. Образное выражение, что каждый знак «насыщен» звуковым языком и его значением, объясняется в случае с сигналом очень просто и непосредственно. Сигнал имеет значение, подобно тому, как каждый осмысленный комплекс словесных знаков, хотя имеет его иначе — косвенно, производно.

Каково же отношение «сигнала» в этом значении к «сигналу», например, в павловском смысле? Надо ясно сказать, что здесь дело идет о словах с одинаковым звучанием, но с разным значением. «Сигнал» в терминологии Павлова касается отношений из области физиологических стимулов и реакций; он составляет такую часть некой целостной ситуации, которая вызывает определенные условные рефлексы. Значит, сигнал в данном случае — это физиологический стимул в определенном значении этого слова. Здесь не только не говорится о «насыщении» значением

и о связи со звуковым языком, но и само понимание проблемы исключает потребность оперирования такого рода понятиями. Мы не углубляемся в оценку правильности и продуктивности такого понимания, лишь констатируем, что в терминологии Павлова речь идет о понятии «сигнала», совершенно отличном, нежели в разбиравшемся ранее случае. Этого утверждения здесь нам вполне достаточно.

### Б. Замещающие знаки

Другим большим классом действительных знаков являются замещающие знаки. В противоположность сигналам это знаки *чего-то*, знаки с приданной им функцией замещения, представления других предметов, состояний или явлений.

Класс замещающих знаков делится на два подкласса в зависимости от того, является ли заменяемый знаком предмет конкретным материальным предметом или же речь идет о замене (представлении) знаком, то есть чем-то материальным, абстрактных понятий, то есть чего-то такого, что действительно связано с материальным миром, его отношениями, свойствами и т. д., но само не является материальным предметом. В первом случае мы говорим о *заменяющих знаках sensu stricto*, в другом — о *символах*.

Вопрос о замещающих знаках *sensu stricto* сравнительно прост. Речь идет здесь о таких материальных предметах, которые замещают другие предметы по принципу их сходства либо договора. Типичным примером таких замещающих знаков по принципу сходства (иконические знаки) являются всякие видовые картины и образы (рисунки, фотографии, изваяния и т. д.); примером же замещающих знаков, опирающихся на договор, могут быть всякие знаки разного рода письмен (то есть письмена, знаки которых заменяют звуки речи, их группы, целые слова, предложения и т. п.). Конечно, это деление не является неподвижным, и между отдельными типами существуют переходы, чего мы сознательно избегаем, чтобы не усложнять чрезмерно анализ. Здесь выделяется только одна более серьезная проблема: каков, в частности, механизм этого «замещения» или «представления» предмета другим предметом с точки зрения мыслительных процессов? Но это уже проблема значения, к которой мы перейдем в следующей главе.

Но трудности возникают в связи с проблемой символа. И прежде всего по двум причинам: во-первых, проблема эта в высшей степени дискуссионна и по-разному рассматривается в необычайно обширной литературе; во-вторых, вопрос этот касается класса (или подкласса) знаков, которые играют чрезвычайно важную роль в разных областях общественной жизни.

Согласно представленной мною концепции, символы выступают как подкласс замещающих знаков и характеризуются главным образом тремя чертами: 1) материальные предметы представляют здесь абстрактные предметы, 2) представление опирается на договор, который надо знать, чтобы можно было понять символ, и, наконец, 3) условное представление опирается на чувственное по своей внешней форме (по содержанию же — на нечто образное, аллегорическое, на переносное значение, на мифологию, на принцип *pars pro toto* и т. д.) представление абстрактного понятия, выраженного знаком.

В таком понимании — а оно с разных точек зрения мне представляется важным — исходный пункт составляет теперешнее интуитивное значение слова «символ», что опять-таки не расходится с нашим обязательством: не нарушать существующей языковой практики и, если можно так сказать, не умножать без нужды «феноменов» значения.

Так что же мы назовем «символом» в соответствии с разговорным интуитивным употреблением этого слова? Мы, безусловно, не разойдемся с этой интуицией, если скажем, что крест есть символ христианства, полумесяц — мусульманской религии, а шестиконечная звезда — иудейской веры; что свастика — символ гитлеризма, топор и ликторские прутья — итальянского фашизма; фигура женщины с повязкой на глазах, а также с весами и мечом в руках — символом правосудия; фигура Марса символизирует войну и мужество, Эроса — любовь; скелет с косою символизирует смерть; черный цвет символизирует печаль, алый цвет — достоинство, желтый — ревность, белый — невинность, красный — любовь; определенные цвета знамени символизируют народ и родину и т. д. и т. п. Теперь считается сомнительным в свете существующей языковой практики (хотя часто так говорят), можно ли признать символами, например, математические и логические знаки. Но, несомненно, нельзя сказать, что выстрел

ракеты о начале атаки воинских частей является каким-то символом, что является символом факт замерзания воды в лужах, чья-то фотография и т. п.

Проанализируем эти факты и тезисы с точки зрения предложенного нами определения символа.

Не подлежит сомнению, что символ всегда есть замещающий знак, что его функция состоит именно в замещении чего-то. Также несомненно и то, что символ, как всякий знак, составляет что-то материальное. Следующие элементы и как раз те, которые составляют специфику символа по сравнению с другими замещающими знаками, требуют некоторого пояснения, ибо они дискуссионны.

Во-первых, вопрос о предмете, замещаемом или представляемом символом. Я утверждаю, кстати, вместе с многочисленными голосами в литературе (которые правильно протестуют против слишком широкого толкования понятия «символ» и фактического отождествления символа со знаком вообще), что характерной чертой символа является замещение материальным предметом, функционирующим как знак «идеального предмета», точнее говоря, абстрактного понятия.

Возьмем за основу приведенные выше примеры. Та или иная религия, вера, представляет собой абстрактное понятие; такими понятиями являются справедливость, мужество; ими являются также любовь, ревность, невинность, печаль, достоинство; им является также национальность и т. д. и т. п. Глубочайший смысл символов — именно поэтому они являются столь излюбленным средством во всех массовых движениях, в агитации и пропаганде, в литературе и т. д. — состоит в том, что они *приближают абстрактные понятия к человеку*, показывая ему абстрактные содержания в образе материального предмета, то есть в форме, более легкой для восприятия разумом и сохранения в памяти. Благодаря этому такие материальные символы, как мы уже упоминали выше, весьма удобны в работе с массами: они замещающим образом передают некоторые, порой сами по себе трудные для восприятия и понимания понятия и содержания, а по мере роста их самостоятельности, по мере своеобразного «вознесения» материального символа, по мере отрыва его от представляемых им понятий и содержаний может наступить мифологизация символа как такового. Символ не есть чисто интеллектуальный продукт, хотя он так сильно связан с понятием. Он также

тесно связан с эмоциональным содержанием и поэтому может служить не только приближению абстрактного понятия к человеку, но и закрытию для него пути к познанию истины. Многообразные функции символов, в особенности мифообразующие функции, делают их необычайно интересным предметом исследований.

С функцией представления материальным предметом абстрактных понятий, с этой действительной функцией символа в процессе коммуникации, связан другой элемент специфики символа — его условность, очевидно, условность в общественном и историческом значении этого слова, о чем мы говорили уже выше.

Понимание *какого-либо* символа требует знания соответствующего договора. Кто не знает Ветхого и Нового заветов, греческой и римской мифологии, кто, не будучи воспитан в среде нашей культуры, не узнал уже в детстве значения символики цветов, кто незнаком с нашей политической жизнью и символикой разных эмблем и цвета национального знамени, тот не поймет ни одного из символов, которые мы привели выше для иллюстрации. Точно так же европеец, даже образованный, но не знающий культуры Востока, не понимает символики индийского танца, символики, связанной с образами восточных богов, специфической символики красок, запахов и т. д. просто потому, что ни один символ не обладает естественным значением, наоборот, *каждый* из них имеет искусственный, условный смысл, который надо знать, который даже надо заучить. Об этом свидетельствуют такие простые примеры, как то, что символом печали в нашей культурной среде является черный цвет, а на Востоке — белый, что в нашей культурной среде цветовым символом власти и достоинства является алый цвет, а в Китае — желтый, не говоря уже о художественных символах мудрости, мужества, добродетели и т. д., которые не имеют ничего общего в разных культурных средах.

На этом фоне становится понятным и третий элемент специфики символа — чувственное (чаще всего *образное*) представление абстрактного содержания.

В качестве первого элемента мы признали факт, что предметом, который замещает символ, всегда является абстрактное понятие. Правда, мы там сказали, что в случае с символом речь идет о замещении абстрактного понятия материальным конкретным объектом, но не раскрыли,

в чем состоит эта материальная конкретность символа. Именно этим вопросом мы сейчас и займемся.

Символ, как всякий знак, есть какой-то предмет или материальное явление. Иначе, как и другие категории знаков, он не мог бы быть наблюдаем и не мог бы замещать чего-то другого. Но символ — это не просто материальный предмет, но, как правило, оптический образ.

Художник, график или скульптор, который желает с помощью своего искусства представить какое-то абстрактное понятие, например геройство, добродетель, любовь к ближнему, патриотизм, должен в общем обратиться к символу, имея при этом альтернативный выбор: либо образ будет аллегорией, которая передаст соответствующее абстрактное содержание, либо образ будет составлять метонимию — он передаст то, что является общим, через посредство того, что является частным.

В символическом представлении абстрактного содержания очень часто пользуются переносным значением, основывая на нем образ (прежде всего в литературе). К этому типу словесных символических образов относятся «чары жизни», «чаша горечи» и т. п.

Широко используется мифология. Змея Эскулапа как символ фармацевтического искусства происходит из классической мифологии, подобно тому как Геркулес — символ силы, сова — символ мудрости и т. д. А животные — символы в государственных гербах (орел, лев и т. д.) происходят преимущественно из национальных легенд.

Часто выступает также представление по принципу *pars pro toto*. Крест, как особо важная часть истории Христа, стал таким образом символом христианства.

Очевидно, не редки случаи, когда символический образ имеет абстрактный характер, и тогда его связь с представляемым абстрактным понятием чисто условна (хотя иногда сюда подключают какое-нибудь довоображенное по ассоциации объяснение). К этому типу образов принадлежат краски (например, как символы чувств), их комбинации (например, как символы нации в национальных знаменах), абстрактные рисунки с мистической или магической интерпретацией (например, свастика), математические и логические знаки (например, графический символ бесконечности, отрицания и т. п.).

Двигательные, обонятельные и т. п. символы — это в принципе чисто конвенциональные символы, таковы,

например, символика движений в индийском танце, символика запахов, широко распространенная на Востоке и т. п.

Звуки и их комбинации также могут играть роль символического образа на основе конвенции, чаще всего в соединении с некой эмоциональной тональностью, воспринимаемой только в определенной культурной среде. Например, редкие и монотонные удары в колокол низкого звучания у нас воспринимаются как символ траура, подобно тому как мелодия и ритм известного типа марша.

Все, что мы сказали выше,— это только иллюстрация, а не исчерпывающее перечисление. Гамма символов необыкновенно широка, возможности их неограниченны. Однако во всех проанализированных нами случаях действуют упомянутые нами ранее факторы: символ есть предмет, состояние или реальное явление; он замещает (представляет) абстрактные понятия, а не другие материальные предметы (это функция замещающих знаков *sensu stricto*); замещение это возможно на основании определенных конвенций (обычаев, договоров *ad hoc* и т. д.).

Нетрудно заметить, что такое понимание символа, органически связанное с определенной концепцией типологии знаков и с принятым с этой целью принципом их деления, соответствует его традиционному обиходному пониманию и одновременно подведено под смысл данных категорий. Это обстоятельство для нас не может быть безразличным или второстепенным. Исторически сложившиеся категории языка дают известную классификацию понятий, опирающуюся на социальное чутье сходств и различий содержания, то есть касаются также и того, что данные категории выражают, поскольку дело идет об отношениях в объективном, реальном мире. Названия, конечно, можно менять произвольно, но если вместе с этим изменяется и классификация явлений *без достаточных деловых оснований*, то это в науке не проходит безнаказанно. Ведь важно, чтобы принятая терминология помогала нам в получении информации о реальном мире, к которому она относится, об отношениях, выступающих в нем, а не затрудняла выполнение этой функции, а в результате и сам процесс взаимопонимания. Ничто так не разоблачает конвенционалистской девиации, которая столь много нагрешила за последние десятилетия в правильном понимании отношения языка к действительности, как надлежащим образом разрабатываемая семантика. Именно с ее позиций надо выступить

против часто появляющихся в специальной литературе искажений в понимании проблемы символа, против произвола в классификации знаков и произвольного в связи с этим изменения смысла терминов, являющихся названиями отдельных классов знаков. Ибо семантика учит нас прежде всего, что терминология хотя в некотором смысле и произвольна, а именно лишь в той мере, в какой не существует какой-либо необходимой связи между звуковым знаком и обозначаемым предметом (хоть и в этом вопросе имеют место разные мнения), но нет произвола в подчинении словесных знаков объективной действительности, когда речь идет о классификации вещей и явлений, когда речь идет о познавательной функции языка.

Как мы уже упоминали, в литературе широко распространилось, в особенности под влиянием типологии Гуссерля и теории символов Кассирера, такое понимание значения «символа», которое находится в противоречии с существующим смыслом этого слова и тем самым с приведенным выше анализом этой категории. К классу символов обычно причисляют все словесные знаки, а иногда (например, Моррис) отождествляют символ со знаками, которые не являются сигналом, расширяют смысл этого слова (например, Котарбинская) так, что оно охватывает все знаки, значения которых не основываются на сходстве с замещаемым предметом, или же (как, например, Стеббинг) за символы принимают все знаки, которые используются в этом качестве сознательно, и т. п. Это вредная практика. И не только потому, что она затемняет (как мы увидим ниже) важную специфику словесных знаков, но прежде всего потому, что замалчивает существование важной группы замещающих знаков с четко выступающими общими чертами.

Значение (в особенности социальное) собственно, то есть ограниченно понимаемых, символов огромно. Прежде всего в связи с их ролью в формировании общественного мнения и в создании социальных мифов. Тут следует признать заслуги таких людей, как Кассирер, которые, несмотря на то, что они мистифицировали проблему, все же смогли ее увидеть и оценить. Правильное решение проблемы все еще остается открытым вопросом. Марксизм — это направление, потенциально наиболее способное осуществить такую трудную, но чрезвычайно важную задачу. Пока же это только проекты.



Понимание характера и роли символов зависит прежде всего от основания, принятого для классификации знака вообще. Это, очевидно, не предопределяет вопроса, но ошибка, допущенная в этой области, сводит на нет правильный анализ проблемы символа. Нельзя понять, что такое символ, если, разделяя знаки вслед за Гуссерлем на *Anzeichen* и *Ausdrücke*, фактически отвергать возможность понять специфику всякого знака, выступающего в процессе человеческого взаимопонимания. Подобным же образом обстоит дело, если вместе с Котарбинской мы примем предлагаемое многими деление на иконические знаки и символы. Делить знаки можно, несомненно, и таким образом, но это формально правильное дихотомическое деление не дает никаких интересных результатов, а только смазывает деление на реально выступающие и важные с точки зрения процесса коммуникации классы знаков. Ведь здесь совершенно пропадает различие, например, между сигналом, символом (в изложенном выше значении) и словесным знаком. Это обвинение можно выдвинуть в отношении классификации, предложенной, например, Моррисом, С. Стеббинг, С. Лангер, и к вытекающему отсюда смыслу слова «символ». Эта критика еще раз напоминает нам о правильности тезиса, что терминологические вопросы совсем не так произвольны, как это может показаться на первый взгляд. Она напоминает нам также значение правильной исходной точки анализа и правильного основания типологии знака.

И еще одно замечание в заключение этих рассуждений.

Не подлежит сомнению — мы об этом уже говорили, — что для некоторых целей могут оказаться полезными другие деления знаков и выделения той или иной их категории. Мы же остановились здесь на главной классификации и, по-моему, самой важной. В ее рамках можно по мере потребности произвести дальнейшее деление, на каком-то последующем основании. Одно другому не противоречит. Я хотел бы еще остановиться на группе знаков, важных и существенных, анализ которых в свете нашей типологии может представлять некоторые трудности и вызывать беспокойство. Я говорю, в частности, о знаках, опирающихся на движения тела, таких, как жесты, мимика, экспрессивные движения всего тела и т. п. Не представляют ли они какую-то монолитную группу с точки зрения ее связи с нашим телом, а через посредство

него — с нашими переживаниями и духовными состояниями, которые эти знаки выражают прежде всего? Разве эта группа знаков не особенно важна с точки зрения постоянного сопутствия звуковому языку (жесты и мимика) и хотя бы поэтому не достойна выделения в особый класс или подкласс?

Прежде всего следует сказать, что с точки зрения принятой нами классификации, основанием которой являются функции знаков в процессе коммуникации, это отнюдь не монолитная группа. Ведь телесные знаки входят в состав всех выделенных нами классов: слезы и смех, например, как естественные явления, сопутствующие духовным процессам, могут быть причислены к знакам; жестикуляция и мимика, сопутствующие человеческой речи, могут также рассматриваться как знаки некоторых чувств; условное движение руки или иной части тела может быть сигналом; так называемое сознательное подмигивание может быть замещающим знаком *sensu stricto*; соответствующая поза и движение какой-либо части тела в танце — символом; наконец, некоторые жесты рук или пальцев могут производиться в соответствии со своеобразным кодом, являясь просто переводом звукового языка. От мнимого единства здесь ничего не остается, а вместе с тем размещение этих знаков в рамках принятой классификации не составляет для нас никаких затруднений. Повод для беспокойства отпал.

Приведенные выше рассуждения были посвящены характеристике разных категорий знаков, за исключением словесных. В заключение анализа, как мы и обещали, перейдем к самой важной проблеме из области теории и знака, а именно к проблеме словесного знака и его специфике.

## 5. СПЕЦИФИКА СЛОВЕСНОГО ЗНАКА

Люди исстари ценили значение звукового языка, а значит, и словесные знаки для процесса взаимопонимания и тем самым для общественной жизни. Уже с давних времен звуковой язык и его словесные знаки составляют предмет научных исследований и исканий. Сознательный призыв к такого рода поискам мы находим в «Упанишадах», они также являются главной темой платоновского диалога «Кратил». С древности до наших дней проблема эта не

перестает занимать умы человеческие. Это и понятно. Ибо если мы осознаем общественное значение процесса коммуникации, в особенности его роль в процессе сотрудничества людей, его органическую связь с этим процессом, мы должны сконцентрировать наше внимание именно на звуковом языке.

Можно строить разные домыслы насчет того, что первично: звуковой язык или язык жестов; можно дискутировать о роли значения разных категорий знаков; можно спорить, существуют ли разные системы «языков» и т. д. Нельзя, однако, серьезно возражать против того, что во всех известных нам цивилизациях звуковой язык был и остается не только главным средством взаимопонимания людей, но и таким средством, без которого прогресс в области науки, культуры, техники был бы невозможен.

Это похоже на трюизм и банальность, которые можно было бы не упоминать в семантических исследованиях. Но это лишь видимость, в особенности в семантических исследованиях. Из этого трюизма, или мнимого трюизма, ясно следует, что звуковой язык занимает в социальных процессах столь исключительное место, что этого нельзя объяснить себе без одновременного признания специфики звукового языка и словесных знаков в сравнении со всеми иными системами знаков, то есть со всеми иными «языками». Следовательно, если правда, что все другие системы знаков «насыщены» значением, взятым от словесных знаков и что они светят отраженным светом, то обоснованным является и деление на язык и «языки», деление, указывающее на разные ряды этих категорий. А между тем в разных современных семиотиках, семиологиях и т. п., поднимающих, впрочем, ценные и важные вопросы общей теории знака, именно эта специфика звукового языка и словесных знаков замазывается, если не зачеркивается совершенно (это можно объяснить себе стремлением к извлечению того, что обще для *всех* знаков, с целью создания какой-то общей теории знака).

Теоретически ошибочная тенденция к зачеркиванию специфики словесных знаков находит выражение также в терминологии, имплицитно определяющую классификацию и характеристику разных классов знаков. Терминология здесь, правда, не устойчива, но — особенно в новейшей литературе — преобладает употребление термина «символ» для обозначения словесного знака; несмотря на

все дефинитивные конвенции, это стирает различия между словесным знаком и другими знаками и дополнительно запутывает вопрос. В некоторых случаях говорится просто «знак», что, безусловно, правильно, но вследствие слишком общего характера это не помогает уточнению проблемы (в особенности если помнить, что за терминами здесь кроются концепции, отнюдь не благоприятствующие выяснению специфики словесных знаков).

Начнем с тезиса, что хотя звуковой язык состоит из знаков в определенном нами выше значении, что словесный знак, таким образом, всегда (это утверждение действительно банально) подпадает под общую дефиницию знака, он не является ни просто знаком, ни символом в обиходном значении, ни в значении, наделяемом *ad hoc* разными теориями. В этом последнем случае речь идет не только о произвольном изменении принятой терминологии (иначе весь замысел был бы по-детски наивным и лишенным научного смысла), но и о другой дефиниции символа, которая опять-таки замазывает специфику словесного знака.

Поэтому словесный знак великолепно подходит под принятую нами общую дефиницию знака, которая, признавая процесс коммуникации в качестве основы анализа, отмечает в коммуникативной функции знака его главную черту и толкует его в свете отношений к предмету, о котором что-то сообщается, и к языку, на котором что-то сообщается.

Не подлежит сомнению, что звуковой язык является определенной, *специфической* системой знаков. Но именно здесь вместе с вопросом: системой *каких* знаков является звуковой язык? — начинается сама проблема.

Есть ли в литературе какие-то позитивные указания на этот счет? Бесспорно, да. Они касаются прежде всего того, каким образом словесный знак что-то обозначает. Замечания представителей самых различных направлений, кажется, сходятся на этом. Я имею в виду проблему «прозрачности для значения» словесных знаков.

Возьмем четырех разных и независимых друг от друга авторов, которые писали о специфике словесных знаков: Делакура, Рубинштейна, Урбана и Оссовского<sup>7</sup>. У каждого из них мы находим определение «прозрачность для значения» именно в отношении словесных знаков, и у каждого из них с этим свойством знаков связана мысль о их

специфике. Авторы, оперирующие упомянутой метафорой, имеют в виду следующий факт: воспринимая словесные знаки в отличие от всех других действительных знаков мы не воспринимаем их материальной формы как что-то автономное, а как раз наоборот — форма эта сливается со значением так, что, за исключением случаев нарушения нормального акта восприятия, мы не обращаем внимания на материальную сторону словесного знака. Не важно, кому принадлежит приоритет формулировки термина «прозрачность для значения»; это может заинтересовать скорее историка проблемы. Но факт согласованности и совпадений разных взглядов в этом вопросе все же о чем-то говорит, по меньшей мере о том, что концепция приобрела себе безусловное право на существование в литературе по данному предмету.

Говоря о знаках, сигналах, замещающих знаках или символах, мы всегда говорим о какой-то вещи или материальном явлении, которые служат для коммуникации между людьми, ибо каждый из этих знаков информирует нас о чем-то благодаря тому, что общающиеся стороны одинаково понимают эти знаки. Каждый из этих знаков остается в каком-то отношении к предмету (в самом широком смысле этого слова, охватывающем вещь, их свойства и отношения, явления, психический процесс и т. д.), о котором он информирует, и к определенному языку, в рамках которого только он и функционирует, что-то обозначает. Когда мы говорим о действительных знаках, за исключением словесных, всегда бывает так, что отношение материальной стороны знака к стороне значения допускает некоторую «автономность» значения; она состоит в том, что значение формируется — за исключением иконических знаков — независимо от *этого* знака (в смысле материального носителя значения), как бы вне его, и может в результате быть объединено с другой материальной формой знака (например, можно изменить конвенцию в отношении дорожных знаков, не нарушая их значения, то есть того, что они нам сообщают). Это связано с фактом, что все эти знаки функционируют исключительно в контексте звукового языка и соответствующего ему понятийного мышления. Мы можем поэтому — и вынуждены — оперировать «готовыми» значениями для всех категорий знаков, не являющихся словесными знаками. Просто потому, что мы не можем мыслить иначе, как с по-

мощью словесных знаков, а всякое знакотворчество (помимо привитого нам общественным воспитанием использования звукового языка, или, иначе говоря, языкового мышления) представляет собой вторичный процесс, плод разных конвенций (в широком историческом значении этого слова), которому всегда *предшествует* мысль и которое в этом смысле всегда «насыщено» мыслью.

А как обстоит дело со словесным знаком и с системой этих знаков — языком? Совершенно иначе. Прежде всего потому, что они ничего не имеют «вне себя», что они не опираются на значения другого языка. Потому, что мысль и язык — это одно, нераздельное, органическое целое. Не существует отдельно мысль и отдельно язык, существует только мышление-язык. Нет отдельно понятия и отдельно словесного знака, есть только понятие — знак (словесный). Имеются, конечно, люди, которые считают, что не только можно мыслить без словесных знаков, без языка, но что именно такое мышление и есть «настоящее» мышление. Сторонников «настоящего», «непосредственного» познания было много, от Платона до сегодняшних феноменологов, интуиционистов, последователей идеи мистического соединения субъекта и объекта познания и т. д. Это они грустно повторяют за Шиллером: «*Spricht die Seele, spricht die Seele nicht mehr*». Но это иррационалистические спекуляции, которые позитивная наука — психология, физиология мозга и т. д. — отрицает.

Именно из этого специфического единства мышления-языка исходит «прозрачность для значения» словесных знаков. Они являются значением, хотя *не только* значением. В цитированном уже нами отрывке из «Немецкой идеологии» мы читаем следующие слова насчет сознания, реальной формой которого, по мнению Маркса, является язык: «дух» несет на себе проклятие, отягощение материей, которая выступает здесь в виде подвижных частиц воздуха, звуков, коротко говоря, языка. Словесный знак, следовательно, не есть просто значение. Он вместе с тем звук, материальное явление колебания воздушных волн, без которого не было бы знака, не было бы коммуникации, если не верить на слово защитникам «чистого» и «непосредственного» познания. И как раз поэтому «прозрачность для значения», хотя она высказывает ценную мысль с точки зрения познания специфики словесных знаков, недостаточна. Ибо здесь возникает реальная проблема отношения

звуковой оболочки (звукового образа) и значения (понятийного содержания) словесного знака.

Интересно использованное де Соссюром сравнение словесного знака с листом бумаги, одна сторона которой — звуковой образ, а другая — понятийное содержание (де Соссюр говорит о *signifiant* (обозначающее) и *signifie* (обозначаемое), придерживаясь точки зрения, что знаки языка — это психические образования, состоящие из звукового образа и понятия). Как нельзя отделить одну сторону бумажного листа, говорит он, не повредив другой, так нельзя и в словесном знаке отделить звук от понятия (значения). Это тоже только метафора, но она, хотя и по-другому, хорошо освещает разбираемую здесь проблему.

Для выяснения специфики знака мы должны произвести более детальный анализ понятия «словесный знак». Оно четко выступает в двух значениях, с которыми связаны разные теоретические концепции. В одном варианте «словесный знак» — это то же, что и звук (в смысле акустического колебания или звучания), с которым связывается как-то определенное значение. В другом — «словесный знак» это своеобразная совокупность звука-значения, характерная для реально выступающих единиц звукового языка.

Никто не может сомневаться в том, что словесные знаки состоят не только из их значения, но также и из звукового покрова, этого «проклятия», тяготеющего над духом в виде содрогания воздуха. Не может подлежать сомнению (в этом не сомневаются, пожалуй, самые крайние приверженцы тезиса об органическом единстве значения и звука в словесном знаке) также и тот факт, что это единство не абсолютно, а относительно, то есть что в определенных случаях оно может быть нарушено. При этом речь идет не только о таких банальных случаях, как восприятие чужой, непонятной для нас речи исключительно как набора звуков. Речь идет также о вопросах более сложных и вследствие этого более интересных — таких, как исследованные Хэдом и другими случаями афазии, когда индивид сохраняет в памяти звуковую форму слов, но перестает понимать их значение или теряет способность речи, понимая, однако, что ему говорят. Как в случае восприятия непонятной нам речи, так и в случае афазии мы имеем дело с некой аномалией с точки зрения процесса коммуникации между людьми. Такой процесс предполагает

общность языка, на котором общаются индивиды, а также нормальное умственное состояние их. И именно в связи с *относительным* характером единства звука и значения в словесном знаке встает принципиальная проблема: как реализуется это единство? Предвосхищая результаты исследования значения и его связей со знаком, мы затронем здесь (это, к сожалению, необходимо по существу дела, хотя и нарушает намеченный ход рассуждений) по крайней мере некоторые проблемы, касающиеся характера этой связи в случае словесных знаков.

В этой области выступают две конкурирующие друг с другом точки зрения.

Одна из них — это точка зрения *ассоциативизма*, согласно которой звук и значение существуют *независимо* друг от друга, а их объединение в словесном знаке опирается на ассоциацию определенного звука с определенным, уже готовым значением. На этой позиции стоял Делакруа, который утверждал, что здесь все сводится в конечном счете к ассоциации знака и значения со стороны человеческой памяти, ассоциации произвольного характера<sup>8</sup>. Этот ассоциативный подтекст выступал у Рассела в период дискуссии над значением «значения» на страницах «Майнд»<sup>9</sup>. Подобным же образом ставил вопрос Сепир в своей работе о языке, когда, квалифицируя словесные знаки как символы, определял их как звуки, *автоматически* ассоциируемые со значением<sup>10</sup>. Разновидностью ассоциативной теории является концепция специфической ассоциации, которую защищает Мартинак вслед за Хефлером (Höfler) и которая должна состоять в том, что ассоциация опосредствованна, что она осуществляется через посредство других суждений, а не представляет собой механического повторения первично наблюдаемого отношения (judiziöse Association). Так или иначе ассоциативная концепция все же сводит проблему к ассоциации готового звука с готовым значением, которое должно было сформироваться в онтогенезе как-то вне языка и независимо от него. Словесный знак здесь рассматривается, как и любой другой знак, в отношении к которому — как мы видели — значение «автономно», то есть формируется независимо от него и вне его. Именно это и составляет ахиллесову пятау всей концепции. Эта концепция не только противоречит нашему пониманию специфики словесных знаков и даже простейшему их анализу, но вдоба-



вок предполагает то, что является предметом спора (а именно предполагает, что словесные знаки не отличаются от других знаков характером связи своей формы со значением). Главным аргументом против ассоциативной концепции, которую К. Бюлер в свое время определил как *gerade zu naiv* (прямо-таки наивной. — *Прим. перев.*), является факт, что она даже не старается обосновать своих предпосылок, несмотря на их противоречие нашему пониманию и анализу языковых единиц.

Другая точка зрения понимает относительное единство звука и значения в словесных знаках как связь *sui generis*, как иную связь, нежели в остальных знаках, и характеризующуюся тем именно, что значение словесного знака «автономно», что оно не может складываться *вне* этого единства, каковое составляет язык — мышление, слово — понятие. Ее единственный, кстати 'очень наивный аргумент, что мы изучаем иностранные языки чаще всего так, что к готовым значениям ищем соответствующие звуки, которые мы ассоциативно соединяем с этим значением, весьма легко отвергнуть. Действительно, так и бывает, но всегда *на основе какого-то известного нам языка*, с помощью которого мы мыслим и с которого мы переводим на иностранный язык. Мы научаемся иностранному языку лишь тогда, когда перестаем переводить, когда начинаем думать на нем, то есть когда связь звуков этого языка со значением перестает быть для нас «внешней», опирающейся на временное соединение, а становится органической, непосредственной, когда словесный знак становится «прозрачным» для значения. Одно дело — изучение иностранного языка, другое — владение уже изученным языком. Наши рассуждения касаются, очевидно, только этого последнего случая.

Значит ли, что связь звука и значения в словесном знаке есть *sui generis*, в чем она состоит и как ее объяснить — это уже другой вопрос. Требования выяснить эти вопросы, ответить на эти вопросы вполне справедливы. Когда в науке выдвигается некий тезис, он должен быть непременно обоснован. Однако я хотел бы отметить, что даже когда нельзя дать полного ответа на вопросы, вытекающие из этого теоретического тезиса, или же когда этот ответ спорный (а так бывает чаще всего, особенно в социальных науках), это еще не устраняет самого тезиса. Я говорю об этом потому, что хотя тезис о *sui generis*

связи звука и значения в словесных знаках поддерживает серьезными аргументами, все же еще до сих пор нет последовательного объяснения характера и механизма этой связи. Об одной попытке такого объяснения, заслуживающей, по-моему, внимания, о гипотезе Павлова относительно второй сигнальной системы, речь будет идти ниже.

И еще один вопрос, который мы должны здесь затронуть: произвольность связи звука и значения. Положение это выдвинул де Соссюр<sup>11</sup>, основываясь на идее Уитни (Whitney). Однако следует подчеркнуть, что де Соссюр, правда, провозглашает эту произвольность, когда дело идет о связи *signifiant* и *signifié* (повторяя старую мысль, выступающую еще в «Кратиле» Платона, что звуки в словах не связаны какой-то естественной связью с обозначаемыми предметами), но одновременно утверждает, что в отношении языкового сообщества выбор *signifiant* не произволен, что он социально обусловлен.

Ясно, что марксисты, защищая тезис об органическом единстве звука и значения в словесных знаках, резко критикуют концепцию произвольности этой связи (в смысле установления ее путем конвенции), ведущую к тому конвенционалистскому вырождению, которое выступает по меньшей мере в части неопозитивистской литературы. Надо, впрочем, сказать, что такого рода концепция имела приверженцев исключительно среди формалистически мыслящих логиков, которые не замечали, не понимали исторического и социального характера языка и словесного языка. Но против принципов этой концепции выступали и выступают не только философы-марксисты, но и все лингвисты, независимо от представляемого ими направления. Для лингвиста совершенно естественна и понятна аргументация, например С. Л. Рубинштейна, который критикует концепцию произвольного отношения к языковым знакам с генетической позиции, со стороны исторического их анализа, указывая, что словесный знак имеет не зависимую от нас общественную «жизнь», не зависимую от наших конвенций историю и связан с объективным характером нашего познания<sup>12</sup>. С подобной же аргументацией выступает советский лингвист проф. В. А. Звегинцев, подчеркивающий, что его возражение против концепции произвольности связи звука и значения не означает какой-либо поддержки тезиса, который провозглашает существование естественной связи между словесным знаком и озна-

чаемым предметом. Это весьма важный вопрос, и нельзя обе эти проблемы сводить к одной.

С точки зрения, что связь звука и значения в словесных знаках является связью *sui generis*, связана тем не менее другая концепция этих знаков: знаком мог бы быть не сам звук, «партнером» которого выступает какое-то «автономное» значение, — а неразрывное целое звука и значения, понимаемое как значащий материальный объект (акустическое колебание). Это, кстати говоря, единственное последовательное понимание словесного знака как *sui generis*, знака, характеризующегося «прозрачностью» для значения. Ведь эта «прозрачность» может выступить только и только тогда, когда мы перестаем воспринимать материальный, физический образ знака как нечто самостоятельное, с чем так или иначе связывается не менее самостоятельное значение. «Прозрачность для значения», столь характерная для словесных знаков, выступает именно тогда (за исключением случаев какого-либо нарушения нормального процесса взаимопонимания), когда мы вообще перестаем воспринимать материальный образ знака, а в сознании сохраняем исключительно только его семантическую сторону.

Словесный знак, таким образом, не является каким-то символом, хотя использование этого термина по отношению к словесным знакам в настоящее время, как мы уже говорили в литературе по данному предмету, почти повсеместно<sup>14</sup>.

Не следует смешивать словесные знаки с этим особым и весьма важным подклассом замещающих знаков, о которых уже говорилось выше и которые в соответствии с обиходной языковой интуицией мы назвали символами, ибо словесный знак обнаруживает черты, каких символы в собственном смысле этого слова не имеют, и вместе с тем лишен черт, которые присущи и так понимаемым символам. Если же мы придадим наименованию «символ» смысл, назначенный *ad hoc*, рассматривая этот вопрос произвольно, то мы либо ограничим класс символов лишь словесными знаками и, нарушая языковый обычай, перестанем называть символами знаки, которые до сих пор носили это название, либо расширим, сознательно договорившись, смысл слова «символ», перенеся его на все необразные знаки, стерев при этом специфику словесного знака (чего мы как раз хотели избежать).

Словесный знак не является ни сигналом, ни сигналом сигналов. Относясь со всем уважением к научным предположениям (а пока это не более, чем весьма общая гипотеза и научное предположение), которые содержит павловская теория второй сигнальной системы (согласно этой теории, словесный знак — это просто сигнал сигналов), не следует закрывать глаза на противоречия и опасность вульгаризации проблемы. И в этой области, как и в любой другой, создание культов и фетишизация некоторых взглядов не приносят пользы. Павлов был гениальным ученым, против чего не возражает никто в мире. Но мы далеки от канонизирования каждого его взгляда или гипотезы, и уж ничто не дает нам права отождествлять (как это делали некоторые) взгляды Павлова с диалектическим материализмом. Во всяком случае, против теории словесного знака как сигнала сигналов — в том виде, в каком эта теория известна в настоящее время, — следует выступить как раз от имени диалектического материализма.

Противоречие состоит в том, что Павлов, как видно хотя бы из ряда его высказываний, опубликованных в «Павловских средах», прекрасно отдавал себе отчет в специфике словесного знака и звукового языка, а между тем традиционно понимаемая концепция второй сигнальной системы и словесного знака как сигнала сигналов представляет собой отрицание этой специфики. Именно с этим связана опасность вульгаризации проблемы (кстати, подобной той вульгаризации, которая характерна для бихевиоризма).

Сомнения вызывает уже сам термин «сигнал». Мы помним, что сигнал в процессе человеческой коммуникации является условным знаком, замещающим некоторое *словесное* высказывание и понятен только в этом контексте. Сигнал в процессе коммуникации между людьми представляет собой, таким образом, *par excellence* семантическое образование, имеет значение и «насыщен» языковым значением, чего, конечно, нельзя сказать об импульсах, вызывающих условные рефлексy животных. Это явления *качественно* разные, и поэтому терминология, которую, кстати, надо понимать как-то метафорически, не относится к числу самых удачных по самим своим предпосылкам, ибо она грозит серьезными недоразумениями. Несмотря на это, мы должны признать, что в конце концов в каждой научной дисциплине можно принимать произвольную

терминологию с условием, если смысл терминов будет достаточно уточнен.

Этим аргументом, однако, нельзя воспользоваться, так как термин «сигнал» в этом условном значении применяется одинаково как к животному миру, так и к человеку. Механизм безусловных рефлексов одинаков в животном мире и у человека. А механизм условных рефлексов? В нашу задачу не входит анализ и критика физиологических концепций. Но поскольку они вступают в интересующую нас сферу процессов коммуникации, мы должны высказать и к ним какое-то свое отношение. Дело в том, что все, что связано с человеком — а значит, и его условные рефлексы, — всегда *социально* обусловлено. Раскрывая эту общую формулировку, мы сталкиваемся с проблемой взаимопонимания людей, с ролью процессов сознания в нем, неразрывно связанных с языком, без которого человек не может мыслить, и т. п. И возникающие в человеке вследствие некоторых внешних воздействий условные рефлексы создаются чаще всего *не вне* процессов его сознания, а в связи с ними. Речь идет, стало быть, о явлении, *качественно* ином, нежели явление рефлекса в животном мире. Кто этого не видит, кто хотел бы процессы, происходящие в человеческом организме, свести просто к стимулам и физиологическим реакциям, как это делает бихевиоризм, тот вульгаризирует проблему, ибо всякий натурализм в интерпретации общественных явлений есть вульгаризация.

Вопрос осложняется еще больше, когда мы поднимаемся на более высокую ступень, на ступень «сигнала сигналов». Сигналом каких сигналов должен был бы быть словесный знак? Тех, которые наблюдаются в экспериментах с собаками? Если это так, то это недоразумение, ибо, помимо случаев простых физиологических импульсов (например, импульсы пищи), такие «сигналы» в социальной жизни человека просто не выступают. Или же других? Так каких же? Недифференцированная терминология не позволяет сориентироваться в этих различиях, а экспериментальные исследования могли бы что-то сказать об этом только тогда, когда они истолковывались бы не натуралистически, а социально, то есть если бы они не исключали процессов сознания, а органически включили бы их в человеческое поведение, в том числе в человеческие рефлексы. Этого, однако, не было сделано. Идея таких исследова-

ний содержится в гипотезе второй сигнальной системы, но до сих пор это только идея.

Значит, в самом лучшем случае мы не знаем, о каких сигналах идет речь. В более худшем случае мы знаем и можем сказать, что таких «сигналов» в человеческих общественных процессах в принципе нет. Что же такое тогда сигнал сигналов? Тот же самый сигнал, только на более высоком уровне, то есть сведение социальных процессов сознания к двухэтажной системе стимулов и физиологических реакций. Это была бы крайняя вульгаризация проблемы в духе механистического материализма, с которой сторонник диалектического материализма ни в коем случае не может согласиться. Ибо так же, как нельзя сводить психологию к физиологии, нельзя сводить к чистой физиологии теоретико-познавательные или семантические проблемы. Но если подразумевается что-то другое, «сигнал» в каком-то другом значении, то в каком? Этого-то как раз никто и не знает, и нам надо согласиться с тем, что это неразработанная гипотеза. Но даже в самой тонкой интерпретации, когда мы приходим к выводу, что теоретически не очень известно, о чем говорится, терминология остается по крайней мере двузначной, грозящей большими недоразумениями и возможностью вульгаризации. Поэтому данный вывод таков: словесный знак не является ни сигналом, ни сигналом сигналов, и, пока вопросы эти не будут экспериментально выяснены, до тех пор следует, пожалуй, отказаться от этой терминологии.

Стало быть, словесный знак не является ни символом, ни сигналом, ни одной из других известных нам категорий знаков, если эти названия вообще имеют какое-то точно определенное значение, — он является знаком *sui generis*, знаком, имеющим свою собственную специфику.

Но именно благодаря своей специфике, в связи с чем словесный знак не может идентифицироваться ни с одним другим знаком, он может взять на себя функцию по меньшей мере некоторых среди них. Словесный знак не является сигналом, поскольку он имеет особые черты и свойства, но он может функционировать как сигнал. Словесный знак в этом смысле не тождествен с символом, но может выступать в символической функции. Примеры можно умножить, если мы произведем детальную классификацию знаков. Это еще одно свидетельство особой роли, какую словесный знак выполняет в процессе коммуникации.

Другой специфической чертой словесного знака, кстати, связанной органически с первой (то есть *sui generis* единством звука и значения в словесном знаке), является его функция и роль в процессе абстракции.

Ясно, что генетически словесный знак, так же как и всякий другой знак, есть *продукт* процесса абстракции. Ничего в этом нет странного. Всякое познание, всякое наблюдение всегда селективно. Это связано с определенными потребностями деятельности человека, которая без такой селекции была бы невозможна. Это же явление выступает в каждом типе знаков, которые, функционируя в «контексте» процесса человеческой коммуникации, подчиняются общим закономерностям, управляющим всяким познанием. *Всякий* знак есть *продукт* процесса абстракции и вместе с тем важный *инструмент* этого процесса. Конечно, здесь существует граница, которая решает вопрос о качественной разнице между словесными знаками и всякими другими типами знаков. Дело в том, что каждый знак может упрощать, выражать нечто в каком-то сокращении, селекционировать, составлять *pars pro toto* и т. п.; он может, таким образом, быть существенным инструментом процесса абстракции, но он всегда связан с *определенным* чувственным материалом, с определенным воображаемым образом; это касается также и так называемых видовых представлений. Понятийное мышление требует иного инструмента. Таковым является словесный знак именно благодаря своему особому свойству — «прозрачности для значения», которое позволяет подняться на самые высокие уровни абстракции, недоступные для других типов знаков, оторваться от чувственного конкретного объекта в степени, превышающей возможности других знаков.

И словесный знак, как нас учит психология, связан в нашем мозгу с представлениями. Но это совершенно иной тип связи с чувственным образом. Здесь речь идет либо о сопутствующих мыслительным процессам ассоциациях с предметами, связанными с этим процессом, либо об ассоциациях с письменными знаками произносимых слов, их звуков и т. п. Семантическое содержание знака не зависит, однако, от этих соединений; они только сопутствуют этому содержанию, но не являются условием его реализации (они, кстати, различны у разных лиц, которые понимают знак одинаково). Благодаря единству значения и звучания, благодаря «прозрачности для значения» сло-

весный знак имеет особые абстрагирующие свойства. Всякое слово обобщает, писал В. И. Ленин. Подобным же образом говорит Сепир в своей работе «Language», доказывая, что познание может быть сообщаемым только тогда, когда оно не строго индивидуально, а подведено под какой-то класс вещей или явлений; что является именно делом слова. То же самое говорит Сусанна Лангер и другие.

Конечно, роль словесного знака в процессе абстракции потребовала бы специальных исследований и обширной монографии. Здесь мы лишь указываем на эту проблему, что для наших целей вполне достаточно.

И, наконец, третья специфическая черта словесного знака: его особые достоинства с точки зрения *точного* взаимопонимания людей между собой. Этот вопрос столь очевиден, что не требует обстоятельных обоснований.

Можно общаться, и люди действительно общаются с помощью разных «языков». Есть свидетельства этнологов, которые говорят о племенах, производящих «ручной» разговор, с помощью жестов, не прибегая к устной речи. Кашинг (Cushing), как мы уже упоминали, говорит в связи с этим о специальном стиле «ручного мышления», отличного от нашего мышления-языка. Во всем этом нет ничего необычного и невозможного. Но вместе с тем одно несомненно: с помощью какого бы то ни было из этих языков нельзя было бы сформулировать философской системы Гегеля, теории относительности Эйнштейна или даже самой простой грамматики того или иного языка. В звуковом языке кроется особая сила, делающая возможным дальнейшее развитие мышления, его подъем на все более высокие ступени абстракции, позволяющая раскрывать и формулировать все более широкие и глубокие закономерности мира, а благодаря этому овладевать миром, подчинять его человеку. Можно жаловаться на многозначность и туманность обиходного языка, но даже и это можно делать только с помощью этого языка и исключительно на его основе. Именно поэтому звуковой язык не только особенно удобный и гибкий инструмент процесса коммуникации, но и инструмент, особенно поддающийся совершенствованию, обладающий прямо-таки неограниченными возможностями совершенствования. И это один из самых важных моментов специфики словесных знаков.

Рассуждения этого раздела вращались главным образом вокруг проблемы дефиниции и типологии знака.



Однако нельзя было, в особенности в части, касающейся словесных знаков, полностью обойти проблему значения. Это вполне нормально и естественно. Анализ знака, абстрагирующийся от значения, то есть от истинной функции знака, по природе вещей должен быть половинчатым и допустим лишь тогда, когда есть для этого существенная потребность. Такая потребность как раз вытекала из принятого нами плана композиции работы. Теперь же необходимо восполнить недостающую часть анализа рассуждениями, касающимися проблем значения. Им посвящается следующая глава работы.

### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Проблема эффективного общения в смысле достижения согласованных взглядов, в смысле передачи убеждений является проблемой значительно более широкой, включающей в себя, как мы уже говорили, проблему хорошего взаимопонимания как свою составную часть. Этот более широкий смысл коммуникации важен прежде всего для тех, кто интересуется проблематикой пропаганды и формирования общественного мнения. Это чрезвычайно существенный социальный вопрос, аспектами которого мы займемся еще в ходе последующих рассуждений.

<sup>2</sup> Уже после сдачи данной работы в печать мне попала в руки книга Л. О. Резникова «Понятие и слово». Сожалею, что не смог учесть здесь разных интересных мыслей автора; хотел бы подчеркнуть, что я согласен со многими его взглядами и соображениями, касающимися анализа знака.

<sup>3</sup> Принятая здесь терминология, которой мы будем далее пользоваться, требует дополнительных комментариев.

Деление на естественные знаки и какие-то другие, которые противопоставляются естественным знакам, имеет долгую историю. Есть и разнообразные терминологические предложения, касающиеся названия этой противопоставляемой области, и по крайней мере некоторые из них требуют объяснения, чтобы как-то обосновать сделанный нами выбор.

В античные времена различали естественный знак (*signum naturale*) и конвенциональный (*signum ad placitum*). Хотя здесь и соблюдался единый принцип деления, само деление не выдерживает серьезной критики. Дело в том, что ко второй категории знаков следует причислить все те знаки, которые сознательно создаются людьми в целях коммуникации. Однако не все знаки этой категории функционируют на принципе договора (конвенции). Это касается прежде всего иколических знаков, функционирующих на принципе сходства с замещаемыми ими предметом (замещаемый в том смысле, что образ вызывает у нас в памяти предмет, представленный этим образом, действие, обычно вызываемое этим предметом, соответствующие эмоции и т. д.). Существует целая градация: от естественного сходства, например в фотографии, до условного характера

иероглифов или подобных письменных знаков (классическим примером могут быть буквы древнееврейского алфавита; их форма представляет собой схематическое подобие предметов, название которых является также названием данной буквы, например «alef», «bejt» и т. п.). Не подлежит сомнению, что иконический знак типа фотографии не действует на принципе договора.

Другое терминологическое предложение в отношении которого следует высказать свою точку зрения, исходит от Мартинака (E. Martinak, Psychologische Untersuchungen zur Bedeutungslehre, Leipzig, 1904). Он говорит о знаках реальных и финальных, ясно подчеркивая в своей терминологии то, что представляет собой характерную черту противопоставляемой естественным знакам области, — факт, что люди производят эти знаки сознательно, чтобы достичь определенной цели — цели коммуникации.

В принятом выше делении я опираюсь на образец принципа Мартинака. Однако его терминологию я считаю не слишком удачной. Прежде всего потому, что принцип деления кажется не единым, хотя при соответствующей интерпретации выражения «реальные знаки» это обвинение можно легко отвести (поскольку название «реальные знаки» по объему совпадает с названием «естественные знаки»).

Противопоставляя естественным знакам действительные знаки, я снова беру в качестве исходного пункта процесс коммуникации. Знаками в этом процессе являются именно те знаки, которые в целях коммуникации сознательно производятся людьми. Для определения этих знаков лучше всего, на мой взгляд, подходит выражение «действительные знаки», ибо естественные процессы здесь лишь вторичны и в каком-то производном смысле функционируют как знаки.

Наряду с выражением «действительные знаки» я употребляю выражение «искусственные знаки». Этим я хочу подчеркнуть, что в противоположность естественным знакам, которые являются не зависимыми от деятельности человека природными процессами, действительные знаки всегда представляют собой так или иначе *продукт* человеческой деятельности, то есть искусственно вызваны к жизни. Я считаю это важной вещью, и она должна в целях более точной характеристики этой категории знаков найти отражение в принятых терминологических различиях.

<sup>4</sup> Ср. прежде всего: Ch. S. Peirce, Logic as Semiotic: The Theory of Signs, в «Philosophical Writings of Peirce», New York, 1955.

<sup>5</sup> Кашинг в работе «Manual Concepts» утверждает, что есть первобытные народы, которые благодаря сильно развитому языку жестов имеют также особое «ручное мышление». Этот вопрос, а также сложный вопрос мышлений глухонемых, которых не обучали специальному языку жестов, оставляем в стороне. Ибо это не нарушает общего положения о мышлении с помощью языка слов, а также о необходимости перевода замещающих знаков на язык нормального и чаще всего встречающегося процесса коммуникации.

<sup>6</sup> Когда мы имеем два варианта написания, например «кошка» и «КОШКА», то каждый из них 1) является отличной, индивидуальной надписью (token), 2) составляет индивидуальную разновидность надписи одного и того же типа (type).

<sup>7</sup> H. Delacroix, Le langage et la pensée, Paris, 1924; С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии (гл. XI «Речь»),

Москва, 1946; W. M. Urban, *Language and Reality*, London, 1951; St. Ossowski, *Analiza pojęcia znaku*, «Przegląd Filozoficzny», 1926, z. 1 и 2.

<sup>8</sup> H. Delacroix, цит. соч., стр. 365.

<sup>9</sup> «Mind», 1920, № 116, p. 365.

<sup>10</sup> E. Sapir, *Language*, New York, p. 10.

<sup>11</sup> F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1949, p. 99.

<sup>12</sup> С. Л. Рубинштейн, цит. соч., стр. 406—407.

<sup>13</sup> В. А. Звегинцев, *Проблема знаковости языка*, Москва, 1956.

<sup>14</sup> Отметим характерный протест Соссюра, который защищал условность (в определенном смысле) связи звука и значения в словесных знаках, против того, чтобы последние называть символами, поскольку символы характеризует некоторая естественная связь между знаком и предметом. Абстрагируясь от существования этого весьма дискуссионного высказывания, обратим внимание на правильную попытку терминологического различения данных категорий. Против растворения словесного знака в общей категории символа выступает и Урбан. Аргументация его носит иной характер: если бы словесные знаки были просто символами, какой тогда смысл говорить о символическом употреблении языка?

## Значения «значения»

«Когда я употребляю слово, — сказал Хамти-Дампти презрительно, — оно значит то, что я предписываю ему значить — ни более, ни менее».

«Вопрос в том, — сказала Алиса, — можете ли Вы заставить слова обозначать различные вещи». «Вопрос в том, — сказал Хамти-Дампти, — кто кем должен повелевать, вот и все».

*Льюис Кэрролл, «Алиса в зазеркалье»*

«Люди довольствуются теми же словами, которые употребляют другие люди, как если бы само звучание необходимо несло в себе одно и то же значение».

*Джон Локк*

Если я говорю кому-нибудь, кто не знает английского языка: «Give me my hat», то единственным ответом собеседника может быть: «Я не понимаю, что вы говорите». Я повторяю сказанное по-русски: «Дайте мне, пожалуйста, шляпу», и человек, к которому я обращаюсь, улыбается и подает мне шляпу. Он понял значение сказанных мною слов.

Два человека хотят перейти через улицу, но вдруг загорается красный свет светофора, регулирующего уличное движение. Один из прохожих тотчас останавливается. Другой идет дальше; наверно, он из деревни и не знает правил уличного движения. Спутник останавливает его и объясняет: «Если вы видите красный свет, это означает, что переходить улицу нельзя, если зеленый — то можно». На следующем перекрестке этот человек, предупрежденный товарищем, останавливается сам, когда видит крас-

ный сигнал светофора. Теперь он уже понимает значение этого знака.

И так происходит всегда, когда мы имеем дело со знаком и со *знаковой ситуацией* (sign-situation): она результативна только тогда, когда общающиеся стороны одинаково понимают значение знака.

Проблема значения выступает в контексте знаковой ситуации или, говоря проще, в контексте процесса коммуникации людей, так как именно этот процесс (без учета проблем телепатии и других форм якобы «непосредственного» общения) является процессом передачи мыслей, чувств и т. д. с помощью знаков, процессом создания знаковых ситуаций. Когда я говорю, пишу, устанавливаю предостерегающие дорожные знаки или меняю сигналы светофоров на перекрестках улиц, когда я вычерчиваю карты или планы, наклеиваю этикетки на бутылки с ядом, нашиваю погоны на мундир, поднимаю разноцветные флажки на мачту корабля и т. д. и т. п., я пользуюсь *всегда* какими-то знаками в целях общения (даже мысленный монолог, как известно, есть скрытая форма диалога), я создаю в каждом из этих случаев знаковую ситуацию. И в каждом из этих случаев выступает проблема значения.

Выше мы уже говорили, что знак и значение составляют единство, которое мы разбиваем на элементы только путем абстракции. Нет знака без значения (даже естественный знак, не понятый вследствие каких-либо причин, например из-за незнания данного языка, останется не более чем материальным предметом или событием, чернильным пятном, звуком и т. п.). Но и значения «в себе» без знаковой оболочки бытуют только в головах неисправимых метафизиков. Поэтому правильно проведенный анализ знака, то есть анализ знаковой ситуации, анализ общения с помощью знака, должен рассматривать знак только как *целое*, как единство материального носителя (звука, изображения, условного рисунка и т. д.) и значения. Говоря об определении и типологии знаков, мы предполагали это единство и постоянно обращались к смысловой стороне знаков, если это влияло на их классификацию и типологию, — но мы обращались к ней как к чему-то данному и само собой разумеющемуся. Это не лучший, но, к сожалению, неизбежный путь там, где приходится иметь дело с взаимозависимостью или с более тесной связью между сторонами или элементами анализируемого вопроса.

Поэтому пора заполнить этот пробел, так как иначе будет невозможен анализ знака, а вследствие этого анализ процесса общения. Тем более что проблема значения очень важна (хотя бы с точки зрения важности частоты возникновения знаковых ситуаций и их роли в общественной жизни), и одновременно эта проблема не только не однозначна и не общепонятна, но, напротив, принадлежит к разряду необычайно запутанных и трудных проблем.

Следует с самого начала определить круг наших интересов, указать важные для нас в данном контексте вопросы, которые мы рассмотрим в дальнейшем, а также вопросы, которыми мы заниматься не будем.

В свое время Ч. К. Огден и И. А. Ричардс посвятили проблеме значения монографию под названием «The Meaning of Meaning». Целью этой монографии было, в частности, исследовать, в каких смыслах употребляется в литературе (особенно философской) слово «значение». Перечислив в разделе VIII варианты разных значений «значения» и показав, что в этом вопросе господствует такая неразбериха, которая не снилась философам, хотя именно они главные виновники ее, — авторы, желая положить конец той малопродуктивной логомахии, решили выявить те смыслы слова «значение», которые действительно употребляются. В разделе IX, посвященном этому вопросу, Огден и Ричардс показывают, что существует 16 смысловых групп этого слова, причем отдельные группы имеют побочные значения. В итоге они обнаружили 23 различных, иногда очень далеких друг от друга, значений «значения».

Встает вопрос: исчерпывающий ли этот список? Не существует ли других значений этого слова?

Этот вопрос важен и интересен в определенном аспекте. Однако нас не интересует полный список возможных использований слова «значение» в разговорном и научном языке. Впрочем, этот список нельзя установить ни безотносительно (вследствие разных употреблений слова «значение» в рамках национальных языков), ни стабильно (вследствие постоянных словообразовательных процессов). Нас же интересует определенный ряд употреблений этого слова, а именно ряд, относящийся к пониманию значения слова «значение» в связи с функцией знака в процессе коммуникации, с функцией, которая делает возможным выход из сферы субъективного мышления в сферу интересующей субъективной передачи мыслей, сопровождающейся их

пониманием. Если мы определим самым общим образом и без всякой претензии на точность, что значение является именно тем, благодаря чему обычный материальный предмет, качество этого предмета или же событие становятся знаком, то есть что значение является элементом знаковой ситуации или процесса коммуникации, то окажется, что мы ни в какой мере не устранили многозначности этого слова, но значительно ее ограничили. Это ограничение вдвойне важно: и потому, что оно освобождает нас от обязанности кропотливого смыслового анализа, выходящего за пределы интересующей нас проблематики, и потому, что позволяет нам более точно определить границы наших изысканий.

Мы все еще говорим о значениях, а не об определенном значении «значения». Но прежде всего мы стремимся к тому, чтобы, определив эти значения возможно более точно, покончить с бесплодным вербализмом, с пустой логомахией, чтобы можно было смело повторить принятое в качестве мотто Огденом и Ричардсом высказывание Льюиса: «Словесная дискуссия может быть важной или лишенной важности, но хорошо по крайней мере знать, что она словесная».

Многозначность слова «значение» и в этом ограниченном нами объеме объясняется, во-первых, объективной многосторонностью знаковой ситуации, в рамках которой выступает функция знака, называемая нами значением, а во-вторых, разнородностью аспектов, которые мы при анализе знаковой ситуации извлекаем из нее, задавая различные вопросы о действительных процессах в зависимости от концентрации нашего внимания, обусловленной практически или теоретическими причинами, на тех или иных сторонах этих процессов. Следовательно, здесь взаимодействуют объективные и субъективные факторы, а в результате возникает многозначность использованного нами слова.

## 1. О ЗНАКОВОЙ СИТУАЦИИ

Наша задача (как мы ее понимаем) заключается не только в констатации этой многозначности и в определении тех значений, которые действительно выступают при использовании слова «значение» в названных нами слу-

чаях, но и в оценке различных концепций, связанных с этими значениями. Но такая задача требует чего-то большего, чем способности к семантическому анализу того или иного слова, тонкому выявлению разных его значений. Здесь нужно уточнить собственные взгляды, занять не только какую-то позицию в спорах, разделяющих философские школы на большие лагеря, но и занять особое положение в этом специальном вопросе, связанном с процессом коммуникации людей. Общие подразделения и обобщенные точки зрения в философских спорах не приводят автоматически к решению специальных и к тому же очень сложных проблем.

Проблема значения принадлежит, несомненно, к наиболее важным и наиболее интересным в философском отношении проблемам эпохи. Это звучит уже банально на фоне бесконечных деклараций о ее важности. Тем не менее приходится еще раз повторить эту истину хотя бы для того, чтобы не быть заподозренным в пренебрежении к ней или в ее недооценке. Но этой важной проблемой можно воспользоваться по-разному: можно сделать из нее предмет научного анализа (пусть не всегда удачного и правильного), можно использовать ее как отправную точку для упомогачительных метафизических спекуляций. С последним случаем мы имеем дело в теории значения Гуссерля, которая — о, чудо! — находит сторонников даже среди позитивистски настроенных мыслителей. Тем больше внимания следует уделить правильному исходному положению анализа, так как от этого прежде всего зависит успех или провал предпринятых исследований.

Наше исходное положение было уже определено: это реальный процесс общения людей, реальная знаковая ситуация. Но приступая к анализу конкретной проблемы значения и принимая во внимание множество существующих попыток и решений, часто откровенно метафизического характера, мы хотели бы добавить кое-что к тому, что уже было сказано выше о нашей отправной точке.

Вслед за Котарбинским я хотел бы с самого начала выступить против языкового гипостазиса, который не раз приводил к метафизическим извращениям проблемы. «Нет такой вещи, которая была бы значением», — в данном случае эта антигипостазисная формула является не излишним педантизмом, а весьма полезным напоминанием (например, если речь идет о теории Гуссерля), «Значение» —



это типичное сокращенно-заменительное название, говорящее не о каком-то бытии (материальном или идеальном), которое было бы значением, а о людях, которые приходят к взаимопониманию, используя определенные предметы или события как средства передачи друг другу мыслей об окружающем их мире. Об этом стоит помнить, погружаясь в глубины проблематики значения, чтобы не подпасть под влияние ложного, но все еще привлекательного метафизического положения, что там, где есть название, должен быть и предмет, к которому это название относится.

Поскольку речь идет об онтологической стороне затронутых нами вопросов, хотелось бы поставить точки над «и». Тем более что проблематика значения и понятия предполагает некоторую онтологическую точку зрения, а отсутствие последовательности в анализе этой проблематики не позволяет подробно рассмотреть все связанные с нею вопросы.

Прежде всего следует пояснить, что, когда я говорю «существовать» или «быть», я понимаю эти слова в духе материализма. В соответствии с этим пониманием «существует» или «есть» — в прямом смысле — это все то, что, имея материальный характер, существует независимо от сознания познающего и является внешним возбудителем наших чувственных впечатлений. Именно так существуют вещи (материальные предметы), которые в широком значении этого слова (включаящем и такую вещь, как поле энергии) являются формой проявления того, что мы определяем абстрактным названием «материя» (подобную трактовку вопроса мы находим у Энгельса в «Диалектике природы»). Это *прямое* значение слова «существует» и это соответствующая интерпретация так называемого малого квантификатора в математической логике. Прямое значение слова «существует» сводится к двум утверждениям: 1) то, что существует, обладает объективным, независимым от сознания познающего бытием и 2) бытие является материальным бытием, то есть таким, которое свойственно вещам в широком значении этого слова. Подобная интерпретация прямого значения слова «существует» характерна для любой формы материализма, и поэтому соответствующие положения пансоматического реизма, несомненно, материалистичны.

Вещи существуют, однако, не изолированно, а в связях, которые позволяют говорить о материальном един-

стве мира. Мы говорим, что существуют связи и отношения между вещами, что существуют свойства и качества вещей (то есть то, что выступает у всех экземпляров данного класса или совокупности вещей и отражением чего в человеческом сознании являются так называемые абстрактные понятия), что существуют процессы или события (то есть что соответствующие факторы материального мира или вещи как-то изменяются), что существуют формы, состояния и действия тех фрагментов материального мира, которые мы называем людьми, и т. д. Когда мы говорим во всех этих случаях «существует» или «есть», то условие объективного бытия (в этом смысле речь идет не о произвольном порождении ума познающего, но о самом более или менее точном познании чего-то, что выступает независимо от сознания познающего и вообще от всякого сознания, хотя сам факт познания субъективно окрашен) оказывается выполненным, но иначе, чем в предыдущем случае. Отношения, качества, процессы, состояния не являются вещами (как, например, люди, дома, стулья, камни и т. д.), хотя они всегда касаются вещей, то есть материального мира. И здесь также речь идет о каком-то фрагменте материального мира, в данном случае слово «существует» следует понимать в *переносном* смысле (в реизме говорят о сокращенно-заменительных выражениях: чтобы не говорить о том, что свойственно вещам, что происходит с вещами и т. п., мы говорим просто, что существуют качества, отношения, состояния и т. п.). В той мере, в какой реизм отличается от номинализма, его точка зрения и по этому вопросу совпадает с общим положением материализма.

Если мы говорим, что существуют понятия значения и т. д., то говорим именно в переносном смысле. Приписывание им непосредственного существования было бы чистой воды объективным идеализмом, который утверждает объективное существование каких-то идеальных бытий как единственных или выступающих наряду с материальными бытиями. Такая философская позиция, конечно, неприемлема для материалиста. Отсюда вытекает важность разграничения различных смыслов слова «значения», многозначность которого невозможно преодолеть в естественном языке, отсюда же важность борьбы с гипостазисами, особенно в тонких и скользких рассуждениях о значении, понятии и т. д.

Стоит также поставить некоторые точки над «и» в вопросе о философских аспектах процесса коммуникации. Особенно важен для нас ответ на вопрос: «Как понимать то, что люди могут находиться в одинаковых умственных состояниях?» Мы согласились с положением, что одним из условий возникновения «одних и тех же умственных состояний» является отражение одного и того же предмета в сознаниях, обладающих одинаковой структурой. Что есть и что может быть этим отражающимся в сознании «предметом», который служит источником «одних и тех же переживаний»? Мы решительно отбрасываем мысль о существовании каких-то идеальных предметов, столь дорогую сердцу таких ученых, как Больдано, Фреге, Brentano, Гуссерль и др. С материалистической точки зрения возможно только одно решение: предмет, представляющий собой в познавательном отношении общий противочлен разных субъектов, есть материальный мир, конкретно проявляющийся в форме вещей (в широком смысле этого слова).

Все связи, отношения, качества и свойства состояния и действия и т. п. составляют предмет познания не как самостоятельные материальные или идеальные предметы, но как *объективно* выступающие отношения, качества, состояния и т. п. каких-то фрагментов материального мира, то есть *вещи*. Следовательно, они являются объективным предметом познания постольку, поскольку связаны с фрагментами материального мира, всегда представляющими собой предмет в прямом и основном значении этого слова (этот вопрос аналогичен рассмотренной выше проблеме «существования» в прямом и переносном значении).

После этого короткого отступления, объясняющего наше понимание смысла слов «предмет» и «существует», вернемся к основному ходу рассуждений. Речь идет, во-первых, об уточнении того, чем является знаковая ситуация, в рамках которой выступает то, что мы называем значением, во-вторых, о том, что мы подразумеваем под значением.

Мы уже многократно упоминали о коммуникативном процессе как основе анализа знака и значения. Тем самым мы говорили о знаковой ситуации, потому что там, где имеет место общение, также выступает знаковая ситуация: ведь мы понимаем друг друга только и исключительно

с помощью знаков. Это положение правильно, но говорит еще о немногом. Чтобы расширить его, следует глубже проанализировать знаковую ситуацию. Именно с этой целью я хочу представить три концепции: Огдена и Ричардса, Э. С. Джонсона, а также Гардинера. Этот выбор не случаен постольку, поскольку все эти концепции оперируют близкими, хотя и различными схемами, которые дополняют друг друга, образуя ступени на пути к правильному, по моему мнению, пониманию вопроса.

Огден и Ричардс — авторы ставшей уже классической книги<sup>1</sup> о теории значения, и они, несомненно, имеют в этой области большие заслуги. Это объясняет, почему их диаграмма знаковой ситуации считается классической, хотя не подлежит сомнению, что заключенная в ней мысль высказывалась уже раньше (например, Рассел). Однако, поскольку нам важен не исторический приоритет, а определенная типичная точка зрения по интересующему нас вопросу, мы можем смело считать произведение Огдена и Ричардса выражением этой точки зрения.

Огден и Ричардс — сторонники причинной теории значения; они утверждают, что между отдельными членами семантического отношения существует причинная связь. Но нас здесь интересует не эта сторона проблемы, а прежде всего понимание знаковой ситуации (а вместе с ней и значения) как определенного *отношения*.

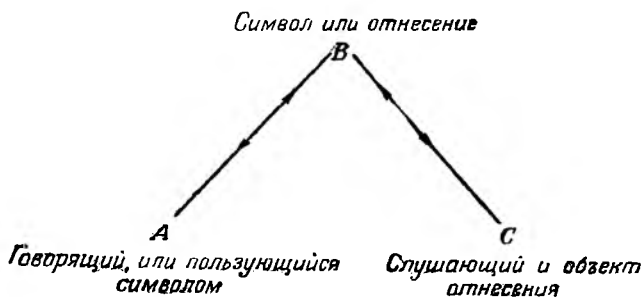
Огден и Ричардс выделяют три следующих элемента знаковой ситуации: символ (в их терминологии равнозначный знаку), предмет (referent) и мысль — посредник между ними (reference). Немного искусственная терминология (referent и reference) объясняется их отрицательным отношением к таким терминам, как «предмет», в связи с довлеющим над ними грузом определенной семантической традиции.

Положение вещей совершенно ясно. Авторы говорят о коммуникации и о знаковой ситуации, но эта последняя сводится для них к описанному в диаграмме треугольнику: *символ* что-то символизирует, вызывая соответствующую *мысль*, которая относится к *предмету*. Связь символа с предметом (referent) является опосредствованной, только в исключительных случаях возникает непосредственное отношение, а именно у основания треугольника, где мы имеем дело с подобием знака и предмета (иконический знак).



Авторы энергично отвергают мнение, что в знаковой ситуации отношение возникает только между знаком и мыслью. Они считают такую точку зрения (например, у Балдвина в «Thoughts and Things») солипсической и подчеркивают необходимость «отчетливого признания мира вне нас»<sup>2</sup>. В то же время авторы ничего не говорят о людях, которые общаются между собой.

Люди появляются в диаграмме Джонсона<sup>3</sup>. Книга Джонсона не имеет слишком большого значения, скорее это типичная американская работа из области общественных наук. Я выбрал ее для иллюстрации, так как автор принимает схему Огдена и Ричардса, наполняя ее совершенно иным содержанием. У Джонсона также фигурируют три элемента знаковой ситуации (он вполне определенно говорит о процессе коммуникации), но их качества и расстановка характерным образом отличаются от первой схемы. Вот «треугольник соотнесенности» (the triangle of reference) Джонсона:



Не только схема, но и терминология (reference, referent) явно заимствованы у Огдена и Ричардса. Правда, автор придает ей совершенно иной смысл («reference» выступает здесь не в значении «мысль», а в значении «frame of reference», то есть «системы соотнесенности», а «referent» — это не «предмет», а «тот, к кому обращена речь»), но это только приводит к путанице. В самом деле, терминология «the symbol of reference» и «Hearer and referent» вызывает вполне обоснованные претензии. Нас же интересует здесь иное, принципиальное изменение всей знаковой ситуации, основывающееся на том, что на месте отношения «символ — предмет» через посредство мысли вводится отношение «говорящий — слушающий», а следовательно, отношение людей, общающихся через посредство знака. Автор как-то соединяет символ (знак) с мыслью (хотя неясно, на чем основывается эта связь), обходя молчанием предмет, о котором идет речь.

Иначе решается проблема у Гардинера<sup>4</sup>, который представляет последовательно реалистическую и одновременно последовательно общественную теорию коммуникации, а тем самым и концепцию знаковой ситуации, избегая, таким образом, фетишизации знакового и смыслового отношения.

Гардинер — выдающийся лингвист. Вот два характерных его высказывания, хотя и специально подобранных, но типичных для него.

«Временно определим речь как явление использования людьми артикулируемых звуковых знаков в целях передачи друг другу своих желаний и взглядов на вещи. Прошу обратить внимание на то, что я не отрицаю существование в языке мысленного элемента, но акцент в моем определении приходится не на этот элемент. Я хочу подчеркнуть, во-первых межчеловеческий характер речи, во-вторых, тот факт, что она относится всегда к действительности, то есть к действительным явлениям, имеющим место как во внешнем мире, так и в сфере внутреннего человеческого опыта»<sup>5</sup>.

«Поэтому говорящее лицо, слушатель, а также предметы, о которых идет речь, — это три основных фактора нормальной речи. Необходимо добавить к ним еще высказанные слова»<sup>6</sup>.

Гардинер не приводит диаграммы знаковой ситуации, но ее без труда можно сконструировать, исходя из его

высказываний. В этом случае, однако, придется воспользоваться не треугольником, а другой геометрической фигурой, так как, по Гардинеру, обязательными для характеристики знаковой ситуации являются по меньшей мере четыре элемента. Это прежде всего два объясняющихся друг с другом человека, затем предмет, о котором они говорят, а также связанный с мыслью знак, с помощью которого это общение реализуется. Если знак и мысль рассматривать отдельно друг от друга, то этих факторов мы насчитаем не четыре, а пять. Меньше всего нас занимает геометрическая форма (это могла бы быть трапеция или два треугольника, надписанные над общим основанием и т. п.). Важно другое, а именно то, что здесь схвачены существенные элементы и отношения, возникающие в знаковой ситуации. Именно поэтому я считаю точку зрения Гардинера правильной.

Прежде всего ею ставится предел своеобразной и распространенной в литературе фетишизации знака и знаковой ситуации (как мы увидим, это имеет огромную важность и для анализа проблемы значения). Иначе говоря, отбрасывается утверждение, будто бы знаковая ситуация означает отношение знаков между собой или отношение знака и предмета, знака и мысли о предмете и т. п. (такое утверждение вытекает из словарных, логических операций, а также из частичных анализов и исследований на тему: «что значит слово «х», что значит «красный флаг» и т. п., то есть из всех тех операций и исследований, из которых вытекало бы, что знаки имеют самостоятельное бытие). Осознан и отчетливо показан тот факт, что знаковая ситуация возникает как *отношение между общающимися людьми*, которые с целью общения «создают» знаки. Говоря о борьбе с фетишизацией знака, мы воспользовались выражением Маркса, который создал в «Капитале» термин «товарный фетишизм», занимаясь вопросом, чрезвычайно сходным с нашим. Мы ищем смысл «значения», Маркс же хотел выяснить смысл «стоимости». В процессе анализа он убедился, что у людей, изучающих обмен товаров на рынке, создается впечатление, будто товары сами взаимно обмениваются и в результате этого отношения экономической стоимости — это отношения между товарами. Заслуга Маркса состояла в доказательстве того, что в действительности речь идет об отношениях между производителями товаров, между людьми, а следовательно,

об общественных отношениях, что в товарах «овеществляется» общественная работа и что именно она служит основой и мерилom отношений обмена, а также того, что мы называем стоимостью. Открытие «товарного фетишизма» было настоящим переворотом в понимании экономических отношений. Аналогичное явление мы наблюдаем в случае знаковой ситуации и значения. И здесь часто господствует своеобразный «знаковый фетишизм», затрудняющий в значительной степени понимание и разрешение проблемы. Следует принять большую научную заслугу тех, кто опровергает этот фетишизм или хотя бы борется с ним, указывая на тот банальный факт, что знаковая ситуация есть отношение между людьми, «создающими» знаки (или использующими их), хотя не всегда можно согласиться со всеми утверждениями этих ученых. Я говорю об этом потому, что Гардинер в *этом вопросе* не первый и не единственный. Оставляя на минуту в стороне марксистскую концепцию, следует сказать, что понимание этого существенного для теории коммуникации вопроса выступает в принципе у всех прагматистов и бихевиористов, а также и у сторонников других взглядов, оказавшихся в сфере влияния прагматизма (примером может служить, с одной стороны, связанный с неопозитивизмом Моррис, а с другой — близкий к Кассиреру Урбан; оба они американцы, и на обоих оказал влияние прагматизм). Заслуга и исключительность Гардинера состоят в том, что он сумел соединить борьбу против «знакового фетишизма» с последовательно реалистическим (следовало бы сказать, материалистическим) пониманием отношения знака к объективной действительности.

Известно, что Гардинер занимается языком и речью, а следовательно, он касается также словесных знаков. Но это вовсе не ограничивает важности и общего характера его выводов. Лингвисты, говорит Гардинер, никогда не забывали о роли слов (словесных знаков) в процессе общения людей. Наоборот, на фоне этой роли для них часто терялись все другие элементы, а именно общающиеся люди и предметы, которых касается процесс общения и без которых знаки утратили бы всякий смысл. Именно поэтому Гардинер написал следующее:

«Утверждение, что речь служит для выражения мысли, просто не принимает во внимание тот факт, что я могу говорить о пере, которым пишу, о своем доме, книгах,



семье, наконец, обо всем на свете. *Если языкознанию суждено получить когда-нибудь более широкий отзвук, то его решительно необходимо поставить на основы более реалистические, чем теперь.* Самый примитивный крестьянин знает, что он может говорить обо всех вещах, которые он замечает или которых он касается. Отчего же эта правда должна быть скрыта от исследователя языка?»<sup>7</sup>

Нетрудно заметить, что в процессе этого анализа, а в особенности благодаря соответствующему подбору анализируемых текстов мы получили положительный ответ на вопрос, что следует понимать под «знаковой ситуацией». Критика «знакового фетишизма», так отчетливо выступающего в схеме Огдена и Ричардса, имплицитно содержалась как у Джонсона, так и у Гардинера. Критика идеализма в интерпретации знаковой ситуации эксплицитно выступает у Гардинера, который одновременно признает роль мысленного фактора в процессе коммуникации, хотя в отношении слова он объединяет знак и мысль в одно нераздельное целое. В итоге, присоединяясь к точке зрения Гардинера, можно утверждать, что знаковая ситуация имеет место тогда, когда по крайней мере два человека объясняются при помощи знаков, чтобы передать друг другу свои мысли, выражения чувств, воли и т. п., связанные с каким-нибудь предметом (*univers du discours*), которого касается общение. Иначе говоря, там, где выступает знак и знаковая ситуация, знак должен относиться непосредственно или опосредствованно к какому-нибудь предмету и должны функционировать по крайней мере два участника процесса общения с помощью этого знака: тот, кто использует знак с целью передачи своей мысли, и тот, кто воспринимает и интерпретирует этот знак (то есть понимает его). В этом свете знаковая ситуация столь же обычна и повседневна, как и процесс общения с помощью знаков, то есть единственный известный нам в практике процесс общения людей.

В знаковой ситуации заключается также проблема значения, ибо значение, как известно, неразрывно связано со знаком. Знак без значения — это внутренне противоречивое понятие, потому что только то, что мы называем значением, создает из материальных предметов и явлений знаки; значение же без знака — такое же произведение идеалистической спекуляции, как движение без движущейся материи.

Итак, у нас есть исходный пункт для рассмотрения проблемы значения, для оценки чужих точек зрения и создания собственной. Начнем с перечисления *возможных* интерпретаций значения, приведя вначале действительно существующие взгляды и самые важные комбинации, которые можно получить, оперируя элементами знаковой ситуации:

- 1) значение — это предмет, названием которого является знак;
- 2) значение — это свойство предметов;
- 3) значение — это идеальный предмет или внутреннее свойство мысли;
- 4) значение — это отношение:
  - а) между знаками,
  - б) между знаком и предметом,
  - в) между знаком и мыслью о предмете,
  - г) между знаком и деятельностью людей,
  - д) между людьми, общающимися с помощью знаков.

Конечно, эта классификация, как и всякая другая, грешит схематизмом. Однако в ее пользу говорит то, что она позволяет учесть и упорядочить главные взгляды по этому вопросу, и одновременно изложение и критика чужих точек зрения приводят систематическим образом к позитивному представлению нашей собственной точки зрения.

## 2. ЗНАЧЕНИЕ КАК РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Что может быть проще, чем вырвать из контекста знаковой ситуации (и тем самым абсолютизировать их) такие элементы, как предмет, к которому относится общение, или мысль об этом предмете, неразрывно связанную с так или иначе замещающим предмет знаком? Тем более что концентрация внимания именно на этих элементах не всегда вытекает из ошибочной теоретической точки зрения, но часто диктуется требованиями и потребностями практики. Поэтому, хотя отождествление значения с обозначаемым предметом теоретически полностью противоположно отождествлению его с мыслью об этом предмете, оба решения относятся к одному и тому же типу и могут быть рассмотрены одновременно.

## А. «Значение» как обозначаемый предмет

Разделение «значения» и «обозначения», игравшее большую роль у Фреге<sup>8</sup>, было забыто, а затем заново открыто Расселом<sup>9</sup>. В результате эта проблема связывается с именами обоих этих логиков и философов (формально говоря, Гуссерль также затрагивает этот вопрос в «Логических исследованиях», т. II, ч. 1, стр. 47, но в свете его учения об интенциональных актах упомянутое различие приобретает специальный характер и требует особого анализа).

Рассматривая два выражения — «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» — Фреге затрагивает проблему их значения.

В результате исследований он приходит к следующему выводу: в одном смысле значение этих выражений совпадает, в другом они различаются. А именно когда мы спрашиваем: «Что значит «утренняя звезда»? «Что значит «вечерняя звезда»? — и при этом нас интересует *предмет*, который обозначают эти выражения (названием которого они являются), — значения обоих выражений идентичны, потому что они обозначают один и тот же предмет. Если же нас интересует *содержание* этих выражений, способ, которым они обозначают свои предметы, то их значения различны. Подтверждением этому служит тот факт, что можно употреблять эти выражения в процессе языкового общения и знать их определения, не отдавая себе отчета в том, что они относятся к одному и тому же предмету. Однако в этом нет ничего странного, так как речь идет о различных вопросах и в связи с этим о разных значениях «значения». Поэтому Фреге закрепляет за каждым из них отдельное название: для первого *Bedeutung* (Рассел переводит это как *denotation*, а Блэк — как *reference*), для второго — *Sinn* (*meaning* у Рассела, *sense* у Блэка). В первом случае, когда мы спрашиваем: «Что это значит?», мы задаем этот вопрос в смысле «Что это такое?» — нас интересует указание на предмет, десигнат, название; во втором случае мы спрашиваем о содержании названия. Поэтому справедливо утверждение Фреге:

«Само название (слово, знак, комбинация знаков, выражение) *выражает* свое значение, заменяет что-либо или *обозначает* то, к чему оно относится. С помощью знака мы выражаем его значение и обозначаем его предмет»<sup>10</sup>.

Я не затрагиваю здесь проблемы обозначающих предположений, которая составляет главный предмет исследований Фреге, а особенно Рассела. На этой основе Рассел строит свою теорию дескрипций. В данном контексте нас интересует прежде всего разграничение значения и обозначения. Во всяком случае, оно равнозначно с утверждением, что «значение» в определенном смысле совпадает с предметом, названием которого является данное выражение (я понимаю здесь слово «выражение» в широком смысле, охватывающем как словесные знаки, так и их комбинации).

Из этого несомненного факта следует конкретный вывод: в связи с отчетливым различием этих значений и особым характером конкретного вопроса: «Что это значит?» — следует пользоваться совершенно отличной терминологией во избежание недоразумений и логических неточностей. Это сделал Фреге. Подобным же образом поступает Т. Котарбинский<sup>11</sup>. Отметим это особое значение «значения» у названий, оговорив одновременно, что это специальный случай (название) и что многозначности в значительной степени можно избежать, если последовательно различать термины «значение» и «обозначение».

Концепция Фреге восходит к традиции денотации и конпотации понятий в теории Д. Ст. Милля, хотя она не идентична с этой последней. Однако к концепции Милля непосредственно обращаются сторонники точки зрения, упомянутой в нашей классификации в пункте 2. А именно речь идет о понимании «значения» как внутренне присущего свойства предмета, к которому относится знак. «Предмет» понимается здесь особым образом — как идеальный предмет, понятие. В этом случае сумма черт, создающих сущность понятия, рассматриваемого как объективное бытие, равнозначна — согласно излагаемой нами концепции — значению. Следовательно, значение заключается в предмете, и точно так же можно сказать, что значение *есть* предмет, поскольку оно равнозначно сущности предмета. Конечно, мы не берем на себя ответственности ни за эти «предметы», ни за эти «сущности». Мы просто излагаем эту точку зрения, желая выявить фактически выступающие значения «значения». Другую крайность в решении этой проблемы значения представляет собой теория Гуссерля.

В нашей классификации эта концепция фигурирует в пункте 3, где сгруппированы теории, рассматривающие значение как идеальный предмет или как внутренне необходимое свойство мысли. Если принять во внимание только внешнюю, декларативную сторону высказываний Гуссерля, то его теория не подходит под эту рубрику, наоборот, автор всячески отрешивается от такой концепции. Поэтому следует обосновать нашу классификацию, и этому послужат дальнейшие рассуждения. Но вначале я хотел бы объяснить другое: почему я уделяю концепции Гуссерля значительно больше внимания, чем другим.

Есть две причины этого: влияние теории Гуссерля на современную философию вообще и на польскую философию в частности. Это последнее соображение оказалось для меня решающим. Тот факт, что позитивистски настроенные мыслители, как, например, Айдукевич<sup>12</sup>, Чежковский<sup>13</sup>, оказались под влиянием теории значения Гуссерля, по меньшей мере странен и является, по-моему, большим философским недоразумением. Независимо от наших симпатий или антипатий в отношении позитивистских течений не подлежит сомнению, что они совершенно противоположны исходным позициям феноменологии Гуссерля, философия которого, несомненно, создание гениального ума, но одновременно она свидетельствует о том, что союз точности выражения и идеализма, граничащего с мистикой, не невозможен и что нельзя фетишизировать требования формальной правильности и точности рассуждений. Я не принадлежу к тем «радикалам» из числа воспитанников Львовско-варшавской школы, которые, идя за неопозитивизмом, готовы считать бессмыслицей всякий вывод, противоречащий их критериям научности. Я не утверждаю также, что «не понимаю» Гуссерля. Я понимаю смысл слов в его книгах, хотя часто это удается мне с трудом. Но не понимаю, как люди, выдвигающие требования строгой научности философских положений, могут примирять свою точку зрения с мистикой гуссерлевских концепций значения, интенционального акта и т. д. Что это — просто недоразумение или «снисходительная» интерпретация слов Гуссерля, не принимающая во внимание контекста высказываний? Впрочем, это не самое главное. Важен тот факт, что наша философия, традиции которой

столь чужды феноменологии, могла оказаться восприимчивой к концепции Гуссерля. Отсюда ясно, что этому вопросу следует уделить больше внимания, чем это кажется на первый взгляд.

Банально утверждение, что понимание какой-либо идеи философской системы требует ее интерпретации в *контексте* этой системы. Однако это следует напомнить сторонникам интенциональной концепции значения. Интерпретация теории значения и интенциональных актов у Гуссерля требует привлечения всей его системы с «epoché», «eidōs» и «Wesensschau», с теорией универсалий, феноменологическим методом и т. д. Как же можно иначе понять, что значит в этой системе «предмет», чем является интенциональный акт, заключающий в себе предмет и т. п.? А обо всем этом нет, к сожалению, ни слова в работах польских сторонников интенциональной концепции. Напротив, читая эти работы, можно составить совершенно неверное впечатление, что теория Гуссерля является разновидностью психологической теории, которая занимается диспозициями людей, говорящих на каком-нибудь языке. Как решительно протестовал бы Гуссерль против столь очевидного непонимания его основных мыслей! Я не собираюсь излагать здесь положения сверхсложной философской системы Гуссерля и вытекающих отсюда последствий для проблемы значения (*все* важнейшие его положения допускают такие последствия). Однако я хотел бы тут представить по крайней мере те его положения, без которых, по-моему, вообще невозможно понять концепцию интенционального акта, а тем самым и концепцию значения Гуссерля.

Общеизвестно, что Гуссерль, будучи идеалистом и продолжая платоновские традиции, не только признает существование идеальных бытий, но и рассматривает значение именно как такое бытие.

Будем лояльными: сам Гуссерль не только не признается в платонизме, но даже *expressis verbis* отказывается от него: «можно также сказать, что значения создают класс *понятий* в смысле *общих предметов*». Но это не значит, что они являются предметами, которые существуют — если даже где-то не в нашем «мире», то в каком-нибудь *τολός οὐράνιος* или в божественном сознании; ибо создание таких метафизических гипостазисов было бы абсурдом»<sup>14</sup>.

Это утверждение вызывает у нас скептическое отношение, так как мы помним высказывание Маркса о том, что людей, как и общественные классы, следует оценивать не по их собственным мнениям о себе, а в соответствии с их действительными поступками. Этот скептицизм возрастает по мере дальнейшего чтения.

«...Тому, кто привык понимать под бытием только «реальное» бытие, а под предметами — только «реальные» предметы, покажется ошибочным рассуждение о предметах вообще и их бытии; в то же время в этом не увидит ничего предосудительного тот, кто сначала подходит к таким формулировкам просто как к указателям на справедливость некоторых определенных суждений, а именно таких, в которых речь идет о числах, предложениях, геометрических фигурах и т. п., и только потом задает себе вопрос, не следует ли и в этом случае, как и в других, дать тому, о чем говорится в суждении (в качестве коррелята справедливости суждения), название «действительно существующего предмета». И в самом деле, с точки зрения логики семь параллелограммов — это семь предметов, точно так же, как семь мудрецов, а утверждение о параллелограмме сил — это один предмет, точно так же, как город Париж»<sup>15</sup>.

Не ошибся ли Гуссерль в оценке своих собственных и близких ему взглядов? Но важно не это, а несомненный объективно-идеалистический смысл воззрения Гуссерля на проблему идеальных бытий, в особенности значений.

Гуссерль вполне откровенно признает идеальные бытия:

«В наши намерения не входит, конечно, ставить в один ряд бытие идеальных предметов с существованием в мысли фиктивных или абсурдных предметов... Идеальные предметы действительно существуют. Очевидно, мы не только сознательно говорим о таких предметах (например, об одном и том же числе 2, об одном и том же качестве — красноте, об одном и том же законе — законе противоречия и т. п.) и представляем их себе наделенными свойствами, но и схватываем, несомненно, некоторые категорические истины, относящиеся к таким идеальным предметам. Если эти истины справедливы, то должно существовать все, объективно обусловленное их справедливостью. Если все, что существует, мы справедливо признаем существующим и существующим как таковое

в силу очевидности, с какой мы воспринимаем его в мыслях как существующее, то не может быть речи об отрицании своеобразного права идеального на существование. Действительно, никакое искусство интерпретации мира не способно исключить идеальные предметы из нашего языка и мышления»<sup>16</sup>.

Комментарии излишни. Различие между этой точкой зрения и платонизмом не больше, чем между желтым и зеленым чертом. Во всяком случае, взгляд Гуссерля на идеальные бытия вообще тесно связан с его взглядом на значение как идеальное бытие. Ибо для Гуссерля значение есть объективное идеальное бытие. Кто не видит и не понимает этого, тот не поймет теорию интенциональных актов и интенциональную концепцию значения.

«До сих пор мы говорили преимущественно о значениях, которые, как на это указывает обычный релятивный смысл слова «значение», являются значениями выражений. Но, по сути дела, не существует необходимой связи между идеальными единствами, которые фактически функционируют как значения, и знаками, с которыми они связаны, то есть с помощью которых они реализуются в духовной жизни человека. Поэтому мы не можем утверждать, что все подобного рода идеальные единства эксплицитно являются значениями. Каждый случай образования какого-либо нового понятия показывает нам, как реализуется значение, которое до этого никогда не реализовалось. Числа в идеальном смысле, предполагаемом арифметикой, не возникают и не исчезают одновременно с процессом счета, и поэтому бесконечный ряд чисел представляет совокупность общих (родовых) предметов, которая строго ограничена идеальной закономерностью и которую никто не может увеличить или уменьшить. Так же обстоит дело с идеальными, чисто логическими единствами: понятиями, предложениями, истинами, короче говоря, с логическими значениями. Они создают идеально замкнутую совокупность общих (родовых) предметов, для которых случайно то, что они мыслятся и выражаются. Следовательно, существуют бесчисленные значения, которые в обычном, относительном понимании этого слова представляют собой лишь возможные значения, так как они никогда не были выражены и вследствие ограниченности познавательной способности человека никогда не могут быть выражены»<sup>17</sup> (курсив мой.— А. Ш.).



И здесь комментарии излишни. Приведенная цитата ясно и отчетливо выражает взгляды автора на проблему значения. Отступая от принятого в этой работе правила, я ограничиваюсь почти исключительно цитатами. Я делаю это вполне сознательно: и потому, что цитаты лучше передают мысль автора, и потому, что речь идет о взглядах, несколько странных для современного ученого, что может вызвать подозрение в неточности передачи или искажении излагаемой точки зрения.

Понимание Гуссерлем задач так называемой чистой логики свидетельствует о том, что приведенные выше воззрения не являются исключением в рамках системы. Говоря о неустойчивости значений слов, Гуссерль отличает актуальные психические процессы, в которых значение неустойчиво и изменчиво, от значений как идеальных единиц, которые являются неизменными. Итак, значение всегда одно и то же, а его выражения могут быть различными и переменными. Это неизменное значение непосредственно связано с так называемой чистой логикой и ее задачами.

«Действительно, чистая логика, поскольку она занимается понятиями, суждениями, заключениями, имеет дело исключительно с этими идеальными единствами, которые мы здесь называем значениями...»<sup>18</sup>

Это вполне понятно, если учесть, что для Гуссерля, верного традиции Больцано, значение как идеальное бытие тождественно суждению в логическом смысле (то, что по-английски называется *proposition* в отличие от *sentence* и *judgement*). По этой концепции актуально переживаемые и изменчивые акты суждения — это одно, а идеальное содержание или суждение в логическом смысле, неизменно сопутствующее различным высказываниям, — совершенно иное. Точно так же, как Пирс различал знак как переживание данной знаковой ситуации и знак как определенный тип переживаний таких ситуаций, и здесь имеет место соответствующее различие суждений. С той, однако, оговоркой, что для суждений в логическом, а не психологическом смысле признается статус идеальных бытий. Именно они тождественны значениям и составляют область «чистой» логики.

«Идеальный характер отношения между выражением и значением сразу же проявляется по отношению к обоим членам в том, что, спрашивая о значении какого-либо

выражения (например, квадратичный остаток), под выражением мы понимаем, конечно, не произносимое *hic et nunc* звуковое образование, не тот преходящий звук, который в идентичной форме никогда не повторится, а выражение *in specie*. Выражение *квадратичный остаток* всегда одинаково, независимо от того, кто его произносит. Это же относится и к значению, говоря о котором мы, конечно, имеем в виду нечто иное, чем переживание, создающее значение»<sup>19</sup>.

Вопрос вполне ясен, ясен также и механизм создания объективно-идеалистической системы. Исходным пунктом всей конструкции значения как идеального бытия для Гуссерля является тот факт, что, имея дело с каким-нибудь высказыванием, например «квадрат — это четырехугольник с равными сторонами и углами», мы имеем дело с определенной мыслью, которая повторяется в каждом случае актуального возобновления этого высказывания с пониманием его смысла, независимо от индивидуальных различий между конкретными психологическими актами, сопутствующими этому высказыванию. Для Гуссерля это достаточное основание, чтобы считать значение неизменным идеальным бытием, не зависимым от конкретных переживаний суждений именно с этим значением.

«Мой акт суждения является мимолетным переживанием, возникающим и преходящим. Но то, что составляет содержание моего высказывания, то, о чем в нем говорится, например, что *три высоты треугольника пересекаются в одной точке*, не возникает и не исчезает. Но сколько бы я или кто-нибудь другой ни произносил одно и то же высказывание, связывая с ним один и тот же смысл, каждый раз суждение создается заново. В каждом случае акты суждения различны. Но *то, что* в них содержится, *что* утверждает высказывание, во всех случаях одно и то же. Это то, что идентично в самом точном значении этого слова,— одна и та же геометрическая истина. И так происходит во всех высказываниях, даже если то, что они утверждают, является ложью или просто абсурдом. Как идентичность интенций мы обнаруживаем их (то есть идеальные значения) также в очевидных актах рефлексий. Мы их не вкладываем произвольно в высказывания, а находим их там»<sup>20</sup>.

Эта концепция значения как идеального бытия является объективным идеализмом. Ниже мы увидим, что у Гуссерля

она связана с субъективным идеализмом. Однако пусть нас не вводит в заблуждение это мнимое противоречие. Идеальные предметы, абсолютные идеи в системах объективного, абсолютного и т. п. идеализма — это не что иное, как индивидуальное сознание, искусственно перенесенное в надындивидуальную сферу и таким образом абсолютизированное. Объективный идеализм в этом понимании представляет собой лишь измененную форму субъективного идеализма. У Гуссерля механизм этого перевоплощения (мы познакомились с ним выше) выступает очень отчетливо. За исходный пункт принимаются индивидуальные акты понимания каких-то выражений, экстраполируется то общее, что остается в этих индивидуальных переживаниях после отбрасывания их переменных элементов, связанных с индивидуальностью лиц, переживающих данный акт, с ситуацией этого переживания и т. д., и таким образом *конструируется* так называемое суждение в логическом значении или же значение в идеальном смысле. Собственные рассуждения Гуссерля, цитированные выше, свидетельствуют о том, что это суждение является конструкцией, и показывают, *какая* это конструкция (несмотря на заверения Гуссерля, что речь идет здесь о засвидетельствованном действительностью акте непосредственного наблюдения сущности). Именно поэтому теорию Гуссерля можно поместить под рубрикой «значение как идеальный предмет или ингерентное свойство мысли». Ведь значение как идеальное бытие есть не что иное, как абсолютизированное ингерентное свойство мысли, связанной с определенными переживаниями понимания слов. Это подтверждает тесная связь этой концепции с теорией интенциональных актов.

Поскольку мы уже убедились в том, что Гуссерль понимает значение как идеальное бытие, перейдем к вопросу об интенциональных актах и об интенциональной концепции значения, которые нашли отражение в нашей отечественной литературе.

Кто хочет рассмотреть концепцию интенциональных актов в понимании Гуссерля и применить ее к проблеме значения, тот должен помнить не только о значениях как *идеальных предметах*, но также о всей теории, касающейся *сущности* вещей и их *непосредственного наблюдения*. Концепция «*epoché*», «*eidōs*» и «*эйдетического наблюдения*», принципиально важная для феноменологического метода,

развилась в период после «Logische Untersuchungen», где была изложена теория значения и теория интенциональных актов. Но уже и в этом произведении мы встречаем мысли, составляющие основу этих взглядов. Прежде всего мысль о непосредственном наблюдении значения как идеального бытия и следствиях, вытекающих отсюда для интенциональной концепции значения.

«То, чем является «значение», может быть дано нам так же непосредственно, как дано нам то, чем являются цвет и тон. Дальше мы уже не можем определять, это уже дескриптивный предел»<sup>21</sup>.

Мы имеем не только непосредственное наблюдение значения, но также и критерий, позволяющий выделить во всех индивидуальных высказываниях идентичное значение, а именно критерий очевидности. Этот критерий вместе с теорией интенциональных актов и интенциональных предметов Гуссерль воспринял у своего учителя — Франца Brentano.

. «...Мы имеем здесь дело не просто с гипотезой, которая может быть узаконена только путем возможности ее объяснения, мы принимаем это как истину, которая может быть воспринята непосредственно, и, поступая так, мы следуем за самым высоким авторитетом во всех вопросах познания — за очевидностью»<sup>22</sup>.

Только когда мы поняли, что значение, как утверждает Гуссерль, является идеальным бытием, «единством во множественности», единством вида, когда мы поняли также, что значение доступно нам в непосредственном наблюдении, — только тогда мы сумели понять интенциональную концепцию значения.

Вспомним вначале об элементарных сведениях о теории интенционального акта. Как уже говорилось, эту теорию Гуссерль воспринял от Франца Brentano, который в свою очередь продолжает схоластическую традицию. В конечном итоге сюда и уходит своими корнями вся концепция интенциональных актов. Не вникая глубоко, следует, однако, для понимания концепции Гуссерля познакомиться не только с «Психологией» Brentano, на которую Гуссерль ссылается, но также и с перепиской Brentano с Марти, Краузе и др. на тему об интенциональных предметах<sup>23</sup>.

Даже поверхностное знакомство с теорией интенционального акта показывает, что жестоко ошибся бы тот,

кто захотел интенциональный акт в понимании Гуссерля, следовательно, его интенциональную концепцию значения, отождествить с положением о том, что, произнося определенные слова, мы получаем то или иное понимание высказывания. Теория интенционального акта содержит также утверждение о тех или иных психических диспозициях, относящихся к пониманию выражений. Но в ней заключается еще много других утверждений, которые здравомыслящему человеку могут показаться по меньшей мере странными и которые «благоприобретаются» вместе с теорией интенциональных актов, с которой они неразрывно связаны.

По мнению Brentano (соответствующие положения которого воспринял Гуссерль), различие между отдельными типами переживаний основано на «способе связи сознания с определенным содержанием» или, используя терминологию средневековой схоластики, на их *интенциях*. Гуссерль пишет:

«В восприятии присутствует нечто воспринимаемое; в образном представлении — нечто образно представляемое, в высказывании — что-то высказываемое, в любви — нечто любимое, в ненависти — нечто ненавистное, в желании — что-то желаемое и т. д... Для нас здесь важно одно: то, что существуют специфические и существенным образом отличающиеся от всех остальных разновидности интенционального отношения, то есть интенции (которые определяют дескриптивный родовой характер данного «акта»). Способ, которым «только самое представление» определенного положения вещей мыслит этот свой «предмет», отличается от того способа, с помощью которого суждение признает это положение вещей истинным или ложным»<sup>24</sup>.

Итак, интенциональным актом является каждое переживание, в котором имеется отнесение, отношение сознания к определенному содержанию или, иначе, — к интенциональному предмету. Ибо, как мы увидим, содержание сознания и интенциональный предмет — это одно и то же. Различие интенций зависит от различия этого содержания или интенционального предмета. Не следует, однако, считать, что речь идет здесь о реальном отношении сознания к предмету или что интенциональный акт и предмет — это две вещи, реально выступающие в сознании<sup>25</sup>. Существует лишь интенциональное переживание, характерной чертой которого является именно данная интенция.

«...Представляем ли мы себе данный предмет, выносим ли о нем суждение и т. д., зависит полностью и исключительно от специфического характера интенции. Если здесь имеется переживание, то тем самым — я подчеркиваю, что это относится к самой его *сущности*, — осуществлена интенциональная «отнесенность к определенным предметам», то есть определенный предмет становится интенционально существующим, ибо и первое, и второе выражения означают одно и то же. И очевидно, что такое переживание может выступить в сознании с этой своей интенцией, хотя его предмет вообще не существует и даже не может существовать; предмет мыслится, значит, мысль о предмете является переживанием; но тогда это лишь мыслимый предмет, а в действительности — ничто»<sup>26</sup>.

Далее Гуссерль поясняет свою мысль на конкретном примере представления о боге Юпитере. Юпитер является интенциональным предметом моего воображения, но при анализе своего переживания я не найду этого предмета ни в уме, ни вне ума (ни *in mente*, ни *extra mentem*). Просто его нет нигде, и, несмотря на это, представление о боге Юпитере — истинное переживание. Но самое интересное то, что, согласно Гуссерлю, факт существования предмета интенции ничего не меняет.

«С другой стороны, если интендируемый предмет существует, то это ничего не меняет с феноменологической точки зрения. Сущность того, что дано, не меняется для сознания в зависимости от того, существует ли воображаемый предмет или он является фиктивным или абсурдным предметом. Юпитера мы представляем себе не иначе, чем Бисмарка, Вавилонскую башню не иначе, чем Кёльнский собор, правильный тысячеугольник не иначе, чем правильный тысячгранник»<sup>27</sup>.

Странной может показаться теория, в которой говорится о связи сознания с содержанием, об интенциональном предмете акта с тем, чтобы потом заявить, что не только вообще не существует никакого предмета, но и не может существовать, так как, по определению, акт *сознания* выступает только и исключительно как интенциональный акт. В другом месте той же работы<sup>28</sup> Гуссерль объясняет, что выраженное содержание в объективном смысле тождественно со значением и с предметом. Этот вопрос становится более ясным на фоне последующего развития теории. В свете феноменологической *epoché* признаются

недействительными суждения, не имеющие отношения к чистому сознанию, а через него к *eidos*, то есть к сущности вещи. *Эйдетическая редукция* исключает суждение из вопроса об индивидуальном существовании предмета, а *трансцендентальная редукция* идет еще дальше, отрицая все, что не является коррелятом чистого сознания. Таким образом, как справедливо отмечает Бохенский<sup>29</sup>, от предмета остается только то, что дано субъекту. Реальный мир полностью переносится в чистое сознание, лишаясь своего независимого и абсолютного характера, становясь лишь «интенциональным предметом», содержанием сознания.

Это субъективный идеализм чистейшей воды, который вступает в противоречие с объективно-идеалистическим содержанием теории Гуссерля об идеальных бытиях, в том числе и о значениях. Эта действительность проявилась как в развитии собственной теории Гуссерля, так и в развитии феноменологической школы.

Для нас может представить интерес еще одна проблема: существует ли у Гуссерля связь между объективно-идеалистической концепцией значения как идеального бытия и субъективно-идеалистической концепцией интенциональных актов? Создал ли он некую однородную теорию значения?

И да, и нет. Да — в том смысле, что Гуссерль отчетливо объединяет обе концепции в одно целое определенным образом; мы продемонстрируем это ниже. Нет — в том смысле, что внутренний раскол на объективный и субъективный идеализм остается, а обе концепции связывает лишь узкий и ненадежный (с точки зрения однородности теории) мостик.

Вот как Гуссерль создает этот мостик:

«...Этими разнородными единичностями в отношении идеально единого значения являются, конечно, соответствующие им моменты акта значения, смысловые интенции. Следовательно, значение так же относится к каждому соответствующему акту значения, как, например, краснота *in specie* к лежащим здесь полоскам бумаги, которые все «имеют» эту же самую красноту»<sup>30</sup>.

В другом месте мы читаем:

«Много людей испытывают то же самое желание, если они имеют одну и ту же интенцию желания. У одного желание может быть полностью выражено; у другого — нет,

у одного оно, включая связь с содержанием представления, являющимся его основой, абсолютно ясно, у другого — более или менее затемнено и т. д. В каждом из этих случаев идентичность «того, что существенно», основывается на двух выделенных выше моментах: одном и том же качестве акта и одной и той же материи. Это справедливо и для выразительных, а особенно для *сообщающих значение актов*, а именно, как уже было сформулировано выше, то, что является в них *специфически смысловым*, то есть то, что составляет действительный феноменологический коррелят идеального значения, совпадает с их интенциональной сущностью»<sup>31</sup>.

Ситуация ясна. Согласно Гуссерлю, отдельные интенциональные акты являются как бы спецификацией идеального значения, их интенциональные предметы совпадают с феноменологическим (то есть проявляющимся в сознании) коррелятом идеального значения. Итак, значение — это идеальное бытие, которое проявляется в интенциональных актах вследствие непосредственного наблюдения сущности вещей, эйдетического наблюдения. Удовлетворителен ли этот «мостик», об этом пусть думают сторонники этой точки зрения, а для противников этот небольшой недостаток (*Schönheitstehler*) — пустяк по сравнению с основными положениями теории. Таким образом, мы достигли цели: представили теорию значения Гуссерля. Я признаю Гуссерля гениальным философом, отличающимся необыкновенной точностью мышления. Именно поэтому он стал одним из величайших интеллектуальных вредителей нашей эпохи. Соперничать с ним в этом может лишь Бергсон. На чем основано это вредительство? На распространении метафизических, антинаучных взглядов, которые у Гуссерля проявились во всем блеске точности, что должно было произвести большое впечатление.

Если речь идет о моем отношении как философа, стоящего на почве диалектического материализма, к теории значения Гуссерля, то оно очевидно и однозначно. Как идеальные бытия, так и эйдетическое наблюдение, эйдетическую и трансцендентальную редукцию, интенциональные акты и т. п. я считаю продуктами антинаучных взглядов, запоздалыми отголосками систем идеалистической философии. Почему я так считаю? Прежде всего из-за отчетливой противоположности этих взглядов требованиям научного метода мышления, который является врагом



всяких интуиционизмов и требует, между прочим, интересубъективной коммуникативности исследуемых фактов и возможности проверки результатов исследований. Я уже сказал, что не считаю все это бессмыслицей и болтовней, оформленной грамматически в форму предложений. Не утверждаю я также, что «не понимаю», что было сказано. Мой «либерализм» в сравнении со взглядами наших позитивистов проистекает из того, что я с известным скептицизмом отношусь к возможности разрешения философских споров. В заключительном докладе о логическом атомизме (из серии докладов, прочитанных в 1918 году) Бертран Рассел высказывает свои мысли о соотношении философии и науки. В целом его мнение, безусловно, ложное, его пессимизм в оценке роли философии неоправдан. Но в чем-то его прония оправдана.

«...Как я думаю, единственное различие между наукой и философией заключается в том, что наука — это то, что более или менее известно, а философия — то, о чем ничего не известно. Философия — это часть науки, о которой люди решаются высказать некоторое суждение уже сейчас, но о которой они ничего не знают. Ибо всякий прогресс науки лишает философию каких-нибудь проблем, которые до тех пор относились к ее области. И, конечно, с той минуты, когда они становятся разрешимыми, значительная часть философских умов перестает ими интересоваться, так как для многих любителей философии ее привлекательность основана на свободе спекуляций, на возможности выдвижения гипотез. Выдвигается та или иная гипотеза, которая может быть правильной, и, пока не выяснится, что есть правда, такое упражнение чрезвычайно полезно; однако когда уже откроется правда, вся эта полезная игра фантазии теряет смысл существования в данной области — тогда ее покидают и переходят к следующей»<sup>32</sup>.

Тот факт, что философские споры продолжаются тысячи лет и что принципиальные точки зрения в этих спорах продержались тысячелетия, что и теперь ведется полемика такого же характера, о котором когда-то прекрасно написал Шиллер в своих «Ксениях»:

Einer, das höret man wohl, spricht dem andern.  
Doch keiner  
Mit dem andern; wer nennt zwei Monologe  
Gespräch,

этот факт должен, кажется, подтвердить правильность по крайней мере некоторых утверждений Рассела, полных горькой иронии. И что же из того, что я отброшу теорию Гуссерля как плод воображения, не имеющий ничего общего с наукой, если Гуссерль и его сторонники ответят мне с равным апломбом, что именно их точка зрения сверхнаучна и что это я занимаю ложную позицию. Что из того, что я потребую научного доказательства существования идеальных бытий, если их сторонники приведут мне сверхнаучное, по их мнению, доказательство — очевидность. Я могу множить аргументы, доказывающие антинаучность точки зрения моего противника, а могу — если почувствую сильную потребность в этом — охарактеризовать его взгляды с социологической точки зрения, приписывая им определенную функцию в классовой борьбе. Я лично все это считаю правильным и методологически верным. Однако имеется существенный недостаток: этого мало для *переубеждения противника*, если тот остается при своих исходных посылках. И здесь кроется принципиальное различие между философией и, например, математикой, химией или какой-нибудь экспериментальной наукой. В точных науках подсчет или эксперимент в принципе решают спор. В философии не так. Об этом свидетельствуют предшествующие труды по философии, а также наша философская современность. Я не вдаюсь в рассуждения, почему это так, и не считаю также, что этот факт окончательно компрометирует философию. Но необходимо помнить о таком положении вещей и сделать отсюда соответствующие выводы. Этих выводов не захотели сделать ни мои коллеги из марксистского лагеря, ни многочисленные позитивистски настроенные польские философы. Основной же вывод из этого следующий: нельзя игнорировать или обвинять в утверждении бессмыслицы сторонников философских взглядов, с которыми мы не соглашаемся.

Что же может сделать философ в такой ситуации? Прежде всего он должен принять к сведению существование противоположных взглядов. Из этого вытекают и дальнейшие последствия. Поскольку эти взгляды мне чужды и даже вредны, по моему мнению, для прогресса человеческого знания я должен бороться с ними как философ. В области философии к победе может привести только переубеждение противника с помощью соответствующих

аргументов: я должен внимательно изучить его взгляды, чтобы суметь бороться с ним правильным образом. Только такое изучение создает возможность победы, не давая, однако, уверенности в ней. Но чтобы не погибнуть на этой зыбкой и вязкой почве философской проблематики, где человек движется иначе, чем на почве точных наук, одно является безусловно обязательным: мы должны признать не только то, что существуют разные пути решения философских проблем, но и то, что эти пути разные. Видя и понимая эти различия, мы должны ясно отдать себе отчет в том, какой дорогой и куда мы стремимся пойти. С точки зрения максималистов, это, конечно, немного, в действительности же, однако, это не пустяковые требования.

### 3. ЗНАЧЕНИЕ КАК ОТНОШЕНИЕ (1)

Среди теорий, которые понимают значение как отношение, особого внимания заслуживают две последние в нашем списке. Именно этими теориями мы займемся отдельно, а остальными — только мимоходом.

Когда мы спрашиваем: «Что значит слово?», то часто речь идет о переводе этого слова на понятный для нас язык, особенно когда мы спрашиваем о значении слов незнакомого нам языка или о неизвестном для нас слове языка, которым мы владеем. Когда, читая французский текст, я спрашиваю: «Что значит la chaise?», то, конечно, речь идет о переводе слова la chaise на польский язык. Ответ: la chaise значит стул — полностью меня удовлетворяет, и я считаю, что узнал значение данного слова. Подобным же образом дело обстоит, когда я спрашиваю о значении какого-нибудь неизвестного мне термина, например технического, в польском языке. Я говорю «подобным образом», потому что механизм объяснения здесь иной. Речь идет не просто о подстановке слова в одном языке на место соответствующего слова в другом, а об определении термина. Например, я спрашиваю: «Что такое дифференциал?» — и получаю ответ типа: «Дифференциал — это то-то и то-то», потому что я фактически хотел получить объяснение, *что такое* дифференциал.

Значение в этих случаях — не что иное, как отношение знаков, отношение между определяемым (definiendum) и определяющим (definiens), при этом в качестве опреде-

ляющего может выступить или словесный знак известного нам языка, или же определение слова на этом языке. Значение такого типа мы называем *словарным* значением. Это одно из наиболее распространенных значений «значения», обладающих реальной важностью.

Если речь идет о «значении», понимаемом как отношение знака к предмету или к мысли о предмете (по мнению некоторых, к понятию предмета), а следовательно, о значении «значения», которое доминирует в семантике, разрабатываемой логиками, то оно требует критического обсуждения на широкой теоретической основе. Мы вернемся к этой проблеме при рассмотрении последнего пункта нашего списка, когда рассмотрим основы марксистской теории значения. Ибо только в этом контексте мы сможем надлежащим образом оценить плюсы и минусы перечисленных нами концепций.

Точку зрения, противоположную психологической, или менталистической, концепции значения, занимает биологическая концепция и все те ее разновидности, которые связывают значение знака с реакциями организма, проявляющимися в действительности. Значение в свете этой концепции — это отношение знака к биологической реакции организма на этот знак или — в общественной интерпретации — отношение знака к человеческой деятельности в широком смысле этого слова. Если подходить к биологической концепции с этой стороны, то можно установить связь теории Павлова не только с прагматизмом, операционизмом и семиотикой Морриса, но также со многими идеями неопозитивизма.

Отчетливей всего антименталистский характер этой концепции значения виден в теории рефлексов Павлова. Прежде всего потому, что она вообще исключает категорию значения и представляет знаковую ситуацию — а следовательно, и процесс коммуникации — в категориях раздражителей и реакций. Специфика человеческой коммуникации, то есть коммуникации с помощью звукового языка, сводится к *более сложной* системе раздражителей и реакций на них — путем введения еще одной, высшей группы раздражителей как сигналов. Я не собираюсь излагать здесь теории условных рефлексов, это совершенно излишне. Я не буду также повторять сказанного выше относительно термина «сигнал» вообще и «сигнал сигналов» в частности. Для наших целей достаточно указать, что

категория значения (в вышепринятом понимании) исчезает в свете физиологической концепции Павлова, а отношение, которое в менталистском понимании носит традиционное название «значение», обозначает отношение знака («сигнала» в терминологии Павлова) к ассоциирующемуся с ним рефлексу. Иначе говоря, то, что традиционно носит название «значение», фактически является рефлексом организма на знак (сигнал).

И. П. Павлов не касался в своей теории философской стороны проблемы значения, а исследовал лишь некоторые специфические физиологические реакции организма. Несмотря на это, его теория имеет важные, хотя и не непосредственные философские последствия. Непосредственным же образом она выступает в тех *философских* направлениях, которые решают проблему значения по образцу биологической концепции.

Прежде всего имеется в виду прагматизм. Не прагматизм в издании Джемса, но прагматизм, который восходит к Пирсу, а затем растекается по разным руслам, зачастую объединяя общим названием разнородные тенденции — от крайнего субъективизма до взглядов, родственных в тех или иных вопросах с материализмом. Именно с прагматизмом связывается тенденция бихевиористского понимания значения.

Говоря о решениях по образцу биологической концепции, я имею в виду не заимствование некоторых положений этой концепции, а сходство решений. Это касается, конечно, Пирса, который изложил свои идеи задолго до И. П. Павлова.

В 1878 году в статье «How to Make our Ideas Clear» Пирс развил основные положения своего прагматизма. Там он также высказывает точку зрения, что значение — это не что иное, как практические результаты мысли в деятельности. В частности, он пишет:

«...Функция мышления целиком основывается на выработке навыков деятельности... Поэтому, чтобы выяснить его (мышления. — А. Ш.) значение, достаточно просто определить, какие навыки оно вырабатывает, потому что значение какой-нибудь вещи — это не что иное, как только связанные с ней навыки»<sup>33</sup>.

А немного дальше он делает вывод: «Поэтому нам кажется, что принцип, позволяющий достигнуть третьей ступени ясности понимания, звучит так: следует продумать,

какие результаты с практическим значением (которые мы в силах себе представить) может иметь предмет нашего понимания. И вот наше понимание этих результатов — это и есть наше понятие в целом о предмете»<sup>34</sup>.

Эту идею Пирс впоследствии развивает в статьях, опубликованных в 1905 г. в «The Monist», прежде всего для того, чтобы отмежеваться от эпигонов, лишаящих прагматизм глубины. Эта идея очень проста: значение — не что иное, как результаты и определенные навыки деятельности. Результаты чего, навыки, связанные с чем? Пирс говорит в этом абзаце о мышлении. Но Пирс отлично понял знаковый характер коммуникации мысли и связь значения со знаком. Мы обнаруживаем здесь идею, сходную с той, которую позднее развил И. П. Павлов, хотя их исходные положения совершенно различны. Эта идея позднее легла в основу различных интерпретаций внутри самого прагматизма, оказав, однако, влияние и на другие направления философской мысли.

Внутри прагматизма две крайние тенденции по этому вопросу представляют, с одной стороны, Ф. Х. С. Шиллер, а с другой — Джордж Г. Мид.

В 1920 г. «Mind» поместил на своих страницах материалы симпозиума, посвященного вопросам значения. Главными участниками дискуссии были Шиллер, Рассел и Иоахим. Шиллер, исходя из положений прагматизма, придает прагматистской теории значения, трактующей его как результаты, проявляющиеся в человеческой деятельности, чисто субъективистский и волюнтаристский характер.

«А если значение — это не внутреннее свойство предметов, не какое-то статичное «отношение» между предметами, даже не отношение между предметом и субъектом, а в сущности своей — деятельность или поведение, принятые субъектом по отношению к предметам и излучающие в них энергию, как  $\alpha$ -лучи, так долго, что предметы в свою очередь становятся активными и начинают излучать «значение»? Именно здесь спрятан ключ к тайне «значения», если этот ключ вообще существует»<sup>36</sup>.

Сразу же после этого Шиллер высказывается за волюнтаристскую интерпретацию значения, чтобы дальше провозгласить, что «Meaning is essentially personal» и что поэтому значение относительно по сравнению со всей индивидуальностью субъекта»<sup>37</sup>.

Другую интерпретацию проблемы, согласную с утверждениями Пирса, предлагает Джордж Г. Мид<sup>38</sup>. Однако у этого автора заметно непосредственное влияние теории Павлова, хотя он говорит не о рефлексах организма, а о его ответах (response). Одновременно Мид подходит к проблеме значения с общественной стороны в контексте процесса коммуникации. Из многих высказываний Мида я процитирую для иллюстрации несколько, особенно убедительно подтверждающих его мысль:

«Значение возникает и помещается в сфере связи между будущим данного человеческого индивида и такой его деятельностью, которая должна проявиться в отношении к тому, на что он указал жестом другому человеческому индивиду»<sup>39</sup>.

«Сущность значения нельзя понимать как состояние сознания или как ряд организованных отношений, которые существуют или сохранились в сфере мысли, за пределами опыта, в состав которого они входят; наоборот, значение следует в сущности своей понимать объективно, как существующее целиком в границах этого опыта. Ответ одного индивида на жест другого в любом общественном акте является значением этого жеста»<sup>40</sup>.

«...В значении содержится связь жеста данного индивида с общественным актом, на который указывает или который начинает этот жест и который возникает в результате приспособительного рефлекса другого индивида; этот приспособительный рефлекс является значением жеста»<sup>41</sup>.

Взгляды этого направления прагматизма, которое видит значение в результатах, проявляющихся в человеческой деятельности, в результатах обмена мыслей с помощью знаков, сближаются с тенденциями, имевшими место в двадцатые и тридцатые годы в логическом атомизме Рассела, в логическом эмпиризме (неопозитивизме), в операционализме и семиотике. Впрочем, все эти связанные между собой направления взаимно влияют друг на друга, а их тенденции в проблематике значения имеют сходные источники. Речь идет об обобщении практики ученых-экспериментаторов (прежде всего в случае операционализма), ученых-естественников и представителей точных наук (неопозитивизм), борющихся — хотя и субъективно — с метафизикой традиционной философии. Другой вопрос, в какой степени им это удавалось, а в какой степени они

сами создавали основы новой метафизики. Однако при всем критическом отношении к философии, связанной с позитивизмом, следует отметить, что многочисленные попытки найти практическую интерпретацию значения были вызваны серьезностью проблемы.

Самым интересным с этой точки зрения является операционализм, основатель которого Бриджмен выступает как физик, старающийся выяснить в интересах собственной науки некоторые общие теоретические категории, особенное внимание уделяя перевороту, произведенному в ряде понятий теорией относительности Эйнштейна. Я не знаю, имели ли место личные связи и обмен взглядов между Бриджменом и Венским кружком: во всяком случае, проблематика значения и осмысленности высказывания, которая сыграла такую серьезную роль в эволюции неопозитивизма, ставится со всей остротой именно у Бриджмена. Имеются в виду два положения. Во-первых, что значение— это сумма операций, действий, соответствующих данному термину, или, иначе говоря, значение термина следует искать в том, что человек делает, а не в том, что он говорит. Во-вторых, что вопрос имеет значение (то есть что он не только чисто словесный, но и наделен смыслом), если можно указать операции, приводящие к ответу на него. Вышеприведенные положения очень близко смыкаются с точкой зрения Пирса, с одной стороны, и с неопозитивизмом, о котором речь пойдет ниже,— с другой.

Бриджмен пишет:

«Мы, конечно, знаем, что мы понимаем под длиной, если можем сказать, какова длина какого-нибудь произвольного [предмета и всякого конкретного предмета; физику больше ничего и не нужно. Но, чтобы определить длину предмета, мы должны произвести некоторые физические операции. Ведь понятие длины становится определенным тогда, когда мы определим операции, с помощью которых мы измеряем длину: это значит, что в понятии длины содержится ряд операций, посредством которых мы ее определяем, и ничего более. Вообще говоря, под понятием мы понимаем ряд операций и ничего более; *понятие равнозначно соответствующему ему ряду операций.* Если данное понятие имеет физическую природу, как понятие длины, то ему соответствуют действительные физические операции, а именно те, с помощью которых измеряется длина; если понятие имеет мыслительный



характер, как, например, понятие математической непрерывности, то операции также являются мыслительными; это те операции, посредством которых мы определяем, является ли непрерывным данный ряд величин»<sup>42</sup>.

А немного дальше он так формулирует свою мысль: «Конечно, настоящее значение термина можно определить путем наблюдения того, что человек с ним делает, а не на основе того, что он о нем говорит»<sup>43</sup>.

С этой концепцией значения связывается концепция осмысленности высказывания, которая сыграла такую большую роль в борьбе неопозитивизма против метафизики.

«Если какой-нибудь вопрос имеет значение, то должна существовать возможность найти такие операции, с помощью которых можно ответить на него... Я думаю, что много вопросов на общественные и философские темы окажутся лишены значения, если мы проанализируем их с точки зрения операций»<sup>44</sup>.

В связи с проблемой осмысленности (meaningful) и бессмысленности (meaningless) высказываний следует обратить внимание на определенный момент, который облегчит нам понимание соответствующих концепций неопозитивистов. Речь идет о двусмысленности выражения: «Это высказывание имеет значение» (has meaning). В одном случае речь идет о значении в традиционном смысле, а именно что данное высказывание передает слушателю какое-то содержание. Противоположностью таких высказываний являются нонсенсы, то есть такие сочетания слов, которые не передают никакого содержания вследствие нарушения правил данного языка (например, «идет есть пять») или из-за непонятности отдельных слов (например, «абра — это фикс»). Во втором же случае имеется в виду значение в другом смысле: речь идет здесь о наличии смысла в таких высказываниях, которые разрешимы в практике, в отличие от бессмысленных высказываний, которые имеют грамматическую форму предложений и понятны, но не имеют практических решений и поэтому должны быть признаны пустыми вербализмами. Бессмыслица может иметь словесное значение (или какой-то смысл), она не является нонсенсом, но, будучи утверждением, не имеющим решения и непроверяемым, она лишена практической значимости и не может считаться научным высказыванием. Именно этим различием имеющих

смысл и бессмысленных высказываний и хотели воспользоваться неопозитивисты в своей борьбе с метафизикой.

Основные идеи прагматизма и операционализма в вопросе о значении мы находим в неопозитивизме в виде одного из моментов этого чрезвычайно изменчивого и неоднородного в своей концепции направления.

Исторически неопозитивизм (логический эмпиризм) сформировался под сильным влиянием логического атомизма Рассела, прежде всего через посредство Витгенштейна. Поэтому будет правильным представить теорию неопозитивизма, начиная с точки зрения Рассела и Витгенштейна на значение. Это не слишком просто, потому что речь идет о сложных взглядах, очень не однородных и к тому же подвергавшихся радикальной эволюции (как у Витгенштейна).

Рассел выступает с двумя интерпретациями значения как отношения. По крайней мере одна из них находится под явным влиянием прагматизма и бихевиоризма, а именно та, которая предлагает искать значения знаков, наблюдая за их использованием.

В статье «On Propositions: What They Are and How They Mean»<sup>45</sup> (1919), которая впоследствии легла в основу симпозиума 1920 года, Рассел не скрывает связи с бихевиоризмом<sup>46</sup> и принимает именно его точку зрения в отношении так называемого «демонстративного» использования языка, заключающегося в указании свойств актуально существующего окружения. Понимать языковые выражения в этом случае означает лишь: а) использовать их в соответствующих условиях и б) поступать определенным образом, услышав их. Между знаком и его значением выступает причинная связь в том смысле, что знаки вызываются соответствующими событиями, а они в свою очередь также вызывают другие события — деятельность.

Рассел делает заключение совершенно в духе бихевиоризма (что и заметил оспаривавший его концепцию значений-образов Ф. Х. С. Шиллер):

«Для «понимания» слова не обязательно «знать, что оно значит» в том смысле, что можно сказать: «Это слово значит то-то». Значения слов более или менее неясны, открыть значение слова можно лишь на основе наблюдений за употреблением слова; употребление первично, а значение вытекает из него. Отношение между словом и его значением носит в сущности причинный характер; поэтому

понимание человеком, правильно использующим данное слово, его значения не более вероятно, чем знание законов Кеплера правильно движущейся планетой».

«Он (человек) «понимает» слово, поскольку он делает то, что требуется. Такое «понимание» можно признать свойственным нервам и мозгу в качестве навыков, привитых этим органам во время изучения языка. В этом смысле понимание можно свести к чисто физиологическому закону причинности»<sup>47</sup>.

Все же в теории значения Рассел не переходит на последовательно бихевиористские позиции. В мышлении словесные знаки используются в «описательных» целях, а их задание состоит в описании образов памяти или воображения (мы сказали бы: воспроизводящих и производящих представлений).

«Об этих двух способах употребления слов можно говорить одновременно как об употреблении слов в «мышлении». Этот способ употребления слов не может быть полностью рассмотрен в бихевиористских категориях, так как он зависит от образов. А ведь это самая основная функция слов: прежде всего благодаря связи с образами они осуществляют наш контакт с вещами, отстоящими от нас во времени или в пространстве. Если они функционируют без посредничества образов, нам кажется, что мы имеем дело с телескопическим процессом. *Так проблема значения оказывается сведенной к проблеме значения образов*»<sup>48</sup>.

Итак, наряду с бихевиористской мы находим у Рассела и другую интерпретацию значения, согласно которой значение знаков сводится к воспроизводящим или производящим образам или представлениям. Если, согласно первой концепции, значение принадлежит к области физиологических реакций организма, то, согласно второй, оно относится к сфере психологических переживаний. Однако в обоих случаях знак связан со значением причинными связями.

В этой неоднородной концепции преобладает все же прагматическая идея связи значения с деятельностью и поиски значения в деятельности. Отвечая на упреки Ф. Х. С. Шиллера, Рассел пишет:

«По моему мнению, значение есть свойства «знаков», а «знаки» — это чувственные или воображаемые явления, вызывающие действия, которые соответствуют не им самим, а чему-то другому, с чем они связаны. Возможность дей-

ствовать по отношению к чему-то, что чувственно не воспринимается, является одним из характерных фактов мышления»<sup>49</sup>.

Еще более отчетливо этот вопрос обрисовывается у ученика Рассела, который был связующим звеном между ним и континентом, — у Людвига Витгенштейна. Особенно если учесть его эволюцию от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям» (этот посмертно изданный труд содержит взгляды автора, формировавшиеся в течение нескольких десятилетий).

В «Трактате» Витгенштейн еще стоит на почве концепции значений-образов, хотя уже там проскальзывают и другие нотки. Например, Витгенштейн пишет:

«3.262. То, что не может выражаться в знаке, выявляется при его применении. То, что скрывают знаки, показывает их применение»<sup>50</sup>.

В «Философских исследованиях» идентификации значения и *применения* знака проведена последовательно. Витгенштейн приходит даже к утверждению, что в словах нет ничего, кроме способа их *применения*, что можно было бы назвать значением<sup>51</sup>. Его точка зрения может быть сведена к следующему положению:

«43. По отношению к *большому классу* случаев употребления слова «значение» — хотя и не ко всем — это слово можно объяснить следующим образом: значением слова является его применение в языке»<sup>52</sup>.

Витгенштейн не повторяет положений прагматистов и бихевиористов, хотя и не отличается от них своим подходом к данным явлениям. Значение есть отношения знака к деятельности, но к деятельности особого рода, а именно такой, которая состоит в использовании знака в процессе речи.

На фоне всех этих взглядов становится понятной концепция значения неопозитивизма. В чем здесь дело — в близости или обычном заимствовании взглядов других направлений и ученых — это для нас второстепенный вопрос. Мы хотим только выделить определенную точку зрения, показать ее различные варианты с целью выявления того, что в них типично для конкретного воззрения на значение «значения».

Среди бывших членов Венского кружка двое — Мориц Шлик и Рудольф Карнап — особенно много внимания уделили этой проблеме.

Шлик обратился к проблеме значения в своей работе «Allgemeine Erkenntnislehre» и возвращался к ней впоследствии в ряде статей и докладов, опубликованных в сборнике «Gesammelte Aufsätze». В особенности в этом отношении интересна статья «Meaning and Verification»<sup>53</sup>.

Шлик исходит из положения, принятого впоследствии всем Венским кружком, а именно что значение знака равнозначно методу его проверки. Отсюда переход к концепции бессмыслиц, то есть высказываний, обладающих грамматической формой предложения, но лишенных смысла, ибо они непроверяемы. И эту типично операционалистскую концепцию Шлик связывает с точкой зрения Витгенштейна (на которого он, собственно говоря, и ссылается), что значение выражений проявляется в их употреблении в процессе речи. Это соединение обеих концепций особенно отчетливо выступает в упомянутой статье «Meaning and Verification».

«Каждый раз, задавая вопрос, «что значит» какое-либо предложение, мы ожидаем указания на то, при каких обстоятельствах следует применять это предложение. Установление значения предложения сводится к установлению правил его применения, а это равносильно установлению того, каким образом можно определить истинность или ложность данного предложения. *Значением выражения является метод его верификации*»<sup>54</sup>.

Несколько иначе представлена эта проблема у Карнапа. Он также пережил большую эволюцию от периода логического синтаксиса, когда он утверждал, что логика значения является излишней, до периода семантики («Введение в семантику»), когда он открыто отказался от этой своей теории. По мере эволюции у него появляется понятие «значения», которое первоначально он рассматривал лишь в смысле десигната названия (ср. хотя бы его вступительную статью к «International Encyclopedia of Unified Science» под заголовком «Logical Foundations of the Unity of Science»). Однако в течение всего этого периода Карнапа интересует другой вопрос, а именно *осмысленность* предложений, понимаемая как их проверяемость в той или иной форме. Это очень интересная проблема эволюции неопозитивизма, особенно отчетливо обозначившаяся в эволюции самого Карнапа. Требование полной верификации предложений соединилось у него с точкой зрения Витгенштейна<sup>55</sup> и Шлика на проблему значения. Под

влиянием Поппера выдвигается постулат фальсификации; позднее Карнап занимает более компромиссную позицию («Testability and Meaning»), требуя лишь постепенного подтверждения, а не полной верификации или фальсификации. Как уже было отмечено в связи с анализом взглядов Бриджмена, речь идет здесь о связанных между собой, но не совпадающих полностью вопросах.

В заключение остановимся кратко на концепции значения, представленной в семиотике Морриса.

Если до сих пор мы неоднократно указывали на родство тех или иных воззрений с прагматизмом или бихевиоризмом, то в данном случае перед нами очевидная связь с этими взглядами, так как семиотика — результат союза неопозитивизма с прагматизмом. Тем острее и отчетливее выступают в рамках семиотики те тенденции, которые выше мы назвали биологической концепцией. Значение рассматривается здесь в категориях физиологических реакций организма, а чаще всего это слово вообще не употребляется.

Говоря о взглядах Морриса, следует отличать его взгляды, содержащиеся в работе «Основания теории знака»<sup>56</sup>, от взглядов, изложенных им позднее в книге «Signs, Language and Behavior». Первая, более скромная работа кажется мне более значительной, чем позднейшая, в которой развита система. Именно в «Основаниях» Моррис изложил разумную концепцию значения. Подчеркивая многозначность этого слова, он решительно выступает против его интерпретаций в духе платонизма. Согласно его концепции, значение — это термин из области общественного процесса семиоза (по другой терминологии, знаковой ситуации). Этот термин становится понятным только в контексте этого процесса и связанных с ним терминов.

«Ничто само по себе не является ни знаком, ни носителем знака, а становится им лишь постольку, поскольку посредством его можно осознать нечто иное. Значения в качестве бытий нельзя помещать ни в каком месте процесса семиоза, но их следует определять в категориях этого процесса как целого. «Значение» является семиотическим термином и термином предметного языка; утверждение, что в природе существуют значения, не равнозначно утверждению, что существует класс «существований» наравне с деревьями, скалами, организмами и крас-

ками; такое утверждение означает, что эти предметы и свойства выполняют функции в процессе семиоза»<sup>57</sup>.

Совсем иначе обстоит дело с фундаментальным трудом Морриса о знаках. Это работа с большими претензиями и незначительными результатами. Я целиком и полностью присоединяюсь к принципиальной критике Максом Блэком<sup>58</sup> и Котарбинской<sup>59</sup> содержащихся в ней воззрений.

Моррис хочет перенести проблему знака на почву бихевиоризма. Поэтому он постулирует полный отказ от категории «значения».

«Термин «значение» не включен здесь в основные термины семиотики. Этот термин, достаточно точный в обычном языке, для научного анализа оказывается недостаточно точным. Описания значения обычно расплывчаты и не вскрывают сути знаковых явлений, в то время как техническая семиотика должна нам дать определенные и точные слова. «Значение» означает любую и все фазы знаковых процессов (статус бытия знаков, интерпретацию знака кем-то, факт обозначения и *significatum*), а часто вызывает также мыслительные и оценивающие процессы; поэтому для семиотики желательно обойтись без этого термина и ввести специальные термины для различных факторов, которые не могут быть выделены в «значении»<sup>60</sup>.

Намерение весьма разумное. А его выполнение? Следует согласиться с Блэком, что большая часть этих намерений остается чисто декларативной. Ибо вместо термина «значение» Моррис вводит термин «*significatum*» (пользуясь тем, что английский язык располагает двумя словами для определения термина «значить», а именно «*to mean*» и «*to signify*») как равнозначный тем условиям, в которых знак что-то обозначает<sup>61</sup>, а затем выделяет отдельные разновидности этого же «*significatum*» в зависимости от предрасположенности организма к определенной реакции на подготовительные раздражители.

\* \* \*

Пора подвести итог и обобщить все предшествующие рассуждения.

Во избежание недоразумений я должен еще раз повторить, что у меня была только одна цель: указать на определенный *тип* решения проблемы значения. Следовательно, я не утверждаю, что изложенные взгляды отно-

сятя к одному и тому же философскому направлению, наоборот, между ними существуют часто значительные различия. Я не утверждаю также, что теория значения характеризует эти направления, — напротив, она оказывается иногда в противоречии с другими положениями в рамках той же системы (например, в неопозитивизме). Я утверждаю только, что в различных философских направлениях и школах существует некоторый общий тип решения проблемы значения.

Это решение родилось из оппозиции к метафизическим концепциям типа теории Гуссерля, в которых значение преобразуется в некое идеальное бытие, или к менталистским или психологистическим концепциям, которые помещают значение в духовную жизнь человека и оперируют исключительно психологическими категориями. Этим взглядам противопоставляется концепция значения как своеобразного отношения между знаком и рефлексами организма или его сознательной реакцией в виде определенной деятельности, вызванной этим знаком. В свете этой концепции «значение» означает только отношение между знаком и вызванной им деятельностью или — говоря кратко, хотя и не точно — саму вызванную знаком деятельность. Вместо психологических категорий мы имеем здесь дело с категориями объективного поведения, деятельности организма и таким образом получаем в распоряжение объективный и интерсубъективно наблюдаемый материал для определения и различения значений.

Как оценивать эту концепцию?

Она обладает некоторыми несомненными достоинствами. Во-первых, справедливая оппозиция к метафизике в духе платонизма и ментализму в идеалистическом духе порождает в ней тенденцию рассматривать значение как своего рода отношение. Во-вторых, из тех же самых источников исходит тенденция рассматривать значение в объективных категориях реакций организма или сознательной деятельности.

Но эта концепция обладает и столь же очевидными недостатками. Во-первых, все теории, принимающие за основу отношение знака и деятельности, по крайней мере частично ошибочны, так как допускают фетишизацию знака, о которой говорилось выше. Другими словами, и они не видят, что значение есть прежде всего общественное отношение между общающимися и действующими людьми. Во-вторых,



эти теории, вырастая из оппозиции против одностороннего понимания значения, впадают в другую крайность — упрощают проблему в духе бихевиоризма. Не подлежит сомнению (на это обращал внимание, между прочим, Рассел), что бихевиористская точка зрения терпит полный крах, когда мы хотим осознать коммуникацию в абстрактных вопросах, например если дело касается понимания и значения философского труда, лирической поэзии и т. п.

Конечно, здесь можно было бы перечислить ряд других недостатков, непоследовательностей или просто ошибок изложенной выше концепции. Однако самой действенной критикой ошибочных взглядов является формулировка более удовлетворительной позитивной концепции. Именно это мы постараемся сейчас сделать.

#### 4. ЗНАЧЕНИЕ КАК ОТНОШЕНИЕ (2)

Одним из способов интерпретации значения является понимание значения как специфического отношения между общающимися людьми. В рамках именно этой концепции я хотел бы изложить марксистскую точку зрения на обсуждаемую проблему.

Чтобы избежать недоразумений, я позволю себе представить некоторые объяснения. А именно необходимо выяснить, что значит здесь «изложить марксистскую точку зрения».

Во-первых, это может означать, что автор намеревается изложить взгляды классиков марксизма на данную проблему на основе их собственных высказываний. Однако в данном случае я не сделаю этого хотя бы потому, что у классиков марксизма мы не найдем законченной теории значения. Они просто не занимались этим вопросом, и мы не найдем у них ничего, кроме отдельных заметок на тему о языке и значении.

Во-вторых, это может означать, что автор хочет подвергнуть вопрос анализу с позиций марксизма, пользуясь марксистским методом. Именно таково мое намерение, и именно так следует его понимать. Но из этого вытекают определенные следствия. Исследование какого-нибудь вопроса с определенных методологических позиций не означает монополии на правильное решение. Не только потому, что исследователь может ошибаться и неверно

провести анализ, но также и потому, что разные люди, используя один и тот же метод и исходя из одинаковых теоретических посылок, могут прийти в конкретных вопросах к разным, а с некоторых точек зрения противоположным результатам. Результаты исследования определяются не только методологическими и теоретическими посылками, но также и конкретным знанием данного вопроса, общим знанием, составляющим базу анализируемой проблемы, исследовательскими способностями, творческой изобретательностью и т. д. Во всяком случае, сходных посылок и одинакового метода исследования недостаточно, чтобы прийти к идентичным выводам. Особенно это касается таких трудных, сложных и поэтому чрезвычайно дискуссионных вопросов, как проблема значения. Поэтому, утверждая, что я хочу изложить марксистскую точку зрения на данный вопрос, я имею в виду лишь то, что буду опираться на марксистские положения. Ни в коем случае я не утверждаю, что сказанное мной будет «подлинным» марксизмом и что каждый марксист, который скажет на эту тему что-либо иное, должен быть «отлучен от веры». Я подчеркиваю это тем более, что в посвященной данному вопросу литературе, опирающейся на марксистские положения (прежде всего имеются в виду теоретические лингвистические работы, так как марксистские философские исследования о языке, а в особенности о теории знака и значения, очень немногочисленны), нет точки зрения, к которой я мог бы полностью присоединиться, а есть и такие, от которых я хотел бы отмежеваться самым энергичным образом. Отсюда вывод: признать дискуссионность проблемы и изложить собственную точку зрения как одно из возможных решений.

#### *А. Значение как отношение между общающимися людьми*

Мы неоднократно повторяли, что исходным пунктом всякого эффективного анализа знака и значения должен быть анализ общественного процесса коммуникации, или, иначе говоря, знаковой ситуации. С нее мы и начнем свои рассуждения.

Проблема значения выступает там, где мы имеем дело со знаком в процессе коммуникации людей. В этом смысле значение является определенным отношением между общающимися людьми. Именно об этом значении «значе-

ния» идет речь в данном контексте, остальные находятся вне наших интересов.

Что обозначает наше утверждение, будто значение — это определенное общественное отношение? Это значит приблизительно следующее: кто-нибудь хочет побудить кого-либо к действию, информировать его о своих мыслях, чувствах и т. д. и с этой целью пользуется каким-нибудь знаком — жестом, словом, изображением и т. п.; если намерение достигнуто, то есть если этот некто действительно передал соответствующие мысли своему собеседнику (что видно из ответа или поведения собеседника), то мы говорим, что этот последний понял значение знака. Итак, то, что мы называли значением, выступает там, где возникает сложный общественный процесс, о котором мы говорили выше, анализируя понятие знаковой ситуации. Для возникновения этого процесса необходимы по меньшей мере следующие элементы: 1) два общающихся, а следовательно, мыслящих лица (класса лиц), 2) то, к чему относится их мысль, 3) знак, с помощью которого они передают то, что думают. Но материальные предметы или явления становятся знаками лишь тогда, когда они входят в определенные сложные отношения, прежде всего с людьми, использующими их как знаки, с действительностью, с которой они связаны некоторым образом (например, как название, как изображение и т. п.), с системой знаков, то есть языком, в рамках которой они функционируют. Только в таком контексте предмет или явление становится знаком, иначе говоря, имеет какое-нибудь значение. Поэтому, если не верить в мистику значений «в себе», значений как идеальных бытий, в состав которых входят их материальные оболочки, то следует признать, что при всей многозначности термина «значение» (даже в более узком смысле этого слова, принятом нами здесь) в игру входит определенная система *общественных отношений*. Точно так же общественным отношением является человеческое познание, представляющее собой отношение между познающим субъектом (но общественно организованным субъектом) и познаваемым предметом; общественное отношение — это то, что мы называем «отражением» и т. п. Проблема основывается именно на том, чтобы как можно точнее и глубже выяснить, *каково* то отношение, которое мы назовем значением, или *какую систему* отношений мы так называем.

Это своеобразные отношения между всеми элементами знаковой ситуации: между общающимися людьми, между людьми и действительностью, между людьми и знаком, между знаком и действительностью, между знаком и другими знаками системы. Это отношения различные по типу, лежащие некоторым образом в разных планах, прежде всего в психологическом плане и в плане человеческого поведения и действий. Однако решающим в этих отношениях всегда является *общение людей*. Только в этом контексте понятна знаковая ситуация, понятны знак и значение. Выделение из целого какого-либо фрагмента этих отношений (например, отношения знака к обозначаемой действительности, отношения знаков между собой, даже отношения создателя знака к знаку и т. п.) может быть необходимо в исследовательских целях и, конечно, допустимо. Недопустимо лишь рассматривать этот фрагмент как самостоятельное целое, потому что это создает опасность разного типа «фетишизм».

Итак, значение, во-первых, — это отношение или система отношений между людьми в психологическом плане. Мы можем также говорить о психологической стороне значения. Речь идет об отношении между действующими и мыслящими людьми, которые общаются, то есть передают друг другу и понимают мысли, относящиеся к действительности в самом широком смысле этого слова.

Более подробное выяснение смысла этого отношения и анализ его отдельных элементов заняли бы целые тома. Каждый из этих элементов может самостоятельно составить тему отдельной монографии: начиная с проблемы общественной единицы, то есть общественно организованной человеческой единицы, каждый шаг которой как в сфере практической деятельности, так и в сфере мышления имеет одновременно индивидуальный и общественный характер; включая проблему действительности как предмета познания и общения; включая также проблему знака как посредника в этом процессе; вплоть до проблемы индивидуально и общественно-психологической интерпретации процесса понимания и общения. Как видно, мы имеем дело со сверхсложными вопросами, неразрывно связанными друг с другом. Итак, мы по необходимости должны оперировать до конца не выясненными понятиями, мы должны с мнимой уверенностью передвигаться по весьма зыбкой почве.

С этой оговоркой мы можем сказать, что в психологи-

ческом плане под значением мы подразумеваем то, что позволяет знаку выполнять функцию посредника в процессе коммуникации людей, то есть в процессе передачи ими своих мыслей друг другу. Это «что-то» является сложной системой межчеловеческих отношений, благодаря которым материальный предмет становится знаком. Следует ясно оговорить, что мы не определяем генезиса этого отношения, не объясняем, как происходит то, что материальные предметы и события могут в определенных условиях выполнять столь сложные познавательные и коммуникативные функции, а лишь констатируем некоторые факты.

Совершенно другой взгляд делает возможным анализ действий людей и их поведения. И здесь речь идет об определенных отношениях между людьми, *о тех же самых отношениях*, о которых речь шла выше, но в аспекте объективного поведения людей в практической, мыслительной и т. д. деятельности.

Говоря иначе, значение одинаково принадлежит как к сфере человеческих поступков, так и к сфере человеческого мышления, потому что в действительности эти сферы нераздельно связаны друг с другом. Наблюдение над двусторонностью семантических отношений предохраняет от ментализма, который есть не что иное, как абсолютизация одной из сторон знаковой ситуации. Объективный ментализм приводит к концепции значений как идеальных бытий, а субъективный — к психологизму, признающему значение субъективным свойством автономных мыслительных процессов.

Трактовка значения как определенных межчеловеческих отношений (чрезвычайно важная, по-моему, для правильного анализа этой сложной проблемы) не предохраняет от многозначности термина. Ведь, исходя из этой теоретической предпосылки, можно под «значением» понимать или отношения в целом, складывающиеся при знаковой ситуации (процесс семиоза), или их какой-нибудь отрезок (отношение знака к предмету или к мысли о предмете), или десигнат, или денотация знака (то есть предмет общения независимо от реальности его бытия или предмет, существующий реально), или отношение знака к системе знаков (языку) или к знакам другого языка и т. д. В литературе все эти значения «значения» выступают в более или менее чистой форме. И в нашем изложении можно

было бы указать на многозначное — в этом понимании — употребление термина «значение». В этом нет ничего странного, тем более что для нас задача заключается здесь не в педантическом разграничении разных смысловых оттенков «значения», а скорее в теоретическом взгляде на основу, на которой возникают все эти значения. Следовательно, выяснение этой стороны проблемы требует прежде всего принятия какой-то точки зрения в вопросе о генезисе значения, то есть о генезисе особого свойства, которое превращает предметы и явления материального мира в знаки, делая некоторые предметы и явления чрезвычайно важными посредниками в коммуникации людей *между собой* и — если можно так сказать — *с собой* (так как мысленный монолог есть только иная форма диалога).

### *Б. Генезис значения*

Проблема генезиса значения, факторов, из которых складывается этот генезис, важна не только для раскрытия положения, что значение представляет собой определенное общественное отношение; она важна также для правильного понимания и решения весьма трудного вопроса об отношении значения к понятию.

Именно здесь выявляется третий план, в котором следует рассматривать проблему значения, — логический план. В связи с этим я должен подчеркнуть, что само понимание проблемы в моих предыдущих и последующих рассуждениях на тему генезиса значения сильно отличается от принятого в среде логиков. Возможные упреки в мой адрес по этому поводу были бы необоснованными хотя бы из-за несомненной пагубности одностороннего формально-логического анализа таких проблем, как значение. Об этом свидетельствуют признанные в логическом мире авторитеты — Рассел и Витгенштейн.

В 1919 году в известной работе «On Propositions: What They Are and How They Mean» Рассел так оценил вклад логиков в анализ значения:

«Как известно, логики немного сделали для выяснения природы отношения, называемого «значением», их нельзя даже в этом винить, ибо эта проблема по существу своему психологическая»<sup>62</sup>.

Много лет спустя, уже в конце жизни, Витгенштейн писал: «23. Интересно, как велико разнообразие орудий

языка и способов его использования, разнообразие слов и предложений в сравнении с тем, что говорили логики о строении языка (в том числе и автор «Логико-философского трактата»)»<sup>63</sup>.

Общим в обоих высказываниях является признание того факта, что понимание проблем языка, значения и т. п. только в формально-логическом аспекте приводит к обеднению всей проблематики. Во всяком случае, следует признать, что протест против психологизма не может привести к отрыву вопросов, связанных с психической жизнью людей, от психологии. Тем более он не может привести к отрыву вопросов, связанных с общественной жизнью людей, от этой жизни и ее проявлений в человеческой деятельности.

Ставя вопрос о генезисе значения, мы тем самым спрашиваем о генезисе тех межчеловеческих отношений, которые выступают в процессе общения, спрашиваем, откуда берется возможность выполнения материальными предметами и явлениями функции передатчиков человеческих мыслей, чувств и т. д. Это вопрос по преимуществу психологический и теоретико-познавательный; он не интересует логики, которые или абстрагируются от проблемы значения, или принимают последнюю за данный факт. Однако как можно развивать теорию знака, не ответив на вопрос: что такое знак и значение? А как в свою очередь можно ответить на этот вопрос без исследования генезиса знака и значения, то есть без освещения вопросов из области теории познания, психологии, а также социологии? Конечно, не всякая дисциплина, занимающаяся проблематикой знака и значения, должна поднимать все эти вопросы. Однако ни одна из них, в том числе и формальная логика, не может претендовать на полное понимание этой проблематики, если она обойдет молчанием основные для нее проблемы.

Отвечая на поставленный выше вопрос, следует указать, что генезис значения связывается с историко-общественной практикой людей, неразрывной частью которой является процесс мышления.

Напомним, что — в соответствии с выводами предшествующего раздела об отношении словесного знака к другим категориям знака, — говоря о значении, мы имеем в виду значение звукового языка и словесных знаков, а значения других знаков рассматриваем как производ-

ные по отношению к языковым, как их своеобразный перевод. Вследствие неразрывной, органической связи языка и мышления вопрос о генезисе значения самым тесным образом связывается с вопросом о генезисе человеческих мыслительных процессов. А вместе с этим вопросом на сцену выходит вся богатая проблематика теории познания и связанные с ней аспекты общественной жизни. Мы вновь должны оговориться, что не сможем рассмотреть все сложные вопросы интересующей нас проблемы, самое большее — мы лишь коснемся главных из них.

Когда люди общаются с помощью знаков, знаковая ситуация основывается на том, что познавательное содержание, составляющее своего рода «частную собственность» мыслящего индивидуума, может передаваться в обществе с помощью знака. Таким образом происходит потому, что знак одинаково понимается в общественном масштабе.

Механизм этого «одинакового понимания» основывается на том, что знак (прежде всего мы говорим о словесном знаке) связывается (о характере этой связи речь будет идти ниже) в общественном масштабе с одинаковыми мыслительными процессами и с одинаковыми реакциями в виде деятельности (психологическая и бихевиористская стороны значения). С равным успехом мы можем спрашивать о генезисе значения, как и о генезисе подобного понимания знака. Это лишь разное понимание одной и той же проблемы.

Значение и одинаковое понимание, а следовательно, и тождественные мыслительные процессы (и не только они, но также и тождественные реакции в деятельности) связаны между собой. Оставляя в стороне характер этой связи, займемся прежде всего действительно выступающим сходством мыслительных процессов. Чем оно вызвано, чем обусловлено? Без сомнения, очень многими факторами, среди которых на передний план выдвигается отношение: познающий субъект — предмет — знак. Это сложное отношение, потому что фактически оно представляет комплекс отношений, возникающих между отдельными его членами: субъект — предмет, знак — предмет, субъект — знак.

Значение знака нельзя отделить от познавательной мысли, представляющей субъективное отражение объективной действительности (в специфическом философском



значении слова «отражение», о котором мы не будем говорить подробнее). В определенном смысле значение и отражение предмета в мысли совпадают.

Согласуется ли это с тем, что значение есть отношение? Конечно, согласуется, ведь мы выше установили, что отражение в смысле акта отражения также есть своеобразное отношение.

Значение формируется в процессе отражения объективной действительности в человеческом сознании. При этом речь идет не о простом одностороннем отношении. Значение в определенном отношении является продуктом, результатом познавательного процесса отражения в сознании предмета, к которому относится знак; но одновременно оно есть элемент и даже инструмент этого процесса, потому что без знака нет не только взаимопонимания, но и вообще процесса мышления и познания (прежде всего потому, что без знака, а в особенности без словесного знака, невозможно достигнуть необходимого для понятийного мышления уровня обобщения и абстракции).

В основе генезиса значения лежит тот же самый процесс обобщающего отражения действительности<sup>64</sup>, как и в случае понятийного мышления. В основе генезиса значения, как и в основе познавательного процесса, лежит общественно-историческая практика.

Человек познает действительность, воздействуя на нее, преобразуя ее. Это основное положение марксистской теории познания может показаться тривиальным. Однако следует помнить, что признание этого предполагает признание по крайней мере двух таких философских «мелочей», как существование материальной действительности, а также ее отражение в человеческом сознании, что встречается довольно редко в современной философии. С точки зрения марксистской философии бесспорным является тот факт, что в основе человеческого познания лежит практика — как в смысле его происхождения и цели, так и в смысле критерия его истинности. Тем самым марксистская философия принимает новую точку зрения на генезис знаков (прежде всего словесных знаков) и рассматривает этот генезис в новом аспекте. Сложные общественные отношения, выступающие в виде или познавательных, или семантических процессов, опираются на общественную человеческую практику и, будучи многообразно ею обусловленными, развиваются на ее основе.

Вместе с практикой в семантические отношения как один из важных факторов их генезиса входит исторический элемент. Речь идет о проблеме, прекрасно известной лингвистам и социологам (этнологам), изучающим языковое значение. Если значение генетически обусловлено общественной практикой, то историческая изменчивость этой практики должна находить отражение в области формирующихся на ее основе семантических отношений. Это подтверждают лингвистические семасиологические исследования, которые часто опираются на гипотезу об эволюции языковых значений (особенно социологические направления, например школа Мейе). На этой же основе находит свое естественное объяснение тезис о национальной специфике языков, относящийся прежде всего к семантической (в широком лингвистическом понимании этого слова) стороне.

Только такое генетическое понимание проблемы значения позволяет интерпретировать значение как своеобразные отношения между людьми, в которых выступает обусловленное практической деятельностью людей отражение объективной действительности в сознании. Оно делает возможным решение интересного не только с лингвистической, но и с философской точки зрения вопроса о произвольности знака и конвенционализме в проблемах языка. (Именно этот последний вопрос причинил много вреда философии, что в первую очередь относится к широко понимаемому неопозитивизму; это убедительное свидетельство в пользу того, что при рассмотрении проблематики значения нельзя абстрагироваться от генетической стороны).

Мы уже коснулись вопроса о произвольности знака в предыдущем разделе. Положение де Соссюра о том, что между языковым знаком (включая его семантическую сторону) и действительностью, к которой знак относится, нет никакой природной связи, соответствует философским взглядам, известным нам со времен Платона. Впрочем, такую точку зрения отчетливо поддержал Маркс в своем «Капитале» в связи с анализом стоимости: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с её природой»<sup>65</sup>. Но это утверждение не имеет ничего общего с взглядом на язык как на конвенционально принятую игру и вследствие этого произвольно изменчивую (речь идет о естественном языке). Это понимают лингвисты, социологи,

психологи, занимающиеся проблемами языка. Сошлюсь на советского психолога С. Л. Рубинштейна, мнение которого по этим вопросам я ценю чрезвычайно высоко: «Знак произвольно нами устанавливается; слово имеет свою историю, в силу которой оно живет независимой от нас жизнью»<sup>66</sup>. Де Соссюр, имеющий дело как лингвист с живыми общественными отношениями, тоже предостерегал против интерпретации его взглядов в духе конвенционализма. Такая интерпретация имела место только в области философии.

### *В. Значение и понятие*

Чтобы хорошо понять, что мы подразумеваем, говоря о значении, следует проанализировать отношение значения словесного знака к понятию. Это нужно сделать по двум причинам. Во-первых, станет возможным более глубокое понимание значения слова «значение». Во-вторых, это позволит раскрыть некоторые глубоко укоренившиеся идеалистические взгляды на отношение значения и понятия, которые можно встретить даже в марксистской среде.

Теоретически возможны два решения поставленного выше вопроса: или значение слова и понятие — это *разные* явления, между которыми могут возникать те или иные связи, или это *одно и то же* явление, рассматриваемое с разных сторон и связанное с целым процессом познания. В литературе, даже в марксистской, распространена первая точка зрения. Я считаю ее ошибочной по существу и основывающейся на мистификации. Я лично придерживаюсь второй точки зрения и собираюсь посвятить ее защите этот параграф.

Чаще всего проблема понимается так: значение — это категория, относящаяся к области языка и лингвистики, а понятие — к области мыслительных процессов, и поэтому его изучают логика, психология и теория познания. Я утверждаю, что такое разделение на области, к которым относятся категории значения и понятия, ошибочно и что и значение, и понятие относятся к надлежащим образом понятым мыслительным процессам; это не исключает возможности лингвистического подхода к проблеме значения.

Встречаются также формулировки: «слово выражает понятие», «слово реализует понятие», «понятие лежит

В основе значения», «понятие и значение связаны между собой, но не совпадают» и т. д. и т. п. Я утверждаю, что такое разделение и даже противопоставление значения и понятия являются спекуляцией и не находят никакого подтверждения в науках, исследующих соответственные мыслительные и языковые процессы, это дань в пользу мифов платонизма и номинализма. Эту дань часто платят даже те философы, которые сами призывают к борьбе с идеалистической мифологизацией проблемы.

Встречаются ли действительно взгляды, о которых я говорил выше? Да, встречаются. Однако нет ничего особенно интересного или странного в том, что, например, интуиционизм строго противопоставляет слово и его значение «настоящему» познанию. Не удивляет нас также, что Гуссерль разделяет и даже противопоставляет понятие и значение. Не представляется нам также удивительным неоминимализм Шлика. Таковы их взгляды, и концепция отношения значения и понятия вовсе не расходится с другими их концепциями.

Иначе обстоит дело с марксистами. Представляется интересным, хотя по меньшей мере странным, что высказанные выше упреки относятся и к некоторым марксистам. Важно понять, как люди, провозглашающие диалектический материализм, объективно приходят к идеалистическим взглядам в том или ином виде. Я утверждаю, что это имеет место, и отношусь к этому спору как к «семейному». Материалы этого спора читатель найдет, например, в «Семасиологии» В. А. Звегинцева<sup>67</sup>, в статьях Л. Ковтуна и С. А. Фессалоницкого<sup>68</sup>, которые излагают различные взгляды советских авторов на эту проблему. Мне хотелось бы подчеркнуть, что, за исключением маловажных деталей, я полностью поддерживаю взгляды П. С. Попова, как его критику других точек зрения, так и позитивное понимание проблемы. Взгляды П. С. Попова ясно изложены им в статье «Значение слова и понятие»<sup>69</sup>.

Начнем с вопроса, действительно ли, говоря о значении и понятии, мы имеем в виду *разные* явления и категории, явления и категории из *разных областей* человеческой деятельности. На эту мысль наводит большинство упомянутых авторов. Приведем для иллюстрации точку зрения В. Звегинцева:

«Во всех тех случаях, когда между понятием как логической категорией и значением слова ставится знак

равенства, слово лишается всех тех специфических особенностей, которые превращают его в элемент языка...»

Как указывалось выше, формы отношения друг с другом двух тесно связанных явлений — понятия и слова — следует понимать как отношение взаимодействия, а не подмены и замены друг друга. Именно во взаимодействии слова и понятия осуществляется формирование и развитие как значения слова, так и понятия, но каждое из этих явлений подчиняется своим закономерностям, идет своим путем, вследствие чего их нельзя рассматривать как явления равнозначные»<sup>70</sup>.

Я произношу или слышу, как произносят слово «конь», и одновременно переживаю связанную с этим мысль. Некоторые утверждают, что, переживая этот мыслительный процесс, я понимаю *значение* слова «конь», но что одновременно в нем выступает *понятие* «конь». Как свидетельствует приведенная выше цитата из работы В. Звегинцева, есть и такие исследователи (их, пожалуй, подавляющее большинство), которые в довершение утверждают, что речь идет о каком-то образом связанных, но *разных* явлениях.

Не предпрешая еще вопроса о тождественности значения и понятия, можно утверждать, что в обоих случаях речь идет о сложных отношениях, выступающих в процессе познания и в процессе коммуникации. Но это всегда отношения, связанные с психической жизнью людей, познавательные отношения. Попытки «высочить» из рамок этих отношений приводят прямо в объятия метафизики платоновских идеальных бытий (например, Гуссерль). Кто не решится на это, тот должен задать себе вопрос: чем отличаются друг от друга понятие и значение, если в том и другом случае мы имеем дело с отношением отражения объективной действительности в сознании с помощью знака? Прежде чем перейти к выводам, посмотрим, что говорят на эту тему сторонники того положения, что понятие и значение являются разными категориями.

Аргументация выступает в двух основных вариантах, имеющих общую основу, хотя исходят они из мнимо противоположных посылок.

Такие авторы, как, например, В. Звегинцев в цитированной выше «Семасиологии» или Д. Горский в своих статьях, помещенных в журнале «Вопросы философии»<sup>71</sup>,

Утверждают, что разница основывается на том, что *научное понятие* богаче обиходного (всюду принятого) значения слов, поскольку содержит в себе все существенные черты своих десигнатов, включая закономерности, управляющие этими десигнатами. Эти авторы не возражают против того, что обиходное значение слов совпадает с обиходными понятиями, но существование *научных* понятий отвергает, по их мнению, возможность трактовки понятий и значений как однородных категорий. Сторонники подобных взглядов иногда добавляют, что слова живут долго и их значение якобы не меняется, в то время как понятия изменчивы и обогащаются вместе с развитием науки и научного познания мира. Критику этой точки зрения можно найти в упомянутой выше статье Ковтуна, с основной аргументацией которого я согласен.

Итак, точка зрения сторонников отрыва понятий от значений опирается прежде всего на утверждение, что в каждом из этих явлений мы имеем дело с различным познавательным содержанием. В соответствии с приведенным выше рассуждением содержание понятий должно быть шире. Проиллюстрируем это цитатой из «Семасиологии»:

«Если отождествлять понятие как логическую категорию и значение слова, то это значит допустить, что в значении слова находит свое отражение вся совокупность общих и существенных признаков определенного класса предметов во всей сложности связей и отношений этих признаков, познанных наукой на данном этапе ее развития. Если это до известной степени справедливо в отношении научных терминов, где словами, выступающими в данном случае на одних правах с математическими или химическими формулами, фиксируются результаты научного обобщения, то применительно к обычным словам это совершенно невозможно сделать. Но научные термины имеют ограниченную сферу употребления и часто не выходят за пределы очень тесного круга специалистов. Поэтому совершенно ясно, что исследование взаимодействия понятия и значения слова надо строить отнюдь не на основании терминов»<sup>72</sup>.

Очевидно, что между обычным, обиходным значением или способом понимания слова «конь» и научным определением соответствующего понятия имеется принципиальное различие. В этом можно легко убедиться, прочтя

статью «конь» в словаре разговорного языка и в научной энциклопедии. Но что из этого вытекает? Только то, что мы плохо ищем и неправильно сравниваем. Ведь научные понятия следует сравнивать с *научными терминами* и их значением, а слова в обычном употреблении и их значении — с соответствующими, обычными понятиями. Мы не углубляемся в определение понятия, но ясно, что если отбросить существование понятий как каких-то идеальных бытий, то их следует искать в области отражения в сознании объективной действительности, но отражения особенного, неразрывно связанного со словесным знаком (во всяком случае, для марксистов и для подавляющего большинства лингвистов понятие без слова — лишь плод фантазии). Различными являются процессы отражения, различны также и понятия. Различие это обуславливается не только нашим знанием о мире, определяющим то, как мы его видим и в результате отражаем в сознании, но и общественным контекстом этого отражения. Самый выдающийся специалист в области ветеринарии, описывая военный парад, в котором выступали также кони, не переживает *научного* понятия «конь» и не развивает в сознании всех его существенных черт, что он, без сомнения, делает, читая студентам лекции по соответствующему разделу животноводства. Итак, существуют обычные (в смысле их широкого распространения) и научные понятия. Есть также обычные значения слов и значения научных терминов. Совершенно очевидно, что научное понятие отличается большей широтой, глубиной и точностью отражения действительности, чем содержания, выступающие в обычных значениях слов. Но, во всяком случае, нельзя проводить резкую границу между научным понятием и значением научного термина.

Второй вариант аргументации в пользу различия понятия и значения исходит, как уже говорилось, из прямо противоположного положения: значение слова, — утверждают защитники этого варианта, — шире понятия, потому что оно содержит эмоциональные, эстетические и др. элементы, которые в понятии не выступают<sup>73</sup>. Затем вновь научное понятие, плод научной абстракции, сопоставляется с обычным значением слов или даже с совокупностью психических процессов, возникающих в сознании в связи с данным высказыванием, со всем эмоциональным, эстетическим и пр. контекстом

этих процессов. Защитники этой точки зрения поступают так, как люди, о которых Маркс говорил, что они, создав абстрактное понятие плода вообще и абстрагируясь от конкретных форм яблони, груши и т. д., хотели бы затем реально действовать с этим плодом вообще, укушать его и т. д. Научное понятие в определенном смысле действительно шире и в определенном смысле уже по содержанию, чем обычное значение слова. Но повторим еще раз, что вся проблема исчезает, если сравнивать однородные категории: научное понятие с научным термином и обычное значение слова с обычным понятием.

Столь же безоснователен тот аргумент, что слова существуют долго и имеют неизменное значение, в то время как понятия изменчивы и развиваются. В качестве основания здесь взято то, что должно быть доказано: различие между понятием и значением слова. Притом основание явно ошибочное, оно не может быть принято, например, лингвистом, который прекрасно знает, что значения слов также изменяются, как и понятия. Исследование этих изменений и законов, по которым они происходят, — хлеб наш насущный.

Итак, встречающаяся в литературе аргументация положения о различии понятий и значений слов целиком ошибочна. Во всяком случае, она нас не убедила в том, что понятия и значения должны принадлежать к разным областям и представлять собой разные категории. Посмотрим еще раз, какие философские последствия вытекают из критикуемого нами положения.

Точка зрения на понятие и значение слова как на разные категории обычно сочетается с высказываниями типа: «слово реализует понятие», «слово выражает понятие», «понятие лежит в основе значения» и т. п. В подтверждение этого можно привести десятки примеров из литературы предмета (особенно поучительна в этом отношении критика, содержащаяся в цитированной работе П. С. Попова). Трудно не поддаваться впечатлению, что авторы таких и подобных им высказываний против воли платят двойную дань: с одной стороны, языковым гипостазисам и связанному с ними объективному идеализму, а с другой — номинализму (косвенно). Попробуем обосновать этот упрек.

Значение слова, как уже говорилось, — это определенные межчеловеческие отношения познавательного харак-



тера, неразрывно связанные с познавательным актом, а следовательно, и с психическим актом. Я произношу слова «там бегут кони» и понимаю их так же, как мой собеседник, иначе говоря — я переживаю понимание значений этих слов. Что же в соответствии с этим значит утверждение, что, например, слово «кони» реализует или выражает понятие «кони», что это понятие лежит в основе значения этого слова, и т. п.? Смысл этого высказывания однозначен: независимо от значения как познавательного отношения, которое выступает всегда в каких-то и чьих-то психических актах, существует еще понятие, которое существует до значения и независимо от него, потому что иначе оно не могло бы «лежать в основе», «быть реализованным» или «выраженным» и т. п. Это чистой воды объективный идеализм.

Широко распространено мнение (прежде всего благодаря логикам), что значение — это субъективная категория, а понятие — объективная.

У Рассела хватило смелости признать влияние платонизма на его математические и логические концепции, широко опирающиеся на такие «бытия», как числа, классы, отношения и т. д. Не все логики обладают смелостью Рассела, но на современную логику и на исследование основ математики платонизм оказывает большое влияние. Это порождается двумя причинами. Первая (несмотря на все декларации и предостережения) — это подверженность языковым гипостазисам, то есть распространенному мнению, что там, где есть название (например, «класс», «понятие» и т. п.), должно существовать реальное бытие, обозначаемое этим названием. Вторая причина — это обольщение собственной конструкцией, запутывание в сетях собственной абстракции. Вторая причина требует пояснения.

Я начну не с понятия, а с менее распространенного и потому кажущегося необычным вопроса о суждении в двойной форме: как акта суждения и как суждения в логическом смысле.

Для процесса коммуникации, как и процесса мышления, служат не отдельные слова, а предложения. Правда, в разговоре мы иногда пользуемся отдельными словами, например «внимание!», «лавина!», «боже!» и т. п., но это явно сокращенные, неразвитые формы предложений. Предложение служит также для высказывания мысли,

и только в контексте предложения слова приобретают значение, конкретизируют его, закрепляя одно из многих значений, связанных с одним и тем же звуком. Грамматика традиционно утверждает, что предложение складывается из слов; многочисленные логики учили, что суждение есть отношение понятий, но уже давно психологи (например, Вундт) и философы языка (например, Марти, Мейнонг) признают предложение и суждение основными единицами языка и мышления и помещают и объясняют слова и понятия в их контексте. Итак, произнося какое-нибудь предложение, например «там бегут кони», мы одновременно думаем, что вот там бегут кони, мы переживаем соответствующий акт суждения. Есть ли здесь что-нибудь еще? Некоторые утверждают, что здесь выступает еще суждение в логическом смысле (суждение *в себе*), высказыванием которого и является предложение. В английской литературе для этого есть специальный термин *proposition*, употребляющийся наряду с *sentence* (предложение) и *judgement* (суждение в психологическом смысле).

Откуда же взялось это суждение в логическом смысле? Из потребности интерпретации того, что в качестве записи Пирс назвал *token* и *type*. Вот запись предложения «там бегут кони». Я читаю эту запись, переживаю соответствующее суждение и тем самым «потребляю» данную запись как *token* (у Карнапа *signevent*). Но запись остается, а вместе с ней и возможность ее многократного «потребления». Тогда она выступает как *type* (у Карнапа *sign — design*), характеризующийся тем, что каждый раз, когда кто-нибудь произносит его с пониманием, он переживает определенное суждение, что там бегут кони. Каждый индивидуальный случай «потребления» этой записи связывается с индивидуальной спецификой переживания данного суждения; его по-разному будут переживать ветеринар, городской служащий, ковбой, любитель конных бегах и т. д. Это зависит от индивидуального знания о конях, от жизненного опыта, эмоциональных ассоциаций и пр.

Однако во всех этих случаях есть некоторое содержание, общее для этих различных индивидуальных суждений, которое свидетельствует о том, что каждый знающий польский язык понимает значение высказанного предложения. Почему так происходит? Есть два возможных объяснения. Одно из них просто ссылается на оди-

наковое переживание значения произнесенных слов в данном контексте предложения всеми знающими данный язык. С разных сторон это явление объясняют физиология мозга, грамматика и т. п. Но есть и другое объяснение: кроме изменчивых индивидуальных суждений, существует неизменное суждение в себе, которое представляет собой некое бытие и является как бы образцом для всех высказываний и актуальных переживаний этого суждения. Это метафизика платоновского типа, которую, впрочем, многие принимают, как она есть: математики, утверждающие, что нельзя создать теорию множеств, если не признать существование классов как реальных идеальных бытий; находятся и логики, которые утверждают, что нельзя обойтись без суждений в логическом смысле как реальных идеальных бытий. Правда, можно доказать (по-моему, неопровержимым образом), что мы имеем дело с мистификацией, что собственная логическая конструкция, полученная через абстрагирование элементов, общих для многих актов суждения, превращается в самостоятельное бытие, которое вдобавок ко всему выступает как образец для этих действительных актов суждения, — но это убедит не всех. Хуже, что к необузданным принадлежат и сторонники материализма.

И вот аналогичная ситуация возникает в случае слова и понятия с той только разницей, что понятие исподтишка выполняет обе роли, которые в случае суждения как-то терминологически разделены. Однако же можно и в понятии терминологически разделить акт переживания понятия и понятия в логическом смысле. Это последнее является плодом абстракции, своеобразной познавательной и логической конструкцией, дающей отражение чего-то того, что объективно выступает в действительности: общих качеств или особенностей, общих закономерностей и т. п., характерных для данного класса предметов. Но не существует материального бытия, которое было бы понятием. Принимать такое бытие может только идеалист совершенно особого типа, который гипостазирует создание собственного ума, превращая его в самостоятельное бытие.

Откуда же берутся подобные взгляды в концепциях материалистов, а тем более марксистов? Они порождаются боязнью номиналистского извращения проблемы. Рассмотрим это подробнее.

Номинализм в противоположность понятийному реализму традиционно утверждал, что общие понятия — это *flatus vocis* произвольная словесная конструкция. Номинализму были присущи равно как материалистические тенденции (отрицание идеальных бытий), так и субъективно-идеалистические (отрицание объективной связи понятий, например, у Беркли). Неонаминализм в его современной философской форме широко распахнул двери для этой второй тенденции. Поэтому философ-марксист видит в номиналистской интерпретации понятий (например, в интерпретации Шлика, который попросту их отрицает) опасность субъективного идеализма. И правильно, потому что при этой интерпретации исчезает познавательное отношение *отражения* предмета субъектом, исчезает объективный коррелят понятия как обобщающего отражения действительности, зато остается *flatus vocis* и субъективистская интерпретация мыслительных процессов и их порождений. Избегая именно этой опасности, философ-материалист временами попадает в открытые объятия понятийного реализма.

Итак, можно сделать следующий вывод из вышеприведенных рассуждений на тему о мнимой обособленности значений и понятий: не только отсутствие позитивных аргументов, свидетельствующих о принадлежности значений и понятий к разным областям, но вдобавок и негативный аргумент отчетливо раскрывает идеалистические последствия этой точки зрения.

Однако для ее защитников важны некоторые реальные теоретические проблемы, от которых мы не избавимся, указывая только на ошибочность тех или иных рассуждений. Нельзя ли предложить какое-нибудь рациональное решение этих проблем, свободное от опасностей идеализма? По-моему, можно.

Бои антипсихологизма с психологизмом в истории современной философии ведутся вокруг интерпретации духовных процессов и их порождений. Является фактом, что духовные процессы (прежде всего нас интересуют *мыслительные* процессы) всегда *eigenpsychisch*, то есть носят «личный» характер и всегда являются процессами *hic et nunc* и *данной* личности. Они принадлежат к области психики и не могут быть поняты без психологического анализа. Одновременно является фактом, что в этих процессах существует нечто, выходящее за пределы чисто «лич-

ной» сферы, что люди похоже переживают некоторые мысли, что в «личных» психических процессах есть некоторые элементы, повторяющиеся у всех людей, знающих данный язык и обладающих определенным знанием о мире, элементы, отнесенные к категории «понятие», «значение» и т. п. И эти элементы тоже как-то связаны с психикой, с психическими переживаниями, но их нельзя объяснить исключительно на основе субъективных переживаний. Если психологизм имеет тенденцию трактовать результаты человеческой мысли *только* как *eigenpsychische* (а исторически он представлял именно такую тенденцию), то следует признать эту концепцию с теоретической точки зрения неудовлетворительной и не без основания подвергающейся нападкам со стороны антипсихологизма. (Это отнюдь не значит, что антипсихологическая точка зрения автоматически становится правильной и безошибочной.)

Итак, и психологизм, и антипсихологизм имеют какую-то реальную опору в анализе человеческих духовных процессов и их порождений, таких, как понятия, значения и т. п. Оба эти направления могут одновременно критиковать друг друга за односторонность и ограниченность, и оба они в результате не могут быть приняты здравомыслящим исследователем. Психологизм чаще всего принимал точку зрения субъективного идеализма, и тогда он был беспомощен в решении вопроса о правильной повторяемости и коммуникативности психических процессов. Традиционный же антипсихологизм находится под обстрелом критики, которая во имя научной трезвости выступает против фидеистично понятых духов — «понятий в себе» или значений как «идеальных бытий».

Анализ мыслительного процесса открывает ложный характер всего конфликта. Мыслительный процесс — это познавательный процесс, то есть он всегда является чьей-то мыслью о чем-то, всегда преобразует материал, доставленный чувствами и обладающий объективным характером, поскольку он информирует об объективной действительности, существующей независимо от нашего сознания. Конечно, только здесь начинается дискуссия на теоретико-познавательные темы, дискуссия, которая ясно разделяет сторонников той или иной теории отражения и противников этой теории (также с весьма разнообразными взглядами). Зато не подлежит обсуждению,

что мыслительный процесс как познавательный осуществляется не только с помощью языковых средств (словесных знаков), но в органическом единстве с языковыми процессами (а часто сторонники какой-нибудь метафизической концепции сознательно отбрасывают свидетельство науки, прежде всего свидетельство психологии и физиологии). Можно с успехом пользоваться наряду с выражением «думать» выражением «переживать языковые процессы», поскольку в обоих случаях мы говорим об одном и том же процессе мышления, только акцентируя в каждой из этих формулировок какой-нибудь из его аспектов. Ведь не существует отдельно процесса мышления и отдельно процесса языковых переживаний, но это всегда единый процесс: языковое мышление — переживание.

Это центральный вопрос, интересующий нас в данном контексте. Не будем здесь объяснять и анализировать процесс мышления-языка. Мы еще вернемся в дальнейших рассуждениях к этой проблеме, весьма важной не только для теории познания, но также для языкознания и семантики в широком теоретическом аспекте. Но некоторые выводы мы должны сделать теперь же.

Мы всегда думаем целостной мыслью, приобретающей форму так или иначе развитого суждения, а тем самым и предложения.

Неверно, что предложение — это выражение суждения, как обычно говорится, оно просто неотделимо от него: без данной словесной формы нельзя не только высказать суждение, но даже и подумать. Ведь суждение и предложение — это не различные категории или отдельно выступающие единства, хотя суждениями в основном занимаются логика и психология, а предложениями — языкознание и логика. Мыслительный процесс всегда выступает в словесном, точном оформлении: он всегда языковый. Дело обстоит не так, будто бы мы независимо друг от друга переживали суждение, как нашу мысль о чем-то, и какие-то языковые процессы в смысле понимания значений соответствующих слов, а также их комбинаций. Неверно, что языковое выражение мысли с соответствующим смыслом предложений соединяется с ней позднее. Собственно говоря, предложение не является никаким выражением мысли или суждения, поскольку не может существовать ситуация, при которой бы *вначале*

возникла мысль или суждение без слов (хотя бы даже мысленных), а *потом* приходили выражающие их слова.

Сказанное выше о целостных мыслительных процессах, о таких единствах этих процессов, как суждения-предложения, полностью относится к такому их элементу, как понятие — словесное выражение (то есть словесный знак или какие-нибудь комбинации этих знаков). Я не касаюсь здесь сложной проблемы взаимного отношения суждения и понятия, предложения и слова, так как это не входит в рамки наших непосредственных задач. Зато я выделяю тот аспект данного вопроса, который составляет исходную точку наших рассуждений: отношение между понятием и словесным выражением (словесным знаком или комбинацией этих знаков), отношение между содержанием понятия и значением слова (что сокращенно мы называем проблемой отношения между понятием и значением).

И здесь следует начать с того, что не существует отдельно акта мысленного переживания понятия и переживания соответствующего значения. Возвратимся к нашему примеру: когда мы с пониманием произносим слово «конь», этому сопутствует мыслительный процесс, который является процессом понимания этого слова или переживанием значения этого слова. Кроме этого, в реальных познавательных процессах не выступает ничего, что было бы каким-то *отдельным* переживанием понятия «конь». Является ли поэтому понятие фикцией, как утверждает, например, Шлик? Ни в коем случае! Под понятием мы подразумеваем именно то самое порождение обобщенного отражения действительности, которое носит название «значение», будучи рассмотренным в плане общения людей.

Констатация этого факта влечет за собой разнообразные и важные последствия. Прежде всего в области интерпретации взаимных отношений понятия (следует понимать его в данном контексте не как акт переживания понятия, а как содержание понятия) и значения. А именно мы обнаруживаем их *тождественность*, обычно скрытую под покровом разной терминологии и заслоненную тем фактом, что один и тот же познавательный процесс мы подвергаем анализу с разных сторон.

А как представляются возможные трудности и проблемы, связанные именно с тем, что мы анализируем определенный духовный процесс с *разных* сторон?

Достаточно простой и несложной является проблема отличия содержания у понятия и значения. Мы уже говорили, что эти различия выступают только тогда, когда в игру входят различные познавательные процессы (например, научное понятие отличается от обычного значения слова, но зато не отличается от значения научного термина). Этот вопрос можно считать выясненным.

Важный вопрос, требующий своего объяснения, заключается в другом: как именно становится возможным переход от индивидуально-психического акта переживания понятия или значения к intersубъективной коммуникативности этого акта и к его повторяемости на основе языковой общности? Эта проблема стоит у колыбели спекуляцией о суждениях в логическом смысле и понятиях, значениях как идеальных, интенциональных и т. п. бытиях.

Начнем вновь с того, что каждый духовный, а следовательно, и мыслительный процесс является индивидуально-психическим, *eigenpsychisch*. В этом смысле он субъективен. Но вместе с тем это объективный процесс в том смысле, что он всегда представляет собой отношение «субъект — объективный предмет». Это положение, являясь существенным содержанием марксистской теории отражения, позволит решить интересующие нас вопросы.

А прежде всего — повторяемость психических процессов, связанных с определенными выражениями языка (оставим в стороне вопрос о механизме этой связи). Если выделять только субъективную сторону познавательного процесса, то есть, что он *eigenpsychisch* (а именно так поступают чаще всего психологистические направления), то вопрос становится неразрешимым без вмешательства каких-то идеальных бытий, представляющих идеальный образец всех актов суждения, интенциональный предмет и т. п. А ведь достаточно принять во внимание тот факт, что познавательные акты субъектов с одинаковым перцептивным аппаратом, акты, относящиеся к одному и тому же предмету, одинаковы по совершенно естественным причинам. Здесь приходится полностью согласиться с аргументацией натурализма, что для понимания этой повторяемости психических процессов не нужно никакого трансцендентального «Я»; добавим: не нужны также и никакие идеальные бытия, созданные понятийным реализ-



мом, никакие суждения в логическом смысле как реальные идеальные бытия и т. п.

Когда я произношу слова «там бегут кони» и если мое высказывание слышит кто-нибудь, понимающий польский язык, то мы оба понимаем это высказывание как информацию, что там, куда я указываю каким-то жестом, бегут кони. Мы оба понимаем это высказывание одинаково, потому что нам известны соответствующие словесные знаки, которые связываются в нашем сознании с соответствующими демонстрационными или воспроизводящими представлениями в процессе познавательного отражения действительности в сознании. Эти познавательные процессы содержат в себе в каждом конкретном случае также множество других переживаний, связанных с нашим знанием о предмете, с личными эмоциями, возникающими как реакция на данный предмет (воспоминания, художественные вкусы, различного рода системы оценок) и т. д. Но в каждом из этих актов, кроме их индивидуальной специфики, есть всегда то, что делает их похожими и благодаря чему понимание соответствующих слов похоже, то есть одинаково, хотя не тождественно.

Это касается не только «общего» понимания актуального высказывания рядом слушающих его лиц и случая, когда мы относимся к высказыванию, как к sign — design, а не как sign — event (то есть не как к актуальному процессу высказывания, а как к типу возможных высказываний). Возьмем вновь в качестве примера написанную фразу «там бегут кони». Если кто-нибудь с пониманием (предполагается знание польского языка) прочтет в будущем эту фразу или кто-нибудь в будущем с пониманием произнесет соответствующие слова, тот переживет психический процесс, похожий на наш. Он поймет смысл предложения и значения отдельных слов, психически переживет соответствующее суждение и понятия. Почему? Не потому, что должно существовать суждение в логическом смысле как идеальное бытие, которое актуализируется в отдельных переживаниях, но потому, что у людей, понимающих данный язык, с конкретным высказыванием (при нормальном умственном состоянии) связываются похожие познавательные переживания на основе отражения одной и той же действительности при помощи одинаково сконструированного и функционирующего перцептивного аппарата. Это простая вещь, хотя механизм про-

цесса много сложнее. Здесь недостаточно сослаться на правила языка, соблюдение которых обуславливает сходное понимание высказывания. Это истина, но истина частичная, требующая дальнейшего выяснения: а откуда именно берутся эти правила языка? Если мы остановимся на этом частичном объяснении, то вновь искажим проблему, на этот раз с позиции номинализма, широко открыв двери конвенционализму. Так было в случае разных позитивистских попыток интерпретации интересующего нас вопроса.

Сторонники перевоплощения психических порождений в идеальные бытия в своей аргументации ссылались на различие между конкретным, целостно воспринимаемым психическим процессом, связанным с переживанием определенного высказывания (или с наблюдением определенных предметов, также связанным с определенными мыслительно-языковыми процессами) и пониманием определенных значений или понятий, связанных с тем же самым высказыванием в то время, когда мы задаем себе или другим вопросы, вроде «что значит слово?» или «что это?»

Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что защитники мнимой раздельности значений и понятий, которые и понятие и значение трактуют как *eigenpsychisch* и соответственно преобразуют второй член пары «понятие — значение» в нечто данное intersубъективно (как логическое или иное образование), фактически имеют в виду другое отношение: конкретного психического акта (в смысле полноты переживания) к таким порождениям сознательной, абстрагирующей от многих факторов познавательной рефлексии, как понятие или значение.

Когда я произношу предложение «свиньи принадлежат к млекопитающим» и это высказывание слышат люди, понимающие данный язык, но разного происхождения, религии, образования и так далее, то, понимая одинаково мое высказывание, они будут очень по-разному переживать его психически. Психический акт понимания этого высказывания будет содержать не только их знание о свиньях и млекопитающих (очень разное в случае, например, сельского ветеринара и лавочника из большого города), но и их эмоциональные реакции, связанные, например, с религиозными предписаниями (христианин и магометанин), с эстетической оценкой (для

одного — грязная, отвратительная свинья, валяющаяся в грязи, для другого — чудесные, смешные, розовенькие поросята), с воспоминаниями каких-то минувших личных переживаний и т. д. и т. п. Не подлежит сомнению, что каждый психический акт, в том числе и по преимуществу познавательный, имеет не только познавательное (интеллектуально-описательное) содержание, но и лично-эмоциональное (моральная, эстетическая оценка и т. п.). Если этот цельный психический акт, связанный с данным выражением, кто-нибудь называет значением или понятием (оба случая имеют место в литературе), то тем самым он превращает так понятое значение или понятие во что-то «личное» не только в смысле субъективности переживания, но и в смысле некоммуникативности. Нет ничего странного, что в таком случае «личному» значению или понятию можно противопоставить «общественного» партнера в виде второго термина из пары «значение — понятие».

Это терминологическая произвольность, которая только усложняет вопрос, потому что в собственном и первоначальном значении этих слов ни «понятие», ни «значение» не являются названием отношения, с которым связан целый психический акт. «Понятие» и «значение» — это названия отношения, с которым связаны *некоторые отдельные акты*, опирающиеся на специфический процесс абстракции, необходимый для ответа на вопрос: «что значит слово?» или «что это?»

Не следует это понимать так, что каждый раз должен выступить сознательный процесс абстракции и что только тогда мы имеем дело со значением или понятием. Такие сознательные процессы редки, в принципе они составляют элемент научно-исследовательской работы. Нормально и чаще всего это происходит при посредстве спонтанного изучения языка и передачи через язык общественного опыта члену данного общества. Именно поэтому мы обычно не замечаем всей этой процедуры и не отдаем себе в ней отчета. Зато научная рефлексия (психологическая, философская, лингвистическая и т. д.) обнаруживает избирательный и абстрактный характер таких категорий познавательного процесса, как понятие и значение. Конечно, дело представляется по-разному в случае научных понятий и значений научных терминов и в случае понятий обычного мышления и значений разговорного

языка. Хотя это различие с познавательной точки зрения может быть чрезвычайно важным (особенно в области познания закономерностей, управляющих данным явлением), но ведь речь идет только о *различии степени абстракции*. Понятие или значение всегда являются плодом определенной работы ума над доставляемым ощущением материалом, плодом абстракции и селекции и именно на этой основе всегда является иным, нежели целостный познавательный процесс с его эмоциональными элементами и т. д.

Понятие и значение являются результатами абстракции, осуществленной в процессе познания с помощью словесных знаков. От характера абстракции зависит характер понятий и значений: обычных в одном, научных в другом случае. Источником возникновения этой абстракции, источником всякого понятия и значения всегда является сложная система общественных отношений, реализующаяся при посредстве человеческого сознания. В зависимости от того, воспринимаем ли мы данное мыслительно-языковое образование с точки зрения мыслительного процесса или языкового (то есть в зависимости от того, на какой из двух его сторон мы акцентируем наше внимание), он выступает или как понятие (содержание понятия), или как значение слова. Никакого иного различия между понятием и значением (того же самого типа) нет.

При таком подходе к проблеме мы не опускаем вопросов, дорогих сердцу гносеолога, лингвиста и логика. Гносеолог найдет здесь соотнесение познавательного процесса (в виде понятия или значения) с объективной действительностью; лингвист — полноту живого содержания познавательного процесса, которая для него кроется в значении слов; логик — точное содержание научного понятия или научного термина, которое он развивает в соответствующем словесном или вещественном определении. И все это без идеальных бытий и без номиналистского толкования слов и понятий как *flatus vocis*.

Итак, окончательные выводы:

1) Нельзя согласиться с тем, что понятие и значение — это различные категории с различным содержанием, так как аргументы, якобы подтверждающие это положение, оказываются ошибочными, а их следствием является переход на позиции объективного идеализма.

2) Напротив, следует признать, что понятие и значение тождественны по своему содержанию, а различие между ними основывается лишь на том, что один и тот же познавательный процесс мы оцениваем с разных, хотя и неразрывно друг с другом связанных сторон: в одном случае с точки зрения мыслительного процесса, а в другом — языкового процесса.

3) Различие по содержанию, якобы существующее между значением и понятием, — это фактически лишь различие между научным и обиходным понятием, между значением научного термина и значением обычных слов.

4) Для того чтобы избежать недоразумений и логических неточностей, следует различать по содержанию: целостные психические акты, в состав которых наряду с познавательными элементами входят также эмоциональные и другие элементы; обычные понятия и значения слов; научные понятия и значения научных терминов, которые, как и обычные, являются результатом специфической абстракции, осуществленной в целостном процессе познания, и именно поэтому они коммуникативны.

### *Г. Механизм связи между знаком и значением*

Теории знака и значения можно классифицировать, положив в основу классификации взгляд на характер существующей между ними связи (например, так поступает Котарбинская в своей работе о теории знака). Тогда мы получили бы две большие группы таких теорий: те, которые видят связь знака со значением в ассоциации, и те, что видят эту связь в каком-то специфическом интенциональном акте. Речь идет здесь о психической стороне вопроса, о психологическом механизме связи знака со значением. Я не считаю этот вопрос главным или решающим в теории знака, но он облегчает нам лучшее проникновение в проблематику знака и значения. Поэтому остановимся на нем.

Говоря о связи значения со знаком, нельзя ограничиваться проблемой значений словесных знаков. Ведь они имеют специфический характер, и именно поэтому связь между знаком и значением является особой, не такой, как связь между другими категориями знаков. Хотя бы потому, что все другие знаки в некотором смысле производны от словесных знаков, в конечном счете они пере-

водятся на значение словесных знаков. Собственно знаки, за исключением словесных, оперируют актуальным, готовым значением, которое существует некоторым образом «вне их» и связывается с автономно понятым знаком, то есть с определенным предметом или материальным событием. Совершенно иначе дело представляется в отношении словесных знаков, не имеющих никакого значения «вне себя», органически связанных со своим значением и в этом смысле являющихся, как часто говорится, «прозрачными для значения».

Собственно знаки связаны со своим значением ассоциативной связью (исключая словесные знаки, к анализу которых мы вернемся ниже).

Это объясняется совершенно просто. Собственно знаки, как известно, искусственны и в определенном смысле условны. К определенным значениям (или, если угодно, понятиям) мы подбираем сознательно и целенаправленно материальные носители, то есть знаки (в более узком понимании этого слова). Знак (в этом узком смысле) и значение «автономны», как правильно обращает на это внимание Звегинцев в цитированной выше работе о знаковом характере языка<sup>74</sup>, они не связаны также правилами системы (например, синтаксисом и т. п.). Поэтому в этих случаях можно менять форму носителя значения (знака в узком смысле), не меняя самого значения.

Например, у дороги установлен треугольный знак с красными краями и желтой серединой, на которой нарисован черный зигзаг. Кто знает дорожные знаки, тот поймет, что это обозначает: «Внимание, извилистая дорога!» Ничто не мешает тому, чтобы завтра изменить форму и цвет знака, форму и цвет рисунка, но значение дорожного знака: «Внимание, извилистая дорога!» — не изменится хотя бы потому, что условное соглашение остается неизменным. Значение предупреждения: «Внимание, извилистая дорога!» — передается нам условно принятым знаком. Но это значение существует независимо от формы знака как значение определенного словесного выражения, к которому мы подбираем тот или иной материальный носитель, существующий независимо, автономно и обладающий, помимо значения, также и другими ценностями, например эстетическими (форма, цвет, рисунок и т. п.). На какой же основе представление знака связывается для нас с мыслью «Внимание, извилистая дорога!»?

На основе ассоциации, которую создала у нас практика в тесной связи со знанием условного соглашения (из чего не вытекает, что все, что индивидуально ассоциируется с этим знаком, входит в состав его значения).

Подобному анализу можно подвергнуть любой сигнал, символ, заменительный знак *sensu stricto*, то есть его можно проводить во всех случаях, когда материальная форма знака подбирается к готовому значению каких-то выражений, то есть когда значение знака дано не прямо, а посредством словесного знака.

Когда мы приступаем к анализу словесного знака, ситуация меняется. Концепция ассоциативности может быть применена здесь только в особых случаях.

Прежде всего в случае обучения языку.

Ребенок учится языку при помощи ассоциации. Я сошлюсь здесь — может быть, немного из духа противоречия — на свидетельство святого. Вот как представляет этот вопрос Августин в своих «Исповедях»:

«Я вспоминал: когда взрослые называли какую-нибудь вещь и к слову добавляли соответствующее движение, я видел и запоминал, что эту вещь они называют звуком, который они издавали, когда хотели показать ее. А что они хотели этого, в этом можно было убедиться по движению тела, естественного языка всех народов, с которым сочетается выражение лица, знаки, подаваемые глазами, действия других членов и звук голоса, указывающий на душевное состояние, когда люди о чем-нибудь просят, хотят чем-нибудь обладать, или отказаться от чего-нибудь, или хотят чего-нибудь избежать. Так я постепенно понимал, что обозначают часто слышанные мною слова, употребленные на соответствующем месте в разных предложениях, а приучив к ним свой рот, я выражал ими свою волю»<sup>75</sup>.

С точки зрения психологии нет иного пути научить ребенка говорить, кроме ассоциаций. Значения слов, особенно когда речь идет об абстрактных понятиях, ребенок узнает в практике действия, связанного с речью, при многократном повторении сложных определений.

В том случае, когда обучаются иностранному языку люди, уже знающие какой-нибудь язык, мы опять имеем дело с ассоциацией, но совершенно иного типа. Речь идет об ассоциации звучания слов иностранного языка со словами родного языка. Именно поэтому на начальном этапе изучения какого-нибудь языка мы думаем на родном

языке и переводим на иностранный язык. Мы действительно овладеваем новым языком тогда, когда перестаем переводить и начинаем думать на этом новом языке.

Но на этом кончается применение ассоциативной теории к словесным знакам. Попытки интерпретации значения слов на основе этой теории целиком ошибочны. Значение трактуется тогда как образы, представления, мысли, которые ассоциируются со звуко сочетаниями. Такую точку зрения поддерживал, например, Рассел во время известной дискуссии на страницах «Mind» (он сравнивал тогда языковые процессы с танцем медведя под звуки мелодии, которую раньше ему наигрывали, ставя его на сильно разогретый пол); такую же точку зрения занимал когда-то Витгенштейн, а в польской лингвистической литературе — Шобер. В критике этой точки зрения я присоединяюсь к аргументам, выдвинутым К. Айдукевичем. Понимание словесных знаков как звуков, с которыми ассоциируются какие-то независимо от них существующие мысли, основывается на полном проникновении в природу языковых и мыслительных процессов. Не только нет мыслей, существующих независимо от звуков речи (это тесно связывается прежде всего с ролью словесных знаков в процессе абстракции на уровне понятийного мышления), но, помимо этого, нет мыслей, независимых от системы этих знаков, то есть синтаксиса языка и т. п. Попытка сведения значения слов к ассоциации с образами предметов или представлениями крайне примитивна даже по отношению к названиям; ее совершенно невозможно принять в случаях, когда слова не являются названиями и при более сложных комбинациях знаков в предложениях.

Присоединение к критике ассоциативной теории не означает поддержку альтернативного предложения, выдвинутого большинством этих критиков, то есть интенциональной концепции значения. Я уже писал, что принятие интенциональной концепции такими философами, как Айдукевич, я считаю недоразумением, которое могло родиться только на почве неправильной интерпретации взглядов Гуссерля. Выше я уже старался представить точку зрения Гуссерля как можно более верно и объективно, пользуясь для этого словами самого автора. Послушаем теперь, что говорит об этом Айдукевич в своей работе «О значении выражений»;



«По Гуссерлю, этот «акт значения», или использование данного оборота как выражения некоторого языка, основывается на том, что в сознании появляется чувственное содержание, при помощи которого можно было бы наглядно думать об этом обороте, если бы с этим содержанием связывалась соответствующая интенция, направленная на этот оборот. Однако при использовании данного оборота как выражения некоторого языка к его чувственному содержанию присоединяется другая интенция, не обязательно в виде представления, но в принципе направленная на нечто иное, чем сам этот языковой оборот. Эта интенция составляет вместе с чувственным содержанием единое переживание, но настоящим, самостоятельным переживанием не является ни познание этого чувственного содержания, ни эта интенция. И то, и другое — лишь самостоятельная часть целого переживания. Значением данного выражения (как типа) в некотором языке был бы (по Гуссерлю) тип, к которому должна относиться эта связанная с чувственным содержанием интенция употребить данный оборот как выражение того, а не иного языка»<sup>76</sup>.

Недоразумение выяснено. Я хотел бы выразить это по возможности деликатней, но весь приведенный отрывок, кроме слов «интенция», имеет мало общего с интенциональной концепцией Гуссерля. Ведь нельзя мимоходом отбросить всю гуссерлевскую метафизику, без учета которой интерпретация взглядов этого автора становится полностью произвольной и чуждой феноменологии. Поэтому и слово «интенция» у Айдукевича приобретает иное значение, нежели у Гуссерля. Мне кажется, что такие наши авторы, как Айдукевич, а вслед за ним Чежовский, Котарбинская и другие, ошибаются, признавая родство своих взглядов и взглядов Гуссерля. Анализируя то, что Айдукевич фактически подразумевает под «интенцией», мы обнаружим скорее некоторую связь с бихевиористской семиотикой. Ведь Айдукевич здесь говорит скорей о некоторой готовности к именно такому, а не иному употреблению языка, о некотором духовном состоянии. Это не феноменологическая концепция, здесь вообще нет ничего общего с феноменологией — зато эта мысль играет большую роль у Морриса и др. Но довольно об этом. Я не намерен поднимать этот вопрос и не собираюсь подвергать критике соответствующие взгляды Айдукевича. Ведь мы обсуждаем проблему по преимуществу психологиче-

скую, причем в философском аспекте. Эту проблему мы не решим философствованием. Метод уточнения понятий тоже имеет свой предел. Этот предел наступил, когда мы произвели все предварительные манипуляции с проблемой характера связи между звуком слова и значением: отбросили ошибочные теории, уточнили смыслы слов и т. д. Никакая дедукция не даст ответа на вопрос, в чем фактически заключается исследуемая связь. Это вопрос, который требует естественного экспериментального изучения и относится прежде всего к области специальных исследований и компетенции экспериментальной психологии и физиологии мозга. Философ может лишь присоединиться к какой-либо из точек зрения на решение этого вопроса, выдвинутых учеными, не больше. Я считаю разумным ограничиться в этом вопросе признанием того, что связь между звуком и значением является связью *sui generis*, что это не ассоциативная связь. Все остальное относится к области психологии и физиологии. Правда, результаты этих наук в целом еще неудовлетворительны, особенно павловская гипотеза о второй сигнальной системе не может быть признана окончательно оформленной и аргументированной, полностью объясняющей характер словесных знаков и механизм функционирования мышления-языка. Все это так. Но мы, философы, можем лишь ожидать дальнейшего развития экспериментальных наук в интересующей нас области.

## 5. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ЗНАЧЕНИЯ

В литературе часто говорится о лингвистическом значении, это может вызвать подозрение, что языкознание имеет собственную теорию значения. Хотя это и явное недоразумение, следует развеять его в самом начале наших рассуждений. Теория значения, которая отвечает прежде всего на такие вопросы, как что такое значение, как оно связано со знаком и т. п., не может быть различной и не является таковой в разных научных дисциплинах. Наоборот, каждый автор, независимо от специальности и связанного с ней подхода к проблеме, излагая какую-нибудь теорию значения, всегда формулирует ее как общую теорию, то есть как имеющую всеобщее значение. Это понятно и очевидно.

Что же скрывается под термином «лингвистическое значение»? Просто речь здесь идет о подходе к проблематике значения в аспекте лингвистических интересов, то есть о тех вопросах и проблемах, которые имеют теоретическую важность для специфически лингвистических исследований. Этот факт так же очевиден и понятен, как и то, что логик исследует проблемы языка с точки зрения своих специфических интересов, социолог — своих.

Каковы же теоретические аспекты лингвистического подхода к проблематике значения? Мы упоминали о них в самом общем виде в первой части работы, когда хотели выяснить характер и область семантических интересов лингвистики. Но там проблема значения была одной из многих. Здесь же мы рассматриваем ее отдельно, и это может пролить дополнительный свет на интересующий нас вопрос.

В отличие от философа и логика лингвист интересуется не тем, что такое значение, а тем, что происходит со значением, каким языковым единицам оно присуще, каким образом выражают значение словесные знаки, как изменяется значение и т. п. Я согласен с мнением Куайна<sup>77</sup>, который говорит, что можно изучать закономерности чего-то, даже не зная, что представляет собой это что-то (например, древние астрономы прекрасно знали движение планет, совсем не зная, что такое планета).

По мнению Куайна, существуют три главные области лингвистического изучения проблемы значения:

1) грамматическая, которая изучает вопрос, какие формы языка являются значащими, то есть имеют значение;

2) лексикографическая, которая изучает вопрос, какие формы языка являются синонимами, то есть имеют сходное значение; лексикография занимается идентификацией значений, то есть нумерацией синонимических пар данного языка или двух языков;

3) область семантических изменений (то, что де Соссюр называл диахроническим анализом), которая изучает изменения значений слов и закономерности этих изменений.

Я привел эту классификацию, так как она кажется мне особенно ясной и удобной, ибо дает возможность представить некоторые общие теоретические проблемы, касающиеся значения. Очевидно, что проблематика зна-

чения в лингвистическом аспекте имеет особый характер, ее можно рассматривать и решать только с помощью лингвистических средств, оперируя конкретным сравнительным лингвистическим материалом. Это не особая область философствования, так как никакие общие философские или логические рассуждения не могут заменить конкретного лингвистического анализа или зачеркнуть его результаты. Однако лингвистический анализ имеет более широкие теоретические последствия, интересные и для философа, на которые мне сейчас хочется указать.

С этой точки зрения нас прежде всего должны заинтересовать лингвистические поиски наименьшей единицы значения. Эта проблема важна не только для лингвистики, но и для общей теории знака: когда именно мы имеем дело со словесным знаком и какое образование является фонетическим носителем значения? Выше мы приняли — вслед за Котарбинской — такое разделение на языковые и словесные знаки, в основе которого лежало различие собственно знаков (значащих образований) и таких звуковых образований, которые дают значащие единицы только в определенных соединениях и комбинациях. Производя такое разделение знаков звукового языка, мы как бы заранее знаем, что такое словесные знаки. В действительности же мы просто пользуемся результатами лингвистических исследований, предоставив лингвистам заботу о детальном анализе вопроса. Это естественно, так как вопрос этот может и должен решать прежде всего лингвист. Рассмотрим, какие проблемы встают здесь перед языкознанием; знакомство с этими проблемами сыграет важную роль в нашем дальнейшем специфически философском рассмотрении вопросов языка.

Когда мы говорим о словесных знаках, то предполагаем, что слово является наименьшей звуко-семантической единицей языка (об этом свидетельствует принятая нами терминология). Что это, однако, значит? Что такое слово? Задавая этот вопрос, мы испытываем трудности двоякого рода. Первая заключается в том, что есть выражения, формально состоящие из нескольких самостоятельных слов и выполняющие в качестве «эквивалента» понятия семантическую функцию одного слова, например «автор *Пана Тадеуша*» (не следует забывать, что мы отбросили концепцию самостоятельных понятий и значений, между которыми возникают какие-то взаимные отноше-

ния). Вторая трудность заключается в том, что образование, определяемое грамматикой как «слово», часто является сложным образованием, части которого (например, корень слова, суффиксы, аффиксы) имеют собственное значение. Остановимся вкратце на этом вопросе. Дело осложняет еще тот факт, что в самой лингвистической литературе не только не достигнуто общее согласие по самым основным вопросам в этой области, но и терминология неустойчива, а часто даже различна у разных авторов. Структурализм, фонология, бихевиористская теория и психолингвистика представляют во многих отношениях разные точки зрения.

Проблема заключается в следующем. Слушая чью-либо речь, мы различаем при восприятии звуков такие единицы, как слог, слово и предложение, а с теоретической точки зрения наибольшие трудности представляет точное разграничение слова и других языковых образований. Проводя анализ словесных знаков, мы замечаем ряд составных элементов этих знаков, например фонемы, морфемы и семантемы. Фонема является минимальной звуковой единицей в системе данного языка (она не тождественна звуку), проблема ее «значения» сводится к определенным функциям в рамках данной системы, благодаря которым фонема служит для создания и различения слов; морфемы же и семантемы выполняют отчетливые семантические функции. Под семантемами следует понимать (по Вандриесу) языковые элементы, значение которых совпадает с содержанием понятия (например, кон'—), а под морфемами — элементы, составляющие несамостоятельные части слова и выражающие отношения (например, кон-я). Эта терминология соответствует различению корня слова, с одной стороны, аффиксов и флексии — с другой. Я не вхожу в детали лингвистических споров на эти темы (как споров по существу, так и терминологических). Для нас здесь важно прежде всего разграничение лингвистами специальных категорий значений: *лексического* и *грамматического*, связанное с различением в словах семантем и морфем.

Именно здесь мы сталкиваемся с затронутым выше и чрезвычайно важным для понимания наших рассуждений в целом вопросом о различном подходе философии и языкознания к проблематике значения. Лингвистика интересуется здесь не «сущностью» значения, спрашивает

не о том, что такое значение, а о том, что значат языковые образования. Именно на это опирается различение лексического и грамматического значения, а также других категорий значения, как, например, основное и второстепенное значение, автономное и синсемантическое и т. п. Следует отдавать себе в этом отчет, если мы хотим избежать недопустимого смешения понятий.

Лексическое значение не вызывает особых затруднений. Здесь имеется в виду значение в смысле соответствующего понятия, переживаемого в связи с произнесением данного слова. При этом лингвист ставит не вопрос о том, чем является значение, а вопрос, каково оно, то есть подыскивает синоним в том же самом или другом языке. Лексическое значение слова «конь» совпадает с содержанием понятия «конь».

Грамматическое же значение связывается с соответствующими морфемами. Оно всегда связано с лексическим значением, говорит о свойствах и отношениях данных словесных знаков, а через их посредство — о свойствах и отношениях реальных предметов, отражение которых дает мышление-язык (например, род, число, время, разнообразные отношения между предметами и т. д.).

Расширением категории грамматического значения является синтаксическое значение, которое понимается временами так широко, что значение морфем (грамматическое) становится одним из его элементов. Ведь речь всегда идет о значении, добавляющемся к лексическому и говорящем о каких-то отношениях, свойствах и т. д. предметов, действий и т. п. Это значение связано не только с морфемами, но также и с порядком, обусловленным синтаксическими правилами, а также с так называемыми служебными словами. Особую роль синтаксические правила играют в тех языках, в которых из-за отсутствия флексии можно понять отношения в фразе лишь по месту, занимаемому отдельными словами<sup>78</sup>.

Роль, аналогичную роли морфем, играют такие слова, как, например, «и», «или», называемые обычно межфразовыми союзами, идентичные фразообразующим функциграм, в некоторых языках — артикли (например, в английском «the» и «a»), а также другие служебные слова (например, при спряжении для указания времени: «ich bin gegangen»). Они отличаются от морфем тем, что формально являются отдельными словами, в то время как морфемы —

это всегда слоги (или ряд слогов), органически связанные со звучанием всего слова. Однако это чисто формальное различие, поскольку служебные слова могут выступать только в окружении других слов и прибавляются к их лексическому значению. Вопрос об их выделении совершенно второстепенен, хотя и может быть решен различно на материале разных национальных языков и может быть объяснен на основе исторического анализа.

С затронутыми выше вопросами связывается разделение знаков языка на автосемантические и синсемантические. Это разделение, восходящее к аристотелевской традиции разделения знаков языка на категорематические (то есть такие, которые могут выполнить в предложении функцию подлежащего или сказуемого) и на синкатегорематические (такие, которые не могут самостоятельно выполнять эти функции), было введено Антуаном Марти<sup>79</sup>. Разделение знаков на авто- и синсемантические не совпадает с аристотелевским разделением, а также и с разделением на слова и такие части слов, как морфемы. Тем не менее это та же самая идея разделения знаков на имеющие самостоятельное значение в данной системе языка и знаки, которые могут выполнять семантическую функцию лишь в окружении других, как их часть или придаток.

Интересно с общетеоретической точки зрения различие в лингвистических исследованиях *основного* и *второстепенного* значения, а также *общего* (узуального) значения и *окказионального*. Это важно не только для лексикографии, но также для метода семантического анализа высказываний разговорного и научного языка, с вопросом полисемии и омонимии слов, то есть таких случаев, когда под одной и той же звуковой оболочкой знака скрываются разные, хотя и родственные значения (полисемия), или полностью разные значения (омонимия), или даже противоположные (антонимия, как, например, в немецком слове «aufheben», которое одновременно значит и «уничтожить» и «сохранить»). В случаях полисемии обязательно выявление основного значения, вокруг которого исторически формируются, в соответствии с языковыми закономерностями, второстепенные значения слова. Вопрос об узуальном (повсюду принятом) и окказиональном значении является особым, отдельным случаем указанного выше разделения. Окказиональное значение формируется в новом контексте, в который попадает слово,

что, между прочим, использует художественная литература в метафорах (буквальное и переносное значение).

Это различие главного и узуального значения, с одной стороны, и второстепенного и окказионального — с другой, приводит нас к весьма важному вопросу о роли контекста для значения словесных знаков. Проблема второстепенных и окказиональных значений сводится к проблеме нового, специфического контекста словесных знаков. Однако вопрос этот приобретает более широкие аспекты вследствие ноторической многозначности (полисемия и омонимия) каждого словесного знака. Стоит обратить внимание на точку зрения Куриловича, который скептически относится к категории общего узуального значения и признает особую роль выделения главного значения. Он пишет в своей статье «Заметки о значении слова»:

«Общее значение — это абстракция, полезность и применимость которой к конкретным лингвистическим проблемам решит будущее. Наше личное возражение против введения этого понятия основано на невозможности интеграции *качественно* различных элементов, а именно коммуникативного содержания и аффективных (стилистических) оттенков. По нашему мнению, самое важное — *главное* значение и то, которое не определяется контекстом, в то время как остальные (частные) значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста»<sup>80</sup>.

Я согласен с теми, кто вопреки распространенным (особенно среди логиков) сетованиям на несовершенство языка, связанное с многозначностью его выражений, утверждает, что не только многозначность словесных знаков, но также и их нестрогость обязательны и даже позитивны с точки зрения коммуникативной эффективности языка<sup>81</sup>. Это не означает похвалы мутности, потому, что нестрогость и мутность — разные понятия. Нестрогость — выражение, обусловленное (я повторяю мысль Блэка из *Vagueness*) отнесением знака к множеству предметов в поле отнесения, а мутность возникает вследствие ассоциации конечного числа альтернативных значений с одной и той же фонетической формой. Речь идет о том, чтобы слушатель (интерпретатор знака) мог осуществить выбор среди альтернативных значений, чему и служит контекст, в котором мы помещаем знак. Мутность соотнесена с кон-



текстом, как утверждает Блэк в «Critical Thinking». Это правильная мысль, подчеркивающая широкое теоретическое значение проблемы контекста.

Лингвистические исследования значения слов не только показали, что слова приобретают определенное значение (то есть осуществляется выбор одного из многих возможных значений), только в контексте, который создает определенный «univers du discours», но и привели к чрезвычайно интересной теории семантического поля и к выработке экспериментальных методов измерения значений.

Теория семантического поля восходит прежде всего к немецкой традиции (Гердер и Гумбольдт) и связывается в современном языкознании с именами Л. Вейсгербера, Йоста Трира, Порцига, Ипсена и других. С философской точки зрения эту теорию развил Карл Бюлер (Sprachtheorie, Йена, 1934). Идеи его работы направлены прежде всего против изолированного исследования языковых образований; автор подчеркивает целостный характер системы языка и влияние контекста на значение выражений. Однако эта рациональная мысль глубоко скрыта под наслоением традиционного немецкого идеализма (Вейсгербер, Трир). По Триру, язык «создает» действительность. «Семантические поля» — это часть словарного запаса данного языка, внутренне спаянная, четко отделенная от других «полей», с которыми она соприкасается. Но как создаются поля, например радости, одежды, погоды и т. п., — это зависит от духа языка. Таким образом, «семантические поля» составляют картину мира и создают иерархию ценностей данного языка. Эта явно идеалистическая концепция, от которой веет гегелевской идеей «духа народа», странно связывается с теми философскими теориями языка, которые, стоя на позициях конвенционализма, ставят в зависимость от «выбора языка» ту или иную «перспективу мира».

Метод исследования значений с помощью конструкции «семантических полей» применяла к конкретным языкам школа Трира, Вейсгербера, Порцига. В целях информации упомянем о другом, экспериментальном методе исследования значений слов, который развивают в США Осгуд и его сотрудники<sup>82</sup>. Центральной идеей этого метода анализа значений с помощью «семантического дифференциала» является установление значений не на основе разрозненных словарных операций, а на основе эксперимен-

тального исследования того, как слово понимается и как оно действительно употребляется носителями данного языка. И хотя этот метод не опирается на концепцию «семантического поля», он исходит из положения о влиянии контекста на значение слов.

Лингвисты выделяют еще некоторые категории языковых значений, кроме упомянутых выше. Говорится еще об этимологическом значении в отличие от актуального, что важно с точки зрения изучения истории языка; далее, говорится об эмоциональном значении в отличие от коммуникативного, причем проблема здесь сводится к вопросу: входят ли эмоциональные элементы в состав значения словесных знаков или нет?

Но самым важным вопросом, более всего интересующим лингвистов при изучении проблемы значения, является вопрос об изменении значений и закономерностей, по которым значения изменяются. Эти вопросы важны при всех исследованиях языка как целого, когда вскрывается его общественный и исторический характер. Однако, поскольку эти исследования сугубо специальные, мы и отошлем к ним интересующегося читателя. Здесь же мы хотели бы только коротко информировать о вопросах, которые могут иметь более широкое общетеоретическое значение.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> С. К. O g d e n and J. A. R i c h a r d s, *The Meaning of Meaning*, London, 1953.

<sup>2</sup> Там же, стр. 20.

<sup>3</sup> E. S. J o h n s o n, *Theory and Practice of the Social Studies*, New York, 1956.

<sup>4</sup> A. G a r d i n e r, *The Theory of Speech and Language*, Oxford, 1951.

<sup>5</sup> Там же, стр. 18.

<sup>6</sup> Там же, стр. 28.

<sup>7</sup> Там же, стр. 22 (курсив мой.—А. Ш.).

<sup>8</sup> G. F r e g e, *Vom Sinn und Bedeutung*, «Zeitschrift für Philosophische Kritik», 1892; английский перевод в «Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege», Oxford, 1952.

<sup>9</sup> B. R u s s e l, *On Denoting* («Mind», 1905); в кн.: B. R u s s e l, *Logic and Knowledge. Essays 1901—1950*, London, 1956. —

<sup>10</sup> G. F r e g e, *op. cit.*, стр. 61.

<sup>11</sup> T. K o t a r b i n s k i, *Elementy...* Lwów, 1929.

<sup>12</sup> K. A j d u k i e w i c z, *O naczynia wyrażen*, Lwów, 1931.

<sup>13</sup> T. C z e z o w s k i, *Logika*, Warszawa, 1949.

<sup>14</sup> E. Husserl, Logische Untersuchungen, b. 1, Halle, 1913, S. 101.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же, стр. 124—126.

<sup>17</sup> Там же, стр. 104—105.

<sup>18</sup> Там же, стр. 91—92.

<sup>19</sup> Там же, стр. 42—43.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же, стр. 183.

<sup>22</sup> Там же, стр. 100.

<sup>23</sup> Ср. посмертно изданный сборник «Wahrheit und Evidenz», Leipzig, 1930.

<sup>24</sup> E. Husserl, op. cit., s. 366—367.

<sup>25</sup> Там же, стр. 371.

<sup>26</sup> Там же, стр. 372—373.

<sup>27</sup> Там же, стр. 373.

<sup>28</sup> Там же, стр. 52.

<sup>29</sup> J. M. Bochenski, Contemporary European Philosophy, Berkeley and Los Angeles, 1956, p. 137—140.

<sup>30</sup> Там же, стр. 100.

<sup>31</sup> Там же, стр. 420—421.

<sup>32</sup> B. Russell, The Philosophy of Logical Atomism, «The Monist», 1918; в кн.: B. Russell, Logic and Knowledge, p. 281.

<sup>33</sup> Ch. S. Peirce, How to Make Our Ideas Clear; в кн.: «Values in a Universe of Change (Selected Writings of Charles S. Peirce)», Stanford Univ. Press, 1958, p. 123.

<sup>34</sup> Там же, стр. 124.

<sup>35</sup> Это статьи: «What Pragmatism is?» и «Issues of Pragmatism».

<sup>36</sup> «Mind», October 1920, № 116, p. 389.

<sup>37</sup> Там же, стр. 390, 391.

<sup>38</sup> J. H. Mead, Mind, Self and Society, Chicago, 1955.

<sup>39</sup> Там же, стр. 75—76.

<sup>40</sup> Там же, стр. 78.

<sup>41</sup> Там же, стр. 81.

<sup>42</sup> P. W. Bridgman, The Logic of Modern Physics, New York, 1927, p. 5.

<sup>43</sup> Там же, стр. 7.

<sup>44</sup> Там же, стр. 28—30. Интересное изложение этой точки зрения находим в работе Анатолия Рапопорта (A. Rapoport, Operational Philosophy, New York, 1953).

<sup>45</sup> В кн.: B. Russell, Logic and Knowledge, p. 285—320.

<sup>46</sup> Там же, стр. 291.

<sup>47</sup> Там же, стр. 300—301.

<sup>48</sup> Там же, стр. 302—303 (курсив мой.—А. Ш.).

<sup>49</sup> «Mind», October 1920, № 116, p. 402.

<sup>50</sup> Цит. по: Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, М., Издательство иностранной литературы, 1959, стр. 39.

<sup>51</sup> L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford, 1953, p. 3.

<sup>52</sup> Там же, стр. 20.

<sup>53</sup> Опубликована впервые в «Philosophical Review», vol. 44, 1936.

<sup>54</sup> В кн.: M. Schlick, *Gesammelte Aufsätze*, 1926—1936, Wien, 1938, S. 340.

<sup>55</sup> Л. Витгенштейн, *Логико-философский трактат* (4.003).

<sup>56</sup> См. «International Encyclopedia of Unified Science», vol. 1, № 2, Univ. of Chicago Press. 1938.

<sup>57</sup> Там же, стр. 45.

<sup>58</sup> M. Black, *The Semiotic of Charles Morris*; в кн.: M. Black, *Language and Philosophy*, New York, 1949.

<sup>59</sup> J. Kotarbinska, *Pojęcie znaku*.

<sup>60</sup> C. H. Morris, *Signs, Language and Behaviour*, New York, 1946, p. 19.

<sup>61</sup> Там же, стр. 18.

<sup>62</sup> В кн.: B. Russell, *Logic and Knowledge*, p. 220.

<sup>63</sup> L. Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, p. 12.

<sup>64</sup> Когда мы имеем дело с названием пустого класса предметов, то есть с названием, обладающим десигнатом, но не имсущим реального денотата, например, когда речь идет о плодах фантазии, таких, как фавны, дьяволы, кентавры и т. п., или об абстрактных качествах, как геройство и т. п., то и здесь выступает отражение действительности, хотя и опосредствованное. Порождения фантазии складываются из кусочков реальной действительности, абстрактные черты и свойства представляют собой отражение свойств, отношений, поведений и т. п., общих для элементов какого-либо класса предметов, то есть присущих единичным материальным предметам (см. стр. 309—310).

<sup>65</sup> К. Маркс, *Капитал*, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 107.

<sup>66</sup> С. Л. Рубинштейн, *Основы общей психологии*, М., 1946, стр. 405.

<sup>67</sup> Ср., например, стр. 110—112, 138 и др.

<sup>68</sup> Л. С. Ковтун, *О значении слова*, «Вопросы языкознания» № 5, 1955; С. А. Фессалоницкий, *Обзор литературы по вопросам связи языка и мышления*, «Вопросы языкознания» № 3, 1956.

<sup>69</sup> «Вопросы языкознания» № 6, 1956.

<sup>70</sup> В. А. Звегинцев, *Семасиология*, стр. 142.

<sup>71</sup> Д. П. Горский, *К вопросу об образовании и развитии понятий*, «Вопросы философии» № 4, 1952, а также «О роли языка в познании» (там же, № 2, 1953). Следует упомянуть, что Горский изменил впоследствии свои взгляды и теперь поддерживает правильную, по-моему, точку зрения, что значение слова совпадает с содержанием понятия. См. его работу «Роль языка в познании» (в сб. «Мышление и язык», 1957, стр. 82, 85).

<sup>72</sup> В. А. Звегинцев, *Семасиология*, стр. 143.

<sup>73</sup> Эту точку зрения защищает, например, В. М. Богуславский в работе «Слово и понятие» (сб. «Мышление и язык», стр. 245 и далее). Следует заметить, что Богуславский принимает также и тот взгляд, что содержание понятия шире значения слова, и пользуется одновременно обоими аргументами, чтобы показать, что понятие и значение слова — это разные категории, относящиеся к разным областям.

<sup>74</sup> В. А. Звегинцев, *Проблема знаковости языка*, М., 1956

<sup>75</sup> S. W. Augustyn, *Wyznania*, Warszawa, 1955, s. 9.

<sup>76</sup> K. Ajdukiewicz, *op. cit.*, s. 19—20.

<sup>77</sup> W. v. O. Q u i n e, *The Problem of Meaning in Linguistics*; в кн.: W. v. O. Q u i n e, *From the Logical Point of View*, Cambridge (Mass.), 1953.

<sup>78</sup> Приведем пример из английского языка, взятый нами из книги: В. Ф. Н u r s s e and J. К а м и н с к у, *Logic and Language*, New York, 1956, p. 77. «Keep the home fires burning — Fires keep the home burning—Keep fires burning the home — Keep home the burning home».

<sup>79</sup> См. прежде всего его «Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie», Vol. 1, Halle, a. S., 1908.

<sup>80</sup> «Вопросы языкознания» № 3, 1955.

<sup>81</sup> См. прежде всего М а х В л а с к, *Language and Philosophy*, (очерк «Vagueness») и е г о ж е: *Critical Thinking* (New York, 1952, раздел «Ambiguity»). Этой же проблеме посвящает несколько замечаний Бертран Рассел в «*The Analysis of Mind*» и в очерке, также под названием «Vagueness».

<sup>82</sup> С h. E. O s g o o d, G. J. S u c c i and P. H. T a n n e n b a u m, *The Measurement of Meaning*, Urbana, 1957.

# Коммуникативная функция языка

Процесс общения и связанная с ним знаковая ситуация, то есть ситуация, в которой материальные предметы и процессы становятся знаками в общественном процессе семиоза, служили нам естественным исходным пунктом и основой анализа таких категорий семантики, как знак и значение. Однако анализ этот показал, что не только для понимания процесса коммуникации, но и для понимания самого знака и значения неизбежно обращение к языку, с помощью которого мы общаемся в пределах общества и в границах которого материальные предметы и процессы могут в определенных условиях функционировать в качестве знаков, то есть приобретать определенные значения. Именно поэтому язык и речь возрастают до уровня основных категорий во всех семантических исследованиях. К языку и речи обращаются как лингвист, так и логик, психолог, этнолог и т. д. К сожалению, они не всегда единодушны в вопросах, касающихся этих категорий. Часто они высказывают не только различные, но и прямо противоположные мнения, что вызывается многосторонностью исследуемого явления, разнообразием интересов отдельных дисциплин и различием точек зрения на проблематику языка (особенно философских, хотя мало кто называет эти вопросы их собственными именами). Тем более важно провести анализ коммуникативной функции языка именно с точки зрения ее философских последствий.

## 1. ЯЗЫК И «ЯЗЫКИ»

Прежде всего уточним, что мы понимаем под «языками» и «речью». В противном случае возможны серьезные недоразумения, которые могли бы значительно ослабить зна-

чение наших дальнейших рассуждений. Нас не интересует здесь ни всесторонний анализ явлений, которые мы обозначили упомянутыми выше терминами, ни анализ многочисленных точек зрения, представленных в литературе по этому вопросу. Мы хотим просто уточнить значение терминов «язык» и «речь», чтобы иметь возможность свободно себя чувствовать при рассмотрении познавательной и коммуникативной функций языка.

Нас интересует прежде всего звуковой язык, который благодаря некоторым своим особенностям является языком *par excellence* и лежит в основе любой иной системы общения в цивилизованном обществе. Поэтому, принимая во внимание его функции и распространенность, это язык *tout court*, если мы не добавляем каких-либо уточняющих определений, что в данном случае речь идет о другом, особом языке.

Как следует из предыдущих рассуждений на тему знака, при анализе языка принимаются во внимание разные факторы. Различными могут быть аспекты этого анализа, а следовательно, и определения языка. Одни подчеркивают фонетическую сторону языка, другие — семантическую.

Грамматисту язык представляется иначе, чем историку литературы, лексикографу, социологу, психологу или просто среднему человеку, который не является специалистом в той или иной области общественных наук. Каждый из них может дать — и часто дает — свое собственное, частичное определение языка. Во многих случаях эти частичные определения верны и удачны. Но прав Марио Пей<sup>1</sup>, когда утверждает, что именно из-за верности и правильности *всех* этих частичных определений язык как явление представляет собой нечто большее, чем говорит каждое из них. Необходимым, хотя и недостаточным условием наличия языковых процессов являются и звуковая их сторона, и семантические и грамматические категории и формы, и выполнение функции посредника в процессе общения людей.

Ревеш в книге о происхождении языка<sup>2</sup> перечисляет различные его определения. Выбор их довольно случаен, но он делает возможной определенную типологию: одни подчеркивают в определении знаковую сторону языка и его произвольность, другие в связи с этим знаковым характером языка подчеркивают его экспрессивную

функцию, третьи — номинативную, а четвертые занимают точку зрения психологических интенциональных или, наконец, бихевиористских концепций и т. д.<sup>3</sup> Исчерпывающее определение было бы тяжелым и перегруженным, а его применимость более чем сомнительной. Ведь в определении нужно выявить не все аспекты проблемы, а лишь важнейшие с определенной точки зрения, связанной с объективными потребностями исследования. Одной из таких точек зрения, необыкновенно важной, по моему мнению, является общественный аспект языка как инструмента познания действительности людьми и коммуникации приобретенных в этом процессе сведений и связанных с ними эмоциональных, эстетических, и др. переживаний. Если мы определим таким образом исходный пункт и аспект исследования, то тогда сможем попытаться дать некую общую характеристику интересующих нас категорий.

Под языком *tout court* мы понимаем, как уже было отмечено, звуковой язык. В соответствии с выдвинутыми выше требованиями мы определяем звуковой язык как *систему словесных знаков, которые служат для формулирования мыслей в процессе отражения объективной действительности путем субъективного познания и для общественной коммуникации этих мыслей о действительности, а также связанных с ними эмоциональных, эстетических и др. переживаний.*

Это определение не охватывает целого ряда аспектов языковых явлений, несомненно важных с той или иной точки зрения. Однако оно выдвигает на первый план такие моменты, которые имеют, по моему мнению, особо важное значение для углубления проблематики языка.

Во-первых, здесь идет речь о том, что звуковой язык является *системой* словесных знаков, то есть артикулируемых звуков, подчиняющихся грамматическим, синтаксическим и семантическим правилам *данного* языка. Именно поэтому артикулируемый звук становится знаком, то есть имеет значение только и исключительно *в пределах* данной языковой системы.

Во-вторых, предложенное нами определение подчеркивает связь языка с мышлением, а тем самым функции языка в процессе отражения объективной действительности в субъективном познании этой действительности, понимаемой самым широким образом, то есть в смысле



как материального мира, так и мира психических переживаний человека, которые в конечном счете можно свести к функции этого материального мира. Тем самым мы ставим эту концепцию языка на материалистическую основу и отделяем ее от всяких конвенционалистских теорий, которые стремятся превратить правила, управляющие словесными знаками на почве данной языковой системы, в автономные и произвольные.

В-третьих, наконец, наше определение подчеркивает коммуникативную функцию языка в смысле общественной передачи результатов как познавательного процесса, так и субъективных эмоциональных переживаний, волевых актов и т. п.

Что касается разграничения категорий «язык» и «речь», то оно вытекает из легко наблюдаемых фактов. Теоретический аспект проблемы затронул в современной литературе только де Соссюр, но в терминологическом отношении все языки, начиная с различия  $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$  и  $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$  в греческом, *lingua* и *sermo* в латинском языке (я говорю о нашем культурном круге и его традициях), знают различие между «языком» как системой лингвистических фактов и «речью» как названием определенного действия. Вслед за де Соссюром это теоретическое разграничение было в основном принято всей современной лингвистикой.

Гардинер отделяет речь — как деятельность с ярко выраженными утилитарными целями — от языка определенной науки, касающейся фактов коммуникации посредством словесных знаков<sup>4</sup>. Это разграничение принято и в марксистской литературе: лингвистической, психологической и др. В своей «Психологии» С. Л. Рубинштейн определяет речь как язык, функционирующий в контексте индивидуального сознания, а различие между речью и языком он приравнивает к различию между общественным и индивидуальным сознанием.

Предложенное нами определение звукового языка можно легко распространить (с некоторыми видоизменениями) на другие «языки». Процесс общения людей совершается не только посредством звукового языка, но и с помощью других средств общения (вспомогательных по отношению к звуковому языку или заменительных). По-моему, попытка сохранить название «язык» для звукового языка, как это предлагает, например,

Леонард Блумфильд, является излишним педантизмом. Что касается названия «речь», то непосредственная языковая интуиция велит сохранить его для деятельности общения посредством звукового языка и разрешает употреблять его в других случаях лишь в переносном значении (например, в выражении «черты лица говорят что-то» и т. п.). А название «язык» употребляется для обозначения различных систем коммуникации, и здесь языковая интуиция позволяет говорить в равной мере как о звуковом языке, так и о языке жестов, символов, красок и т. п. Дело не в том, чтобы прийти к педантичной и в принципе нереальной однозначности слова «язык», а в том, чтобы различать в контексте разные значения этого слова и отдавать себе отчет в различиях между ними.

Как и в случае определения звукового языка, мы можем сказать, что под языком мы понимаем *любую систему знаков определенного типа, которая служит цели коммуникации людей* (речь идет о коммуникации содержания познавательных актов, эмоциональных переживаний и т. д.), а также *может служить в определенных случаях для формулирования мыслей в познавательном процессе* (то есть в процессе отражения объективной действительности субъективным познанием). Два момента требуют здесь пояснений: 1) на чем основывается предпочтительность системы словесных знаков по отношению к другим системам знаков? 2) На чем основано различие между двумя классами систем в отношении их роли в процессе мышления? Впрочем, как мы увидим, эти проблемы связаны между собой.

Прежде всего следует подчеркнуть, что если артикулированные звуки и словесные знаки составляют основу системы звукового языка, который занимает положение «естественного» языка, то это произошло благодаря *особой пригодности* этого языка для процесса мышления и общения, а не потому, что *только* словесные знаки могут выполнять эту функцию; и лучшим доказательством этого являются факты использования других систем знаков у физически неполноценных людей. Например, глухонемые пользуются языком жестов, слепые — языком прикосновений.

То, что и те и другие пользуются выученным языком, воспринятым у людей, владеющих звуковым языком и *переводящих* категории этого языка на язык жестов

или прикосновений, не меняет того факта, что другие системы знаков могут все же заменить словесные знаки как в процессе мышления, так и в процессе общения (ведь здесь речь идет о таком положении, когда словесные знаки данным лицам фактически недоступны). Все же словесные знаки превосходят другие знаки своими практическими достоинствами, такими, как легкость и объем доходчивости их восприятия собеседником, назависимость от света (необходимого при всех зрительных знаках) или от непосредственного контакта (необходимого при всех осязательных знаках), огромные возможности комбинаций и оттенков и т. п. Благодаря этим качествам звуковой язык в процессе исторического развития вырос до роли *естественного* языка, знаки которого стали «прозрачными для значения». Мы думаем при помощи этого языка и не можем думать иначе, так как с самого раннего детства общество прививает нам способность мышления-языка. Поэтому *всякая* другая система знаков служит или вспомогательной по отношению к звуковому языку (например, жесты, мимика в речи и т. п.), или своеобразным заменителем этого языка, его переводом на другую систему знаков (всевозможные коды и т. п.); каждая такая система должна быть в свою очередь переведена собеседником на категории звукового языка. Поэтому обычно эти другие языки служат в определенных обстоятельствах средством общения, а не инструментом мышления. *Теоретически* это возможно, и поэтому в определении говорится, что в некоторых случаях эти другие языки (например, жестов, прикосновений и т. д.) *могут* использоваться для формулирования мыслей в познавательном процессе. *В действительности* это явление выступает лишь в случаях физических недостатков, которые исключают возможность использования в общественном воспитании звукового языка. Ибо это воспитание является причиной того, что мы не можем «освободиться» от мышления-языка (звукового). Даже в случаях повреждений мозга, вызывающих афазию, мышление посредством словесных знаков не утрачивается в полной мере.

Наряду со звуковым языком, который благодаря способу усвоения его общественно воспитуемым человеком может справедливо считаться естественным, могут выступать и действительно выступают другие языки. Некоторые из них, а именно те, которые являются вспомога-

тельными по отношению к звуковому языку (например, мимика, жестикуляция), не менее естественны, чем он сам. Другие же совершенно искусственны и даже произвольны, как все коды или системы математических, логических и других знаков. Об этих языках, называемых обычно «дедуктивными» языками, следует сказать еще несколько слов.

Начнем с высказывания лингвиста Л. Блумфильда, которое облегчит нам дальнейшие рассуждения.

«Наглядным доказательством удобств, которые содержатся в хорошо составленной системе письменных символов, является наша цифровая система. Простые действия, не выходящие за ее пределы, можно произвести с помощью счетных машин. Не говоря уже о таком крайнем случае, можно привести пример телеграфных кодов, в которых форма записи преобразована таким образом, чтобы стать возможно короче; можем упомянуть системы записи, используемые символической логикой, где совокупность знаков подобрана таким образом, чтобы по возможности упростить правила понимания. Конструирование счетных машин или создание правил формулирования и подстановки в логической системе требует большой тщательности и необыкновенно интересно; исследование этих правил как таковых, без обращения к конечным языковым формам их следствий, приносит несомненную выгоду. Тем не менее как только они начинают действовать, они должны быть построены так, чтобы от речевых форм приходило в конце концов также к речевым формам.

Счетная машина, код или логическая система, если в конечном результате они не дают языковых форм с определенным значением, бессмысленны. Для иллюстрации различия интересно сравнить языковые системы с внеязыковыми, например с нотной записью для фортепьяно или с записью шахматных ходов. Люди, не привыкшие к лингвистическим рассуждениям, склонны совершать ошибку, не принимая во внимание языковой характер нотирующих или механических систем, заменяющих язык, и считая их «независимыми»; одновременно метафорически они нередко называют их «языками». Эта метафора очень опасна, так как может вызвать убеждение, что подобного рода системы могут освободить нас от трудностей и сомнений, которые влечет за собой пользование языком»<sup>5</sup>.

Как видно из приведенной цитаты, Л. Блумфильд, большой авторитет в лингвистике, на которого охотно ссылаются неопозитивисты, отказывает счетным и дедуктивным системам в праве называться «языком». Этот вопрос тем более интересен, что для многих математиков и логиков именно эти исчисления и системы являются языками *par excellence*, в то время как к так называемому естественному (звуковому) языку они относятся несколько пренебрежительно в связи с характерной для его выражений многозначностью и отсутствием точности.

Если я несколько резко выразил взгляды, то это случилось только потому, что я до конца высказал некоторые мысли, содержащиеся имплицитно в различных действительно высказанных точках зрения. Но это неважно. Мы боремся не за слова и не за честь и моральный авторитет того или иного языка. Нас интересует гораздо более важный вопрос, философский характер которого мы не имеем права обойти ни в коем случае: вопрос о понимании отношения формализованных языков к естественному языку, о понимании их производного характера по отношению к лингвистической базе естественного языка, на которую они опираются в своем происхождении и в процессе интерпретации.

Мы не будем здесь заниматься ни многозначностью выражений естественного языка и характерным для них отсутствием строгости и точности, ни совершенно противоположными чертами формализованных языков. Мы вернемся к этому в дальнейших рассуждениях. Однако здесь я хотел бы отметить, что эта многозначность, будучи с точки зрения некоторых исследовательских приемов дефектом естественного языка, является одновременно его силой с точки зрения процесса коммуникации людей: огромная эластичность языка позволяет ему отвечать неограниченной экспрессивной потребности в общественном процессе общения.

Интересующий нас вопрос чрезвычайно прост и одновременно важен. Мы говорили уже о нем в 1 части, здесь же только кратко напомним его: на этапе существования звукового языка всякий другой язык, а в особенности такие создания высокой духовной культуры, как формализованные исчисления и дедуктивные системы, называемые иногда *формализованными языками*, образуется и может образоваться лишь на почве естественного (зву-

кового) языка как его своеобразные перевод и интерпретация.

В ходе уточнения смысла таких терминов, как «язык», «речь» и «языки», всплыли на поверхность некоторые существенные проблемы, которые предопределили направления наших дальнейших рассуждений. Это прежде всего два больших вопроса из области теории языка, которые нашли себе место в предложенном нами определении, а в настоящий момент требуют дальнейшего развития и теоретического анализа:

- 1) отношение языка-мышления к действительности
- 2) отношение языка-мышления к коммуникативному процессу

## 2. ЯЗЫК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Связан ли язык, с помощью которого мы думаем о действительности, познавая ее, и посредством которого передаем свои мысли о познанной нами действительности, связан ли язык с этой действительностью, о которой идет речь, или он является совершенно произвольным образованием. Ответ на этот вопрос — необходимое условие решения любой проблемы, связанной с проблематикой знака и значения, общения и т. д. Любая теория или философия языка эксплицитно или имплицитно занимается отношением языка к действительности.

В литературе по этому вопросу существуют две противоположные точки зрения. Одна из них, основанная на конвенционализме, гласит, что язык — это произвольное образование, а его правила создаются точно так же, как правила любой игры. Другая точка зрения утверждает, что язык есть образ действительности или что структура языка подобна структуре действительности, о которой идет речь, и именно поэтому язык может информировать нас об этой действительности. Оба эти положения я считаю ошибочными и затрудняющими понимание роли языка и его механизма.

Концепция языка — игры в шахматы была распространена в кругах неопозитивистов. Ее признавали Гемпель, Айдукевич, Карнап, Айер и др. Само собой разумеется, что существовали различия в точках зрения отдельных философов и логиков, но самые существенные

положения этой концепции были общими для всех них. А именно: речь идет об убеждении, что язык, как и логику (знаменитый «принцип терпимости» Карнапа), можно построить произвольно, принимая *ad libitum* те или иные принципы, правила и т. д., точно так же как в случае выдумывания какой-либо игры. Отказываясь от подобного рода утверждений (хотя бы потому, что язык является одним из самых сопротивляющихся всевозможному произволу и новаторству культурных образований), стоит задуматься над их истоками. Лично я уверен, что решающую роль сыграла здесь аналогия с дедуктивными системами и смешение естественного языка с формализованными языками. В области формализованных языков действительно можно выбирать произвольно аксиомы, правила преобразования и т. д. Ошибка заключается в том, что нельзя механически переносить положения, касающиеся «языков» дедуктивных теорий, на рассуждения о естественном языке, и прежде всего потому, что они выполняют различные функции, а следовательно, их механизмы отличны один от другого.

Вот основные аргументы в пользу нашей точки зрения.

Во-первых, каждая игра предполагает знакомство с ее правилами, сформулированными на звуковом языке. Игру и язык связывает здесь односторонняя зависимость; если бы мы захотели считать язык игрой, а словесные знаки — фишками, создаваемыми в соответствии с правилами этой игры, это привело бы нас к замкнутому кругу в рассуждении. Ибо как в таком случае мы могли бы сформулировать и понять правила этой игры?

Во-вторых (что, впрочем, тесным образом связано с приведенным выше аргументом), в отличие от игры, которая осуществляется для нее самой, язык имеет коммуникативную функцию, а словесные знаки в отличие от фишек в игре относятся к предметам, которые не являются словами, указывают на сферу «вне их» и именно поэтому являются знаками<sup>6</sup>.

Ошибочность всей этой концепции становится очевидной при сопоставлении с определением знака. Любой знак функционирует, как известно, только в пределах определенной знаковой ситуации и соотносим только с системой данного языка и с действительностью, о которой он сообщает. Звуковой язык, являясь системой определен-

ных словесных знаков, также связан этой относительно-стью и может рассматриваться как произвольное образование лишь тогда, когда он превращается в умственное развлечение и перестает быть языком в собственном значении этого слова, то есть когда он перестает выполнять свои основные функции в процессе познания и общения.

Столь же ошибочна противоположная концепция, рассматривающая язык как картину действительности, о которой говорится в данном языке. Это вульгаризация теории отражения действительности в языке, и именно это позволяет легко ее разоблачить. Примером может служить точка зрения Витгенштейна в «Трактате», по крайней мере та интерпретация его точки зрения, по которой структура высказывания должна быть идентична структуре данной действительности. Мне кажется, достаточно сказать (что уже сделали Макс Блэк, Райл, Айер и др.)<sup>7</sup>, что неизвестно точное значение утверждения: «структура высказывания точно такая же, как структура действительности». Хотя бы потому, что действительность не состоит из каких-то фрагментов или частей, соответствующих частям и фрагментам, составляющим высказываемые нами предложения.

Язык — не условная игра, в которой словесные знаки служат фишками, и не картина или непосредственное повторение структуры действительности. Поэтому нельзя отрывать язык от действительности и ее отражения в человеческом сознании, нельзя рассматривать языковые выражения как образный аналог действительности. Как же представить их отношение?

Маркс когда-то очень хорошо сказал:

«Язык так же древен, как и сознание, язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми»<sup>8</sup>.

Трактовка языка как органа, орудия, служащего целям общения (что совпадает с нашим исходным пунктом анализа проблем знака, значения и языка), известна в литературе, особенно лингвистической, со времен Аристотеля<sup>9</sup>. Нас не интересует здесь ни генезис языка, ни то, требует ли характер языка как органа, интерпретации с точки зрения целесообразности или с позиций причин-



ности. В центре нашего внимания стоит проблема отношения языка к процессу мышления, а также к действительности, о которой говорится на этом языке.

Начнем с взаимоотношения языка и мышления.

Один аспект этой проблемы выявился уже в предыдущем разделе в связи с рассмотрением отношения между словесным знаком и понятием. Я защищал там положение, что значение словесного знака и понятие совпадают. Можно ли применить это положение и к отношению между языком и мышлением? По-моему, да. Правда, в процессе мышления выступают элементы чувственного наблюдения (не только как генетическая основа понятийного мышления, но и как элементы, сопутствующие этому процессу), но то же самое можно было бы сказать о переживаниях содержания языковых процессов. В то же время утверждение о неязыковом мышлении основано на глубоком недоразумении. Одно дело тот факт, что психологический анализ мыслительных процессов вскрывает *сопутствующие* понятийному мышлению (то есть мышлению посредством словесных знаков) различного рода представления, а другое — утверждение, что мышление представлениями не зависит от лингвистических процессов. Положение о возможности какого-то внеязыкового мышления (если речь идет о людях, владеющих звуковым языком) могут поддерживать только те, кто верит в познание без помощи знаков, в *непосредственное* познание или наблюдение. Я согласен с Расселом<sup>10</sup>, что утверждать нечто подобное могут только мистики. На почве науки и ее критериев подобный взгляд удержаться не может.

Чаще в литературе выступает, однако, более осторожная точка зрения, согласно которой мышление и язык — не одно и то же, а составляют неразрывное единство двух самостоятельных факторов. Ревеш утверждает, например, что не существует речевого процесса без мышления и, наоборот, мысль не может существовать без языка. Тем не менее он считает, что мышление содержит в себе некоторые внеязыковые элементы и в связи с этим нельзя согласиться с положением о единой, нераздельной функции мысли и языка. Как следует из аргументации, эта точка зрения опирается на предпосылку, что в процессе мышления содержатся какие-то элементы, которые не могут быть облечены в слова. Но снова следует напомнить, что одно дело *трудность выражения* определенных настроений,

состояний чувств и т. п., связанных с процессом мышления, и совершенно иное — положение о существовании каких-то мыслительных процессов или даже связанных с ними чувственных состояний и т. п., которые в принципе *не могут быть выражены и сообщены*. Это положение так же трудно принять, как и то, которое отбрасывает Ревеш вместе с утверждением о принципиальном дуализме языка и мышления.

Однако основная проблема, особенно интересная с философской точки зрения, связана с отношением языка к действительности, о которой идет речь. Но эта проблема не оторвана от предыдущей, а, наоборот, может быть решена только на ее основе. Мы должны осознать, *какое* отношение нас интересует: отношение к действительности языка, рассматриваемого в отрыве от мышления, или языка, рассматриваемого в единстве с мышлением. От правильной постановки этого вопроса зависит не только точка зрения на проблему, но и возможность ее решения. Рассматривая язык как независимое и оторванное от мышления образование или рассматривая процесс мышления в духе номинализма, а его образования как *flatus vocis* (существуют только две разные формулировки одного и того же, по существу, положения), мы предполагаем произвольность языка и отрицаем тем самым существование какой-либо иной связи между языком и действительностью, кроме той, что существует отношение *обозначения* каких-то предметов какими-то словесными знаками на основе конвенции. Взаимоотношение языка и действительности становится в полной мере очевидным лишь тогда, когда, поняв *единство* языка и мышления, мы говорим об отношении к действительности не просто языка, а языка-мышления.

Настоящей же проблемой является не отношение к действительности языка «в себе», а отношение к действительности человеческого *познавательного процесса*, который так или иначе осуществляется в языковой форме (системы словесных знаков). Как мы уже сказали, понимание этого обуславливает направление решения интересующего нас вопроса. Правда, языка «в себе» не существует, но, как свидетельствуют факты, в исследовательской практике можно подойти к данной проблеме исключительно с точки зрения звуковой стороны языка, материальных носителей значения. Тогда, даже если мы признаем исторические

и общественные основы генезиса языка, мы должны признать, что нет более глубокой связи между данным звуком и сущностью вещи, к которой относится данный словесный знак, то есть мы должны признать, по крайней мере в определенном смысле, произвольность словесных знаков. Если мы остановимся на этом, — перед нами прямая дорога к конвенционализму, к концепции языка — игры в шахматы, которая целиком уничтожает то, что и должно было бы стать предметом исследования.

А теперь подойдем к этой проблеме с другой стороны. Нас интересует не язык «в себе», а однородная функция языка-мышления, или языкового мышления, которая характерна для познавательного процесса на человеческом этапе его развития, то есть на специфическом для человека этапе развития абстракции. При таком подходе проблема отношения познавательного процесса (являющегося языковым процессом) к предмету познания, к действительности предстает перед нами во всей полноте. Тут уже нельзя ограничиться конвенционалистской концепцией языка как игры. Здесь нужно ясно ответить на вопрос: в каком отношении находится наше языковое познание к предмету познания, к действительности? Ответ выявит все философские последствия той или иной точки зрения. И при таком подходе к вопросу можно отрицать отношение отражения, можно заявлять, что язык создает действительность (например, Э. Кассирер) и т. п. Но тогда человек заявляет о своем философском кредо и не может уйти от необходимости выбора определенной философской позиции. А это уже очень много. Ибо в философии часто важнее определить свою позицию, чем достигнуть нереального в действительности общего согласия. Наверное, сторонников конвенционалистских решений проблем языка и его отношения к действительности было бы значительно меньше, если бы обнажить до конца фальшь позитивистских деклараций о преодолении традиционных философских споров, показать философские последствия конвенционализма и заставить заинтересованных лиц высказаться за или против этих следствий. В истории философии было немного смельчаков, которые сознательно исповедовали солипсизм, да и теперь мало отважных, открыто провозглашающих субъективный идеализм (хотя бы из страха потерять научный престиж во внефилософских кругах).

Проблему отношения языка-мышления к действительности можно также сформулировать следующим образом: позволяет ли анализ языка познать какие-то закономерности внеязыкового мира и можно ли в связи с этим рассматривать язык автономно, в отрыве от ввелингвистических фактов? Эта формулировка кажется мне более удачной, так как она подходит к этой же проблеме более конкретно и, я бы сказал, менее «философски».

На этот вопрос можно дать два ответа: один отрицает всякую связь языка с внесловесной действительностью в смысле формирования языка по образцу этой действительности (впрочем, с различной аргументацией этого отрицания), другой же утверждает существование такой связи (снова с разнообразными доказательствами).

Отрицание связи языка с внесловесной действительностью — в смысле возможности нахождения в языке информации о реальном мире — основывается, как мы уже сказали, на совершенно различных доводах.

Прежде всего сюда примешивается убеждение о возможности какого-то непосредственного познания, которое является настоящим познанием. Как интуиционизм Бергсона, так и положения Гуссерля исходят из того, что «настоящее» познание носит характер непосредственного акта и является внеязыковым. Это типичный иррационализм с мистическим оттенком, отвергающий языковое познание и противопоставляющий ему какое-то иное познание: мистическое вживание в предмет, которое позволяет в одном акте «по-настоящему» понять его. Тем самым отрицается связь языка (будто бы искажающего картину действительности) с действительностью в смысле какого-то ее отражения.

Подобной точки зрения (хотя отправной пункт здесь иной) придерживаются те, которые, как Гумбольдт в прошлом или как Лео Вейсгерберг в настоящее время, верят, что в языке реализуется «дух народа», различным образом формирующий видение мира в разных языковых системах.

Здесь признается связь с действительностью, но такая связь, которая противоречит положению, что язык формировался одновременно с человеческим познанием под влиянием познаваемой действительности: ведь здесь язык создает картину действительности, а не является ее отражением.

К отрицанию связи языка с действительностью приводят все разновидности неоминализма, которые заставляют нас верить, что не только можно заниматься языковыми явлениями как автономными, но более того, только такой анализ имеет право на существование. Так называемый логический атомизм в форме, представленной некогда Берtrandом Расселом, разбивал действительность на факты-атомы, которые язык не может исследовать без соответствующего аппарата и которые он в результате искажает. Другими, хотя и подобными, путями к отрицанию этой связи пришел неопозитивизм, который довел до совершенства положение об автономии языка как единственного предмета философского анализа; это стало вершиной семантической философии. Характерно, что Рассел, взгляды которого постоянно эволюционируют, в настоящее время критикует неопозитивистов за это отрицание, являющееся выражением своеобразного агностицизма. Я привожу эту критику потому, что считаю ее особенно ценной: она вышла из-под пера человека, который был одним из основателей критикуемого направления.

«Я предлагаю решить, можно ли из структуры языка сделать какие-либо выводы о структуре мира, а если да, то какие именно. До сего времени существовала тенденция, особенно среди логических позитивистов, рассматривать язык как независимую область, которую можно исследовать, не обращая внимания на то, что происходит вне языка. Такое отделение языка от других фактов до некоторой степени и в определенных пределах возможно; изолированное изучение синтаксиса языка дало несомненно некоторые положительные результаты. Однако я считаю, что можно легко переоценить достигнутое одним только исследованием синтаксиса. Я думаю, что существует доказуемая зависимость между структурой предложений и структурой событий, к которым относятся предложения. Мне не кажется, что структура невербальных фактов совершенно непознаваема, а я уверен, что особенности языка при сохранении достаточной осторожности в пользовании ими могут нам помочь в понимании структуры мира»<sup>11</sup>.

Как я уже отметил выше, рассмотрение отношения языка к действительности в плане языка-мышления заставляет нас занять определенную философскую точку зрения. Спор по этому вопросу должен основываться на об-

щих философских положениях, так как это по существу спор об отношении познавательного процесса к действительности.

Я хотел бы указать на то, что возможность научного разрешения интересующей нас проблемы я вижу только в теории отражения в том специфическом значении, которое оно имеет в марксистской философии.

В связи с извращениями и непониманием теории отражения в немарксистских кругах, а в особенности в связи с ложным отождествлением марксистской теории отражения с точно так же называющейся теорией механистического материализма следовало бы снабдить наше рассуждение изложением марксистского понимания теории отражения. Но здесь я, конечно, не буду этого делать. Однако я хотел бы сказать возможным критикам о вероятности подобного рода недоразумений.

Теория отражения отбрасывает оба крайних решения: как то, что язык — чисто конвенциональное явление, независимое от внеязыковых факторов, так и то, что в структуре языка можно увидеть картину структуры действительности.

Концепции языка-игры, языка — образования произвольной конвенции противопоставляется практика, которая в преобразовании действительности опирается на информации, получаемые именно через посредство этого якобы не связанного с действительностью образования; этой концепции противопоставляется наука, а в особенности наука о развитии языка, которая утверждает, что это развитие происходит под влиянием изменений в реальных отношениях реальной действительности; ей противопоставляется философское обобщение теории и практики в форме концепции познания как субъективного отражения объективной действительности. Принимая во внимание эти элементы, мы защищаем положение, что язык, неразрывно связанный с мышлением и фактически составляющий вместе с мышлением единую функцию, на которой основывается специфика человеческого процесса познания, формируется на основе опыта и сам является эмпирическим фактом, а не продуктом произвольной конвенции. Мы хотим этим сказать, что язык-мышление дает своеобразное отражение действительности, что его развитие вызывается развитием самой действительности и развитием познания (на практике и в теории) действительности.

Надо ли понимать отражение действительности в языке-мышлении таким образом, что здесь речь идет о каком-то образе действительности в структуре языка и т. п.? Я уже указал выше, что теорию отражения в применении к языковой функции нельзя отождествлять с какой-нибудь вульгаризаторской теорией представления или образного характера этой функции. Такая вульгаризаторская концепция основывается на полном непонимании специфики словесных знаков по сравнению с другими категориями знаков, о чем уже говорилось в связи с анализом знака и значения.

Специфика словесного знака состоит прежде всего в том, что он порывает с образностью, благодаря чему может выполнять особые функции в процессе абстракции и стать «прозрачным для значения». Отражение действительности в языке состоит не в том, что отношения между частями предложения соответствуют отношениям между какими-то элементами действительности. Деление действительности на отдельные элементы есть нечто искусственное, чаще всего плод абстракции. Кроме того, разделение на части представляется неодинаково на почве различных языковых систем, что не мешает ни познанию этой действительности, ни общению на эту тему (хотя, как мы увидим дальше, здесь могут возникать некоторые осложнения). Отражение действительности в языке, «моделирование» языка действительностью состоит не в том, что язык каким-то образом заключает в себе «образ» действительности в смысле прямого копирования действительности *формой* языковых выражений (их звуком). Нельзя все же разумно возражать против положения о произвольности знаков языка, если оно понимается как отрицание какой-либо необходимой связи между звуком слов и вещами, отношениями, действиями и т. д., к которым они относятся, видя одновременно общественно-историческую обусловленность генезиса соответствующих выражений<sup>12</sup>. Теория отражения не требует от нас отказа от положения о существовании конвенциональных элементов в языке (кто же мог бы разумно возражать против этого?); в соответствии с этой теорией нельзя только *сводить* язык к конвенциональному продукту, отрывать его от действительности, тем самым от существенных функций общения людей с целью деятельности, преобразования этой действительности, то есть функций, которые лежат

в основе языка. Язык и его знаки реализуют свои функции — отражения действительности, передачи знаний об этой действительности и т. д. — не через образное сходство с действительностью или благодаря тому, что они являются *аналогоном* структуры этой действительности, а благодаря своей смысловой стороне, которая совпадает с тем, что мы называем содержанием мыслительного процесса. Как это происходит, на этот вопрос (о чем мы уже упоминали выше) могут ответить лишь отдельные науки: физиология, психология и т. д. Здесь будет достаточно констатировать факт специфики словесных знаков, указав адрес, по которому следует обращаться для получения более подробных информации.

Теория отражения не ограничивается отказом от позиции конвенционализма и утверждения, что язык формируется под влиянием познания внеязыковой реальной действительности и дает в определенном смысле этого слова ее *отражение*. Теория отражения одновременно учитывает диалектику (доказанную весьма убедительно лингвистикой, этнологией и т. п.) отношения между языком-мышлением и процессом познания действительности, диалектику, основанную на том, что язык-мышление, созданный как отражение действительности в человеческом познании, есть одновременно (особенно благодаря воспитанию, передающему с помощью языка опыт, накопленный предшествующими поколениями) *орган*, инструмент, формирующий способ восприятия и познания этой действительности. Эта диалектика имеет важное значение для правильного понимания отношения языка-мышления к языковой действительности. Поэтому мы остановимся на ней более подробно.

Напомним, однако, что предметом наших изысканий является не отношение языка к мышлению и наоборот (ибо это два аспекта той же самой функции), а взаимоотношение языка-мышления и познавательного процесса, познавательных способностей человека. Помочь осветить эту проблему могут результаты исследования в следующих областях: психологии развития, психопатологии, этнологии (культурной антропологии). Ведь каждая из них освещает с какой-то стороны развитие познавательных функций и интересующую нас диалектику взаимоотношений языка-мышления и процесса познания действительности. Я исключаю здесь проблематику психологии



развития (ребенка), так как она выдвигает на первый план влияние общественного процесса воспитания и тем самым ставит в центр несколько другие проблемы, чем те, которые нас прежде всего интересуют. В то же время проблематика психопатологии и этнологии (культурной антропологии) может, по моему мнению, сыграть большую роль в углублении анализа интересующих нас вопросов.

В психопатологии нас прежде всего интересуют случаи афазии, то есть утраты способности языкового мышления в той или иной форме<sup>13</sup> вследствие повреждений мозга. Исследования этих случаев связаны прежде всего с именем Хеада, и сейчас им посвящена серьезная литература. Конечно, в основном эти проблемы доступны только специалистам — философ может воспользоваться лишь самыми общими выводами.

Прежде всего следует уяснить себе, что афазия полностью не останавливает функций мышления, а скорее видоизменяет их. Нас интересуют в теоретическом плане именно эти видоизменения, так как они раскрывают взаимозависимость языка-мышления и познавательного процесса. Противоположные формы афазии (словесная и семантическая) заключаются в том, что в первом случае больной мыслит и понимает то, что ему говорят, но теряет словообразовательную способность, а во втором — он высказывает слова, лишённые семантической функции, то есть произносит какие-то звуковые комплексы, а не слова, словесные знаки *sensu stricto*. С теоретической точки зрения наиболее интересны промежуточные случаи (синтаксическая, а особенно именная афазия), когда больной по крайней мере частично сохраняет способность речи и мышления, но в видоизменённой форме. Наблюдение такого состояния позволяет нам глубже понять механизм диалектики элементов, определяющих познавательный процесс.

Возьмем случай именной афазии. Больной оперирует словами, которые обычно являются родовыми названиями, но он пользуется ими совершенно иначе, не как общими названиями, а как словами, связанными с данной конкретной ситуацией, которая в уме больного связывается с данным словом. Это происходит, по мнению специалистов, потому, что больной из-за мозговых повреждений утрачивает способность абстрактного восприятия действительности. В нашем познании и основанном на нем поведении

присутствует как ориентация на конкретное, связанное с чувственным наблюдением действительности, так и на родовые черты предметов и на их абстрактное познание; повреждение мозга в некоторых случаях приводит к утрате этой второй способности. Теряя способность абстрактного восприятия качеств предметов и их абстрактного познания, человек перестает употреблять слова в качестве родовых названий, так как перестает понимать их таким образом; он утрачивает способность абстрактного употребления их, но не утрачивает полностью способность употребления слов в конкретном контексте. Вот что говорит на эту тему один из известных исследователей проблем афазии Курт Гольдштейн:

«То, что было сказано о зависимости между языком и конкретистской формой, должно облегчить понимание того, почему пациент, лишенный способности к абстракции, не способен к полному словесному выражению. Но разве это объясняет, почему он особенно беспомощен при назывании предметов? Это явление можно объяснить лишь на основе анализа поведения нормальной личности в процессе называния; этот анализ показывает, что действительное называние происходит при наличии абстрагирующей точки зрения. Когда мы называем какой-либо предмет, например стол, мы имеем в виду не данный стол со всеми его случайными признаками, а стол вообще. Слово оказывается употребленным в качестве представителя категории столов... Сущность называния демонстрирует тот факт, что вместе с утратой способности к абстракции, называние становится невозможным. Так подтвердилось наше предположение. Мы можем сказать, что пациент не может употреблять слова в их именной функции, так как он не в состоянии занять абстрагирующую точку зрения. У него не возникают в уме общие названия, так как он занимает по отношению к внешнему миру конкретистскую точку зрения, с которой речь несовместима, позицию, которой могут соответствовать лишь слова, называющие отдельные предметы. Пациент даже не может понять, что такое называть, так как для этого необходима абстрагирующая точка зрения, которую он не в состоянии занять. Это находит подтверждение в том факте, что пациент употребляет слова, соответствующие предметам, если он располагает такими словами, которые подходят к конкретной ситуации. Пациент, который не может применить

слово «красный» для разных оттенков красного цвета, легко произносит такие слова, как «красная клубника», «синее небо» и т. д. по отношению к соответствующим цветам. Он в состоянии это сделать, так как располагает соответствующими единичными словами. Большое значение того языка, который выступает при назывании, становится ясным, когда мы присмотримся к другим характерным видоизменениям языка пациентов, которые можно объяснить подобным же образом. Они являются следствием нарушения способности абстрагирования и параллельны изменениям в общем поведении пациентов»<sup>14</sup>.

Гольдштейн утверждает, что язык больного именной афазией превращается в своеобразный автомат, реагирующий на определенные конкретные ситуации. Отсюда ограниченное употребление таких слов, как союзы, артикли, наречия и т. п., которые требуют высокой степени абстракции<sup>15</sup>. Слова, обычно функционирующие как общие названия, выступают у больных в качестве названий конкретных вещей или событий. Это происходит благодаря ассоциации употребляемого слова с конкретной ситуацией без понимания общего характера слов (о чем свидетельствуют опыты, проведенные над больными). Например, так происходит со словом «вещь». Автор приходит к выводу, что произношение больными слов не означает еще пользования языком, знаки которого имеют определенное значение.

Другим интересным фактом, на который ссылается Гольдштейн, является потеря способности понимать языковые метафоры, пословицы и т. п., что также связано с утратой способности абстрактного понимания словесных знаков.

На этой основе Гольдштейн делает следующий вывод: «Если рассмотреть их (то есть пациентов. — А. Ш.) состояние по отношению к миру, в котором они живут, то можно сказать, что этот мир параллельно изменяется. То, что мы понимаем как предметы в упорядоченном мире, для них представляется сложным чувственным опытом единичного, индивидуального характера, на который можно реагировать определенным образом, но который не связан в стройную систему. Можно сказать, что у них нет «мира». Изменение проявляется в упомянутых выше модификациях языка и в утрате мира, что указывает на то, что пациенты оказались лишенными основной

*человеческой черты...* Их слова потеряли свою символическую функцию, а вместе с ней способность выполнять роль посредника между чувственными впечатлениями и тем миром, в котором человек может быть человеком. Изменение в личности пациента, которое исключает его из нормального человеческого общества, выдвигает на первый план основополагающее значение способности пользоваться символами и важность символического характера языка»<sup>16</sup>.

Что дают выводы, вытекающие из исследований афазии, для интересующей нас проблематики взаимоотношений языка-мышления и познавательного процесса?

Из этих наблюдений следует прежде всего то, что определенные языково-мыслительные функции являются следствием определенных познавательных способностей, способностей производить анализ и синтез наблюдаемых данных. Это совершенно очевидно с точки зрения физиологии мозга. Но этот факт имеет большое значение не только для подтверждения физиологических основ мыслительных процессов, но и для доказательства единства мыслительно-языковой функции. Ибо несомненно, что нарушение некоторых языковых способностей, та или иная афазия, означает одновременно нарушение соответствующих мыслительных способностей. Изучение афазии дает научное доказательство того, что без языка невозможно понятийное, абстрактное мышление. Это очень важный вопрос, и, во всяком случае, интерес к философской, точнее говоря, теоретико-познавательной стороне результатов наблюдений над афазией является в высшей степени оправданным.

Из всего, что было сказано выше, нас интересует в основном вопрос о единстве языково-мыслительной функции. Без языка нет абстрактного мышления — это вытекает из исследований афазии. Разве не справедлива гипотеза, что там, где нет места нарушениям физиологических функций мозга, только отсутствие языка вызывает отсутствие абстрактного мышления? Проверить эту гипотезу, столь важную для подтверждения положения о единстве языково-мыслительной функции, можно или на материале психологии развития ребенка, или на анализе известных нам случаев физических недостатков, которые делали невозможным усвоение ребенком звукового языка. Но это уже не область психопатологии, так как функции мозга здесь не нарушены, а исследуемые явления похожи лишь постольку, поскольку и в том, и в другом (хотя по разным

семье, наконец, обо всем на свете. *Если языкознанию суждено получить когда-нибудь более широкий отзвук, то его решительно необходимо поставить на основы более реалистические, чем теперь.* Самый примитивный крестьянин знает, что он может говорить обо всех вещах, которые он замечает или которых он касается. Отчего же эта правда должна быть скрыта от исследователя языка?»<sup>7</sup>

Нетрудно заметить, что в процессе этого анализа, а в особенности благодаря соответствующему подбору анализируемых текстов мы получили положительный ответ на вопрос, что следует понимать под «знаковой ситуацией». Критика «знакового фетишизма», так отчетливо выступающего в схеме Огдена и Ричардса, имплицитно содержалась как у Джонсона, так и у Гардинера. Критика идеализма в интерпретации знаковой ситуации эксплицитно выступает у Гардинера, который одновременно признает роль мысленного фактора в процессе коммуникации, хотя в отношении слова он объединяет знак и мысль в одно нераздельное целое. В итоге, присоединяясь к точке зрения Гардинера, можно утверждать, что знаковая ситуация имеет место тогда, когда по крайней мере два человека объясняются при помощи знаков, чтобы передать друг другу свои мысли, выражения чувств, воли и т. п., связанные с каким-нибудь предметом (*univers du discours*), которого касается общение. Иначе говоря, там, где выступает знак и знаковая ситуация, знак должен относиться непосредственно или опосредствованно к какому-нибудь предмету и должны функционировать по крайней мере два участника процесса общения с помощью этого знака: тот, кто использует знак с целью передачи своей мысли, и тот, кто воспринимает и интерпретирует этот знак (то есть понимает его). В этом свете знаковая ситуация столь же обычна и повседневна, как и процесс общения с помощью знаков, то есть единственный известный нам в практике процесс общения людей.

В знаковой ситуации заключается также проблема значения, ибо значение, как известно, неразрывно связано со знаком. Знак без значения — это внутренне противоречивое понятие, потому что только то, что мы называем значением, создает из материальных предметов и явлений знаки; значение же без знака — такое же произведение идеалистической спекуляции, как движение без движущейся материи.

В-третьих, из приведенного отрывка ясно вытекает роль словесного знака как средства получения абстракции и достижения абстрактного, понятийного познания.

Этот вопрос, столь важный для диалектики познавательного процесса, особенно ярко освещают материалы исследований так называемой культурной антропологии. Прежде всего речь идет об изучении языковых систем первобытных народов и связей этих систем с образами мышления.

Стоящая перед нами проблема (и по моему мнению, весьма важная) может быть представлена следующим образом: есть ли данные, свидетельствующие о том, что их жизненная практика влияет на образ их мышления (то есть на систему их языка-мышления) и, наоборот, что исторически созданный язык-мышление влияет на всю жизненную практику человека, в том числе и на познавательные процессы. Не подлежит сомнению, что этот вопрос имеет огромное значение для философии вообще и для теории познания в особенности. Несомненно также, что интересующийся вопросами языка философ будет приветствовать любые фактические исследования, которые могут пролить дополнительный свет на эту проблему. А особенно философ-марксист, если учесть его расположенность к историческому и социологическому анализу проблематики теории познания. Поэтому даже если этнологический материал, которым располагает в настоящий момент наука, еще слишком мал для того, чтобы на его основе делать какие-либо окончательные выводы (предвосхищая дальнейшие рассуждения, мы можем утверждать, что дело обстоит именно так), нельзя а priori ни отвергать гипотез, основанных на этом материале, ни относиться к ним пренебрежительно.

В свое время Леви-Брюль на основе изучения психики первобытных народов (в состав этих исследований входили и лингвистические факты) выдвинул гипотезу о существовании дологического мышления, а тем самым алогического. Эта гипотеза, основанная прежде всего на верованиях первобытных народов (проблема так называемой партиципации), которые будто бы нарушают принцип логической непротиворечивости, была не только слабо обоснована, но и в высшей степени произвольна. Поэтому в настоящее время она почти полностью отвергнута. Марксистская критика, совершенно справедливо ударившая по

слабым местам теории дологического мышления, выдвинула в числе прочих и то обвинение, что эта теория служит колонизаторам как идеологическое оправдание подчинения народов, находящихся будто бы на столь низком уровне развития, что они не могут еще мыслить логически. И этот упрек абсолютно обоснован. Одно дело утверждать научно проверенные факты, другое — так или иначе их интерпретировать. Но опасение (и совершенно справедливое!) фальшивой интерпретации приводило иногда к несправедливому отрицанию фактов, к отказу от всей связанной с ними научной проблематики. А в том, что говорил Леви-Брюль, было много интересного, что могло бы стимулировать дальнейшие исследования. Это прежде всего то, что было известно и раньше, но что в работах Леви-Брюля особенно сильно подчеркивалось: различная степень абстракции, присущая мышлению первобытных и мышлению так называемых цивилизованных народов, что находит выражение в соответствующих языковых системах. Этим вопросом нельзя пренебрегать, так как, во-первых, необходимо вначале его изучить, во-вторых, он обладает большим теоретическим, в том числе и философским значением.

Проблематика связи языка и мышления, а точнее, связи языка-мышления с познавательными процессами находит отражение в иной, более широкой форме в так называемой гипотезе Сепира — Уорфа.

Если концепция Леви-Брюля когда-то широко обсуждалась в марксистской литературе, то о гипотезе Сепира — Уорфа авторы-марксисты пишут лишь в исключительных случаях<sup>19</sup>. В то же время на Западе эта теория имеет уже довольно обширную литературу. Правда, еще ощущается недостаток фактографической базы, чтобы окончательно определить ценность этой теории<sup>20</sup>, но, несомненно, нельзя обходить ее молчанием.

Леви-Брюль обосновал свою гипотезу о дологическом характере мышления первобытных народов не только на анализе таких явлений, как так называемая партиципация. Отмеченная им конкретность мышления, отсутствие общих названий, особая система счета и т. д. — все это должно было быть доказательством отличия первобытного мышления и, кроме того, его более низкого уровня. Это положение было опровергнуто этнологическими (и лингвистическими) исследованиями. Гипотеза Сепира — Уорфа

не имеет ничего общего с этим положением. В качестве доказательства можно привести совершенно противоположное и полемизирующее с Леви-Брюлем высказывание Сепира:

«Даже наиболее отсталый в культурном отношении южноафриканский бушмен говорит при помощи богатой формами символической системы, которую по сути дела вполне можно сравнить с речью образованного француза. Само собой разумеется, что более абстрактные понятия далеко не полно представлены в языке дикарей и что в нем нет богатой терминологии и тонкого различения оттенков, отражающих высшую культурную ступень. Но ведь тот вид языкового развития, параллельного историческому развитию культуры, который на его позднейших стадиях мы связываем с понятием литературы, — в лучшем случае явление поверхностное. Подлинный фундамент языка — развитие законченной фонетической системы, специфическое ассоциирование речевых элементов с понятиями и сложный аппарат формального выражения всякого рода отношений — все это мы находим во вполне выработанном и систематизированном виде во всех известных нам языках. Многие первобытные языки обладают богатством форм и изобилием выразительных средств, намного превосходящими формальные и выразительные возможности языков современной цивилизации»<sup>21</sup>.

Мысль о том, что языки примитивных народов не только не уступают языкам цивилизованных народов, но даже превосходят их в некоторых отношениях, встречается также у Уорфа. Следовательно, это совершенно иная концепция, чем у Леви-Брюля. Обе концепции объединяет лишь общий метод исследования мыслительных процессов посредством языковых явлений.

Основную идею гипотезы Сепира — Уорфа можно найти уже у Франца Боаса. Он писал в 1911 г. во введении к «*Handbook of American Indian Languages*» следующее:

«Мне кажется, однако, что теоретическое изучение языков индейцев не менее важно, чем практическое владение ими; чисто лингвистическое исследование является неотъемлемой частью глубокого изучения психологии народов мира» (стр. 63).

«Для изучения формирования основных этнических понятий язык является, по-видимому, одной из наиболее поучительных областей. Огромное преимущество, кото-



рое дает нам в этой области языковедение, заключается в том, что оформление категории остается всегда неосознанным; поэтому процессы, приведшие к формированию, можно проследить, минуя второстепенные объяснения, которые приводят к путанице и затрудняют исследования, а в этнологии встречаются столь часто, что обычно совершенно затемняют действительную историю развития идеи» (стр. 70—71)<sup>22</sup>.

Эту идею развил Э. Сепир в 1929 г. в работе «The States of Linguistics as a Science».

«Язык — путеводитель по социальной действительности. Хотя социологи обычно не признают его основной областью своих интересов, но именно он в значительной степени обуславливает наши размышления над социальными проблемами и процессами. Человеческие существа не живут ни исключительно в объективном мире, ни в мире общественной деятельности в обычном понимании этого выражения, они в значительной мере отданы на милость того языка, который служит средством общения в их обществе. Ошибочно убеждение, что люди приспосабливаются к действительности без помощи языка, который будто бы является лишь случайным и побочным средством решения отдельных проблем общения и мышления. Можно даже сказать, что «реальный мир» в значительной степени строится неосознанно на основе языковых навыков группы. Не существует двух таких языков, которые были бы настолько схожи между собой, чтобы можно было считать, что они выражают ту же самую общественную действительность. Миры, в которых живут разные общества, — это отдельные миры, а не просто тот же самый мир, на который наклеили разные этикетки... Мы видим, слышим и ощущаем именно так, а не иначе в значительной степени потому, что языковые навыки нашего общества заранее определяют выбор и интерпретации»<sup>23</sup>.

0 6

В очерке «Conceptual Categories of Primitive Languages» Сепир добавляет:

«Связь между языком и опытом очень часто понимается неправильно. Язык не является более или менее систематическим каталогом разновидностей опыта, которые кажутся существенными отдельной личности, как это иногда наивно предполагают, а самостоятельной, творческой символической организацией, которая не только относится

к опыту, приобретенному в значительной мере без ее помощи, но и, по существу, определяет наш опыт благодаря своей формальной законченности, а также благодаря тому, что мы бессознательно проецируем скрытые в ней надежды на область опыта»<sup>24</sup>.

Основную мысль Сепира можно сформулировать следующим образом: язык является активным фактором формирования нашей картины мира, различающейся вследствие этого в зависимости от системы языка, которым мы пользуемся.

Именно эту мысль воспринял Бенджамен Ли Уорф, взяв ее в качестве основы своих исследований над языками индейских племен, а в особенности над языком хопи. Уорф ставит следующий вопрос: как различия в системах языков влияют на различия нашей картины мира. Наряду с этим возникает другая, также важная проблема: что влияет на различие языковых систем, а в особенности как влияет на эти различия социальная среда, в которой живут люди, пользующиеся разными языками?

Первую проблему Уорф рассматривает на конкретном материале языка хопи (гипотезу Сепира — Уорфа обосновывает, кроме того, изучение других языков индейских племен — например, исследование Хайером языков навахо). Как Уорф, так и другие исследователи индейских языков как будто подтверждают положение Сепира об активной роли языка в формировании нашей картины мира, что, впрочем, при умеренной интерпретации не должно вызывать сомнений философского толка. Формулируя это положение, Сепир наметил одновременно программу исследований, которые должны были ее подтвердить. В частности, нужно было сравнить индоевропейские языки с системами индейских и африканских языков. Эту программу выполнил именно Уорф: он пришел к выводу, что различия внутри системы индоевропейских языков столь незначительны по сравнению с различиями между каждым из них и языком хопи, что их можно рассматривать как однородную группу, которую он назвал SAE (Standard Average European). Сравнивая затем языки SAE и хопи, Уорф выдвигает следующую проблему: каково отношение системы языка к восприятию, с одной стороны, организации опыта к образцам поведения — с другой?

«Ту часть всех исследований, которую мы здесь излагаем, можно передать в двух вопросах: 1) Всем ли людям

даны в опыте наши понятия «времени», «пространства» и «материи», в сущности, в тех же самых формах или же они частично обусловлены структурой отдельных языков? 2) Существует ли вскрываемое родство между: а) культурными нормами и нормами поведения и б) наиболее широко понимаемыми языковыми структурами?»<sup>25</sup>

В результате исследований Уорф приходит к выводу, что система языка влияет на образ нашего восприятия, на наш опыт и поведение. Система языка хопи вызывает восприятие действительности как *событий*, а не как статически понимаемых вещей, обуславливает специфическое понимание времени (Уорф в связи с этим проводит некоторую аналогию с теорией относительности Эйнштейна) — в языке хопи вообще нет общей категории «время».

«Язык хопи способен выражать и правильно описывать в прагматическом и операционалистском отношении все наблюдаемые явления вселенной. Поэтому совершенно необоснованным было бы предположение, что мышление хопи содержит какие-нибудь такие понятия, как якобы интуитивно воспринимаемый бег «времени», или что интуиция хопи сообщает ему это понятие как одно из своих данных. Точно так же, как возможно произвольное число различных геометрий, отличных от Евклидовой геометрии, которые могут столь же совершенно описывать пространственные отношения, возможны и описания вселенной, все равным образом точные, не содержащие известных представлений времени и пространства. Точка зрения современной физики — теория относительности — это один из таких взглядов, выраженный в математических категориях, мировоззрение хопи — совершенно иное, отличное, нематематическое и языковое»<sup>26</sup>.

В связи со своей гипотезой Уорф формулирует ряд отдельных принципов, среди которых на первый план выдвигаются два:

Первый из них — принцип лингвистической относительности, в соответствии с которым люди воспринимают действительность так или иначе в зависимости от категорий мышления, навязываемых им языком. Уорф пишет на эту тему следующее:

«Это обстоятельство имеет исключительно важное значение для современной науки, поскольку из него следует, что никто не волен описывать природу совершенно независимо, но все мы связаны с определенными способами

интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее свободными. Человеком, более свободным в этом отношении, чем другие, оказался бы лингвист, знакомый с множеством самых разнообразных систем. Однако до сих пор таких лингвистов не было. Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем»<sup>27</sup>.

Второй принцип — принцип объективной необходимости языковой системы, который заключается в том, что образ мышления и восприятия действительности, навязываемый системой языка, не зависит от сознания индивида.

«В сущности, мышление есть нечто необыкновенно таинственное, и исследования языка могут осветить его лучше, чем другие исследования, которые можно произвести над процессом мышления. Эти исследования показывают, что мышление личности подчиняется нерушимым законам структур, которые остаются не осознанными ею. Эти структуры являются недоступной восприятию с ложной систематизацией ее (личности) собственного языка — это видно достаточно отчетливо, если непредвзято сравнить различия между языками, особенно относящимися к разным языковым семьям. Человек думает на каком-то языке — английском, санскрите, китайском. А каждый язык — это широкая система структур, отличная от других, в которой были культурно установлены и упорядочены формы и категории, с помощью которых люди не только общаются, но и анализируют природу, замечают и упускают из виду различные типы связей и явлений, управляют пониманием и воздвигают здание индивидуального сознания»<sup>28</sup>.

Но все это только одна сторона вопроса. Если ограничиться только ею, возникла бы опасность субъективистских и конвенционалистских интерпретаций. Но гипотеза Уорфа предлагает и другие выводы, касающиеся влияния среды на формирование языка. Таким образом, мы получаем своеобразную диалектику взаимоотношений среды и языка, которая успешно противостоит релятивизму и конвенционализму.

Вот как объясняет Уорф различия, существующие между языком хопи и SAE:

«Если бы мы могли прочитать историю хопи, то нашли бы в ней два взаимовлияющих фактора: особый тип языка и особую совокупность культурных и общественных влияний.

Мирное сельскохозяйственное общество, находящееся в изоляции в результате географических условий и вследствие существования враждебных кочевых племен; жизнь в стране, где количество осадков недостаточно, где земля дает урожай лишь в результате большого упорного труда (отсюда значение упорства и непрестанных усилий); необходимость коллективного труда (отсюда упор на психологию коллективного труда и вообще на психические факторы); урожай и осадки как основные критерии ценности; необходимость старательных *приготовлений* и далеко идущих предосторожностей, чтобы в условиях капризного климата земля дала урожай; полное и отчетливое сознание зависимости от природы, порождающее молитву и религиозное отношение к силам природы, особенно же религию и молитву с просьбой о благословенном дожде — все это воздействовало на языковые структуры хопи, формируя их и одновременно подвергаясь их влияниям, и наконец сформировало мировоззрение этого племени»<sup>29</sup>.

Это материалистическое объяснение духовных особенностей, отразившихся в языке хопи, конкретизируются в различных проявлениях влияния среды на язык, а в особенности на словарный запас языка. Свообразными условиями быта и вытекающими отсюда потребностями Уорф объясняет, например, многообразие названий для различного рода снега у эскимосов, в то время как мы называем его лишь одним словом, а ацтеки тем же словом, что лед и холод. Впрочем, здесь он следует за Сепиром, который таким образом объясняет богатство и конкретный характер слов, служащих для обозначения различных морских обитателей в языке нутка, растений и топографии в языках жителей пустынь и т. д. Подобным же образом объясняется отсутствие слов для обозначения некоторых красок у индейцев навахо, а с другой стороны, существование у них разных слов для различных оттенков черного цвета, которые у нас не имеют особых названий. Уорф, как и другие современные исследователи, объясняет конкретность языка примитивных народов не их низким уровнем развития, а отличными условиями быта. Из всего этого ясно следует, что Уорф, подчеркивая влия-

ние языка на наше восприятие мира, не выдвигает положения об односторонней обусловленности познания языком, но видит одновременно и вторую сторону вопроса — формирование языка действительностью, материальными условиями общественного бытия.

Эти замечания о гипотезе Сепира — Уорфа — попытка изложить основные ее идеи. Мне казалось целесообразным сделать это, учитывая философскую важность этих идей и их малую известность.

Интересно также совпадение основных мыслей Уорфа с результатами исследований, проведенных совершенно независимо от него другими учеными. Я хотел бы в особенности обратить внимание на исследования Малиновского, относящиеся к тробриандцам, а особенно на его прекрасную работу «The Problem of Meaning in Primitive Languages».

В свете предыдущих рассуждений об отношении языка к действительности стоит вернуться к рассмотренной уже конвенционалистской концепции языка как произвольной системы правил, к концепции языка-игры.

Психологические, психопатологические и, наконец, этнологические исследования заставляют нас отбросить эту концепцию как противоречащую фактам, которые показывают, что язык связан с действительностью своеобразно понимаемым отношением отражения, хотя одновременно он играет активную роль в формировании нашего познания, нашей картины мира. Действительность формирует язык, который в свою очередь формирует нашу картину действительности. Откуда же возникают тогда крайние концепции конвенционализма, отрывающие язык от действительности, а следовательно, превращающие его в единственный предмет философского анализа?

Здесь можно назвать две основные причины этого:

1) Справедливое желание подчеркнуть активную роль языка в познавательном процессе и в формировании нашей картины мира. Это составляет рациональное ядро тех конвенционалистских теорий, которые — как, например, радикальный конвенционализм Айдукевича — подчеркивают роль изменчивого понятийного аппарата для получения изменчивой картины мира.

2) Неправильный переход от этого положения к утверждению о произвольном характере выбора того или иного понятийного аппарата, а тем самым картины мира. Здесь

дает о себе знать смешение естественного языка формализованными «языками» (о чем уже говорилось выше), а также желание убежать от многозначности разговорного языка к искусственно построенному «идеальному» языку (к этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем).

Что касается требования анализа языка и превращения его в единственный предмет философского анализа, то на основе предшествующих рассуждений можно сделать следующие выводы.

Анализ языка не является вопреки распространенным взглядам конвенционалистов ни автономной, ни исчерпывающей задачей.

Он не является автономной задачей, так как концепция языка-игры, языка — произвольного образования противоречит фактам, которые говорят о сложных связях языка с действительностью, о формировании языка-мышления в процессе отражения действительности в сознании людей. При помощи анализа языка как цельного общественного явления мы хотим в конечном счете что-то узнать о действительности. Ибо, отбрасывая мысль о структуре языка как *аналогоне* структуры действительности, мы поддерживаем положение о своеобразном отражении действительности языком-мышлением. От анализа языка путь идет, во-первых, к пониманию познавательного процесса, во-вторых, к познанию некоторых аспектов объективной действительности, в том числе и социальной действительности.

Анализ языка не является достаточным для познания действительности. Язык — не единственный предмет анализа вообще, а философского в особенности. Конечно, он составляет важный объект исследования не только из-за опасности парадоксов и антиномий, но прежде всего потому, что посредством анализа языка мы можем прийти к другим познавательным результатам. Он является особенно важным предметом исследования для философии, которая обобщает результаты отдельных наук, а изучение специфического аспекта познавательного процесса вообще может считаться самостоятельной, независимой областью ее исследований. Поэтому лингвистические проблемы выдвигаются на одно из первых мест не потому, что, как это понимали неопозитивисты, *единственная* задача философии заключается в объяснении смысла выражений, но потому, что объяснение смысла выражений входит

*также* в задачи философии в качестве одной из важнейших.

Иначе говоря, в результатах исследований отдельных наук, о которых говорилось выше, я вижу подтверждение многократно упоминавшегося положения о необходимости отчетливого различия двух аспектов так называемого метода семантического анализа. Один из них связан с умеренной интерпретацией требования этого анализа и в той форме, которую придает ему, например, Котарбинский, полностью приемлем и для нас: он заключается в самой собой разумеющемся требовании точного понимания того, что говорится и о чем говорится, то есть в требовании точного и отчетливого способа выражения. Другой же аспект связан с противоположной интерпретацией этого требования и имплицитно включает все субъективистское содержание семантической философии. В этом случае говорится о семантическом анализе, но вопрос понимается таким образом, что исследование и выяснение смысла выражений является *единственной* задачей философии, так как язык — единственный предмет этого анализа, а все остальное — это псевдопроблемы, являющиеся следствием ошибочного использования языка (как говорил Карнап: использование его материальным, а не формальным образом).

Такое понимание метода семантического анализа коренным образом отличается от предыдущего и принципиально (так как оно влечет за собой субъективистское решение основных вопросов философии) неприемлемо для сторонника материалистической философии. Более того, совершенно очевидно, что такое понимание неприемлемо для каждого, кто отдает предпочтение трезвой и научной оценке фактов перед философскими спекуляциями с позиций метафизики, хотя и под маской антиметафизических высказываний.

### 3. ЯЗЫК И ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ

Выделив в языке коммуникативную функцию, заключающуюся в передаче мысленных содержаний, и функцию формулирования мыслей, состоящую в том, что мы всегда думаем на каком-нибудь языке (некоторые считают, что это, собственно, одна и та же функция, так как беззвучное мышление они понимают как беседу с самим собой), мы



обратим наше внимание на особый аспект функции коммуникации. Нас будет интересовать *эффективное* общение, то есть такое, которое осуществляет фактическое *общение* по крайней мере двух человек, один из которых использует какой-либо язык, чтобы передать другому свои мысли или чувства, а второй, замечая данные знаки данного языка, *понимает* их так, как думает его собеседник, и соглашается с ним. Знание причин успеха или неуспеха в процессе общения людей, то есть знание того, что помогает, а что мешает этому процессу, имеет огромное значение с общественной точки зрения.

*Понимание* знаков, понимание языка составляет основу общения. Чтобы понять знак, мы должны его заметить и одновременно пережить психический акт: или такой, как в случае звуковой речи, когда словесный знак «прозрачен для значения», или такой, как в случае всех других знаков, которые так или иначе переводятся на звуковой язык.

В этом последнем случае мы имеем дело со сложным психическим процессом, в который входят ассоциация, заключение и т. д. Но эти вопросы интересуют главным образом психолога и составляют область психологических исследований. Поэтому мы опускаем их здесь вместе со всеми сопутствующими им проблемами (понимание как акт, понимание как диспозиция и т. п.). Мы извлечем только один аспект этой проблематики, который будет для нас переходом к нужной теме: различие между пониманием знака и пониманием интенций того, кто дает нам знак.

Возьмем конкретный пример (я заимствую его у Мартиняка). Сын железнодорожника, наблюдая не раз, как делает отец, выбегает с красным флажком на полотно и, размахивая им, останавливает приближающийся поезд. Машинист понял знак, но не понял намерений того, кто давал знак. Ребенок размахивал флажком не потому, что хотел задержать поезд, он не отдавал себе отчета в последствиях своего поступка.

Это банальный пример. Он говорит лишь о том, что знаки условны, закреплены традицией, с общественной точки зрения обладают объективным значением, которое не обязательно совпадает с субъективными намерениями людей, использующих эти знаки без знания определенной конвенции. Примером может послужить любой факт выпол-

нения определенных действий, которым кто-то придал какое-то условное значение, которое нам неизвестно.

Различие между пониманием знака и пониманием замысла того, кто дает, использует или производит данный знак, можно перенести в далеко не банальную область, если сделать его предметом анализа различия между пониманием каких-то многозначных или непонятных слов и пониманием намерений того, кто произносит эти слова. Здесь возможны многочисленные недоразумения, от самых простых, когда мы не знаем, какой язык, польский или русский, использует произносящий слова «Brak jest psuch», ибо в каждом из этих языков эти идентично звучащие высказывания совершенно различны по смыслу (пример взят из Котарбинского), до таких, когда в данном языке выступают многозначные слова и омонимы, что может вызвать ошибочное понимание намерений собеседника. Второй источник недоразумений составляют нестрогие выражения, которые из-за отсутствия строгого определения допускают самые разнообразные интерпретации.

Более сложная проблема заключается в различии между пониманием смысла высказываний и принятием связанных с этими выражениями убеждений. Иначе говоря, речь идет о различии между общением в смысле передачи *значений* выражений и общением в смысле передачи *убеждений*. Если в отличие от недоразумений мы назовем *общением* любой процесс создания знаков одним собеседником и восприятия этих знаков другим при *одинаковом понимании* этих знаков обеими, то *эффективным общением* мы назовем этот процесс тогда, когда одинаковое понимание знаков сопровождается *одинаковыми убеждениями*. Когда двое путников, заблудившихся в лесу, задумываются, в какую сторону идти, чтобы выйти к нужному месту, и когда наконец один из них говорит: «Сейчас нужно свернуть направо, так как по карте только так можно попасть в N», — то слова «вот теперь они поняли друг друга» можно понимать или так, что оба собеседника одинаково понимают смысл высказывания, что надо идти направо (этого могло бы не быть, если бы один плохо знал язык другого), или так, что они согласны в выборе дальнейшей дороги. Эта вторая возможность и будет по предлагаемой терминологии *эффективным общением*. Чтобы достигнуть *эффективного общения*, следует прежде всего прийти к соглашению о понимании смысла высказываний.

Среди препятствий, затрудняющих общение людей, то есть вызывающих различное понимание собеседниками некоторых выражений, в качестве главных (предполагая, что собеседники хорошо знают язык, на котором они говорят) следует упомянуть *многозначность* и *строгость* выражений и *языковые гипостазы*. Метод уточнения смысла выражений, называемый иногда семантическим анализом, стремится устранить эти недостатки человеческой речи. Если требование метода семантического анализа не выходит за эти границы, то есть если оно ограничивается уточнением смысла выражений, оно не только не вызывает никаких возражений, а наоборот, — повторяем это еще раз — находит поддержку любого философского направления, претендующего на научность. Рассмотрим подробнее, к чему приводит это требование (я хочу только поставить проблему, так как более глубокий анализ проблемы нестрогих выражений и языковых гипостаз потребовал бы отдельного исследования).

Следует четко различать многозначность выражений от их нестрогости, хотя оба эти вопроса близки друг к другу. Это различие практически важно с точки зрения применения метода семантического анализа: многозначность можно устранить с помощью этого метода, но нестрогость выражений носит объективный характер, и полностью ее ликвидировать нельзя.

Многозначность выражений выступает в основном в двух формах. Самый обычный случай — так называемые омонимы: одна и та же звуковая оболочка скрывает совершенно различные значения (правда, история языка может вскрыть иногда связи и переходы этих значений). Более сложным явлением с точки зрения требований семантического анализа является собственно многозначность (полисемия), которая основана на том, что слово в зависимости от контекста имеет различные, хотя и близкие значения. С омонимией мы сталкиваемся, например, в слове «замек», которое может обозначать или механизм для запираания двери, или строение, а с полисемией — тогда, когда имеется чувство связи значений, например в слове «ruszac», которое означает «касаться» и «пускаться в путь». Совершенно очевидно, что между омонимией и полисемией не существует отчетливой границы. Устранить опасность недоразумений в обеих формах многозначности слов можно путем помещения их в какой-то контекст

или путем определения *expressis verbis*, в каком из возможных значений мы их употребляем.

Иначе обстоит дело с нестрогостью слов. Эта необыкновенно интересная с философской точки зрения проблема, привлекавшая многих исследователей, легла в основу многочисленных плодотворных концепций, и ей посвящена в настоящее время серьезная литература<sup>30</sup>. Макс Блэк различает общие и нестрогие слова и так характеризует это различие:

«Замкнутая территория поля применимости слова является признаком его общего характера, а замкнутая территория и отсутствие отчетливой границы означают нестрогость слова»<sup>31</sup>.

Собственно говоря, Блэк повторяет здесь определение Марти, который писал:

«Говоря о нестрогости данного слова, мы имеем в виду явление, состоящее в том, что *границы применения этого слова не определены точно*»<sup>32</sup>.

Марти говорит о названиях, Блэк справедливо распространяет данное положение на слова вообще. Дело в том, что нестрогое слово — это такое общее слово, которое не имеет точно определенных границ применимости: у таких слов всегда есть какая-то «пограничная» зона, о которой нельзя, наверное, сказать, может ли в нее быть включенным данное слово или нет. Марти приводит в качестве примеров слова типа: «около 100», «сладковатый», «зеленоватый», «большой», «маленький», «быстро», «медленно» и т. п.

Нестрогость характерна для всех слов, если опустить установленные путем конвенции научные термины. Эта черта является отражением относительности любой классификации, выступающей в форме общих названий или вообще общих слов. Вещи и явления объективной действительности намного богаче и многосторонней, чем это может отразить какая-либо классификация и выражающие ее слова. В объективной действительности существуют переходы между выделенными в словах классами вещей или явлений, и именно эти переходы, «пограничные» явления составляют основу того феномена, который называется нестрогостью слов. Так следует понимать утверждение, что нестрогость слов есть *объективное* явление. Блэк пользуется другой аргументацией: «Нестрогость есть объективная черта серии, к которой оказывается при-

менным нестрогий символ»<sup>33</sup>. Поэтому единственным способом устранения нестрогости слов является конвенция, точно определяющая границы поля, к которому относится данное слово (хотя в действительности таких точно определенных границ не существует). Наука часто прибегает к уточнению терминов путем произвольной конвенции. Например, мы устанавливаем в каких бы то ни было целях, что словом «ручей» мы будем называть воду, текущую в русле не шире 1 метра, а словом «поток» — воду в русле шириной до 2 метров и т. д. Может ли это пригодиться на практике? Конечно, важность таких произвольных, по сути дела установок не подлежит сомнению. Но, как мы уже сказали, действительность не укладывается в рамки столь «строгих» разграничений. И именно поэтому можно сказать, что полное устранение нестрогих слов сильно обеднило бы наш язык. Это не означает, что мы выступаем против строгости высказываний, против стремления устранить многозначность слов и связанных с ней недоразумений, просто мы указываем на объективные границы такой процедуры. На этом фоне становится особенно понятным крушение концепции «идеального» языка.

Философские стремления к «идеальному» языку возникают из вечных жалоб на несовершенство языка — источник стольких ошибок в нашем познании. Отсюда берут начало крайние тенденции, от Платона до Бергсона, которые ошибочному лингвистическому познанию противопоставляют «настоящее» нелингвистическое познание. Другие мыслители, как Декарт в «Размышлениях», Бэкон в «Новом органоне» или Беркли в «Трактате», с грустью указывают на язык как на источник ошибок и заблуждений, учат нас осторожности в пользовании этим орудием познания. Другие, принимая положение об аналогии между структурой языка и структурой действительности, видят опасность «плохого» языка в том, что вербализм проецируется на действительность и вызывает ошибочную интерпретацию ее, что особенности слов мы ошибочно рассматриваем как особенности вещей (например, Рассел в «Vagueness»), а полезность «хорошего» языка они усматривают главным образом в том, что через познание такого языка мы приходим к познанию действительности. Следствием подобных воззрений является утверждение, что создание «идеального» языка будет выходом

из всех философских затруднений. Становится ясным, почему среди сторонников этих взглядов преобладали логики, а особенно специалисты по математической логике. Люди, привыкшие оперировать математическими и логическими знаками, привыкшие строить формализованные системы и «языки», легко поддавались искушению создать идеальный, совершенный язык, который позволил бы устранить все несовершенства речи, являющиеся источниками ошибок в познании. Самыми выдающимися представителями этой тенденции были Рассел и Витгенштейн. Именно они разработали теорию, утверждающую, что путем изучения грамматики, а особенно синтаксиса языка, можно исследовать действительность; таким образом, они создали теоретические основы столь модной в последующий период неопозитивистской теории о логическом анализе синтаксиса языка как *единственной* задачи философии. Рассел и Витгенштейн развили также положение о том, что путем построения идеального языка с совершенным логическим синтаксисом можно достигнуть полного устранения бессмыслиц. И это воззрение было воспринято и широко распространено неопозитивизмом<sup>34</sup>.

Концепция идеального языка потерпела крах прежде всего вследствие своей неразрывной связи с положением, что структура языка является отражением структуры действительности. Совершенный язык должен был бы обладать совершенной структурой, которая бы безошибочно отражала структуру действительности. Но в этом и заключается ошибочность всей концепции, ибо ход рассуждений представляет собой замкнутый круг. Согласно этой концепции, мы познаем структуру действительности через структуру языка; но, чтобы построить идеальный язык, необходимо вначале знать, какова структура этой действительности<sup>35</sup>.

Однако в данном контексте это не самый важный вопрос. Нас здесь должна заинтересовать другая сторона проблемы: бесполезность построения идеального языка (даже при отказе от положения об аналогии структуры языка и действительности) с точки зрения коммуникативной функции языка. Положение, что общение требует нестрогости слов, может выглядеть парадоксальным. Однако это факт: если путем соглашения мы бы полностью исключили нестрогость слов, то — как уже говорилось выше — мы обеднили бы наш язык и настолько ограни-

чили бы его коммуникативную и экспрессивную функции, что достигнутая цель была бы прямо противоположна нашим намерениям: процесс общения людей осуществлялся бы с трудом, ибо было бы повреждено орудие общения.

В связи с этими замечаниями, которые, повторяю, могут звучать как парадокс, я хотел бы привести высказывания Макса Блэка, которыми он заканчивает свои рассуждения о «Трактате» Витгенштейна.

«Не подлежит сомнению, что язык — это нечто более сложное, чем это могло бы следовать из рассуждений авторов, упомянутых в этом очерке. Ошибочность их решений заключается не в применяемом ими методе, а вытекает из того, что свои частичные и приблизительные выводы они выдают за результат основательного и полного анализа»<sup>36</sup>.

Отказ от идеального языка и абсолютной точности высказываний не означает, однако, отказа от борьбы за максимальную точность. Мы не можем абсолютно устранить нестрогость слов, так как это их объективное качество. Но мы можем ограничить эту нестрогость или даже в определенных целях полностью ее исключить путем применения соответствующих конвенций. Мы можем — и это самое важное — исключить многозначность слов посредством их интерпретации в контексте, путем уточнений в определениях и т. п. Мы можем также уменьшать или вообще исключать опасность недоразумений, вытекающих из языкового гипостаза.

Мы имеем дело со старой и относительно простой проблемой, а ведь она занимает умы философов в течение долгого времени. Это происходит, вероятно, потому, что проблема связана с великими мировоззренческими спорами, а ее решение зависит от позиции, занятой в этих спорах.

Дж. С. Милль когда-то прекрасно сказал:

«Люди всегда были склонны предполагать, что если что-нибудь получило название, то оно должно быть существом или бытием с собственным, независимым существованием; если нет ни одного действительного существа или бытия, которое соответствовало бы названию, то люди все же не предполагают, что они не существуют, а воображают, что это нечто особенно непонятное и таинственное, что-то слишком возвышенное, чтобы быть воспринятым чувствами»<sup>37</sup>.

Речь идет здесь о старом споре, который традиционно называется спором об универсалиях. Но это не устаревшая средневековая проблема. Тем более она не является вопреки некоторым утверждениям чисто языковой, лингвистической проблемой. Речь идет о важном онтологическом вопросе, связанном и сегодня с основным философским спором между материализмом и идеализмом и с различными дискуссиями о проблематике частных наук. Платонизм Кантора или Рассела, реизм, созданный в конце жизни Францем Brentano («Von den Gegenständen des Denkens», 1915; «Über das Sein im uneigentlichen Sinn», 1917) и независимо от него развиваемый Котарбинским, являются наглядной иллюстрацией этого положения. Даже ученые, далекие от материализма, как, например, автор самых замечательных опубликованных после войны работ на тему «существования» и языковых гипостаз Уиллард Куайн, отдают себе отчет в том, что эта проблема не является чисто языковой.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что онтологический спор сводится к языковому спору. Но мы не имеем права делать поспешный вывод о том, что его содержание зависит от слов.

То, что вопрос можно передать семантическими терминами, не означает, что это языковый вопрос. «Видеть Неаполь» означает, что если этим словам «видеть Неаполь» предпослать название подлежащего (субъекта), то получится действительное предложение; несмотря на это, «видение Неаполя» не является языковой проблемой»<sup>38</sup>.

Спор об интерпретации слов «есть» и «существует» только на первый взгляд кажется лингвистическим спором, спором о словах. Используя самую осторожную формулировку, можно еще раз сказать, что справедливо требование семантического анализа о необходимости помнить, что существование слова (речь идет прежде всего о названиях) не имплицитно подразумевает существования соответствующего предмета в непосредственном значении слова «существует» (то есть в таком, в каком мы говорим о существовании дома, стола или других предметов). Речь идет здесь не об исключении общих понятий и выдумывании с этой целью особого языка, а об исключении гипостазиса, то есть опасности ошибочного выведения существования общих предметов из существования соответствующих общих понятий. Стремясь избежать опасности идеалистической мета-



Физики в нашем мышлении, формализованные языки применяют соответствующие пометки (а именно отмечают, действительно ли существует предмет, о котором идет речь). Если же такие пометки не используются, следует помнить об опасности гипостаза при интерпретации высказываний. Это не универсальное, но в общем действенное оружие.

В соответствии со сказанным выше общение (в смысле одинакового понимания собеседниками смысла высказываний) является необходимым, но недостаточным условием эффективного общения. Для достижения эффективного общения необходимо, как мы уже говорили, не только одинаковое понимание высказываний, но и общность связанных с ними убеждений. А это уже не лингвистическая, а скорее психосоциологическая проблема. Но все же нужно понимать, что эта проблема — столь важная с общественной точки зрения — тесно связана с семантикой в широком значении этого слова и является ее составной частью.

И в этой области существуют серьезные и достойные уважения традиции в классической литературе. Крестовый поход Френсиса Бэкона в «Новом органоне» против *идолов*, а особенно против *idola specus, fori* и *theatri* (идолов денег, толпы и театра) — прекрасный пример интереса философа к вопросам социотехники, пример понимания важной роли общественной психологии (*idola specus*), в некоторой степени и социологии знания (*idola theatri*), а также семантического анализа в борьбе с предрассудками, в борьбе за лучшие возможности эффективного общения людей.

Что разумно и достойно поддержки в так называемой общей семантике, так это именно социотехнические идеи, направленные па устранение или, во всяком случае, на уменьшение препятствий эффективного общения людей. Подчеркиваемая сторонниками этого направления необходимость обучения людей конкретному мышлению (снабжение общих названий индексами для выделения каждой отдельной единицы, являющейся десигнатом общего названия, учет времени событий и изменений, связанных с течением времени и изменением условий, подчеркивание путем добавления «etc.», что наше описание никогда не является исчерпывающим), а также принципов активербализма (утверждение, что название — это не обозначает

мая вещь; подчеркивание с помощью кавычек общего и нестроного характера слов; подчеркивание с помощью тире, что слова часто разделяют вещи, которые не следует разделять и т. п.) — все это связано с определенной социотехникой.

Важно, отбрасывая ошибочное и часто фантастическое теоретическое обоснование этих принципов, не утратить их рационального содержания. А самое важное — это понимание *практической значимости* семантических исследований. Философы-марксисты, подчеркивающие всегда связь теории с практикой, панически боятся «абстракционизма». И, как это часто бывает, у страха глаза велики. И поэтому дисциплины и исследования, внешне абстрактные, а в сущности самым тесным образом связанные с практикой, кажутся подозрительными. Именно так обстоит дело с семантикой.

Сейчас мы переживаем период ее реабилитации. Не только в лингвистике, где никогда развитие семантических проблем не встречалось с серьезными трудностями, но и в логике. Оказалось, что исследования логического синтаксиса и метаязыка имеют архипрактическое применение в создании переводческих машин, машин механической памяти и т. д. Стоит напомнить и еще об одной, до сих пор незаслуженно у нас забытой области применения семантики, а именно о *научной теории пропаганды*. Здесь создалась совершенно парадоксальная ситуация: марксистская наука (по ошибочно понятым теоретическим соображениям) пренебрегает одной из областей общественной деятельности, столь тесно связанной с общественной классовой борьбой. Все то, о чем говорилось выше, что связано с наукой о процессе эффективного общения, с влиянием на усовершенствование этого процесса, составляет теоретические основы науки о массовой пропаганде, науки, которая в капиталистических странах располагает сегодня огромной литературой (по крайней мере в отношении некоторых аспектов этой проблемы), в то же время у нас такой науки фактически не существует.

И на этот вопрос мы можем лишь обратить внимание, ибо он требует отдельного изучения, в работе, отличной по характеру от данной книги. Но фактически в задачи этой книги входило обратить внимание на некоторые проблемы исследования, чтобы в будущем они были разработаны более конкретно и в более широком масштабе.

<sup>1</sup> Mario Pei, *The Story of Language*, London, 1957.

<sup>2</sup> G. Révész, *The Origins and Prehistory of Language*, London, 1956.

<sup>3</sup> Я привожу перевод примечания из упомянутой книги Ревша, которое содержит некоторые определения языка, принадлежащие различным авторам (стр. 126--127). *Эббингхауз*: «Язык есть система конвенциональных условных знаков, которая может быть создана произвольно в любое время». *Грос*: «Язык — артикулированный ограниченный звук, организованный в целях выражения». *Дитрих*: «Язык является совокупностью способностей выражения, характерных для индивидуальных человеческих существ и животных, которые могут быть поняты хотя бы одним другим индивидуумом». *Дэйслер*: «Язык есть любое выражение опытов существом, обладающим душой». *В. Эрдманн*: «Язык — не разновидность коммуникации идей, а разновидность мышления, мышления, которое мы констатируем или формулируем. Язык — инструмент, фактически инструмент или орган мышления, которое свойственно лишь нам как человеческим существам». *Фребель*: «Язык — упорядоченный ряд слов, с помощью которых тот, кто говорит, выражает свои мысли с намерением донести их до слушателя». *Д. Гарриес*: «Слова являются символами как общих, так и конкретных идей, общих — существенным, основным и непосредственным образом; отдельных — вторичным, случайным и опосредствованным образом». *Гегель*: «Язык есть акт теоретического интеллекта в его действительном значении, так как это его внешнее выражение». *Есперсен*: «Язык является человеческой деятельностью, цель которой состоит в коммуникации идей и чувств». *Подль*: «Язык слов — это способность человека при помощи комбинации тонов и звуков, опирающихся на ограниченное количество элементов, формировать совокупность человеческих наблюдений и понятий, создавать их в этом естественном звуковом материале таким образом, что этот психологический процесс становится ясным и понятным в мельчайших подробностях для других». *Кайни*: «Язык является структурой знаков, при помощи которых идеи и факты могут быть представлены таким образом, что можно получить представление о вещах, не выступающих актуально и даже совершенно незаметных для ума». *Де Лагуна*: «Речь — великий посредник, при помощи которого происходит человеческое сотрудничество». *Марти*: «Языком является всякое интенсиональное произнесение звуков в качестве знака психологического содержания». *Пиасбери-Мидер*: «Язык есть средство или инструмент коммуникации мыслей вместе с идеями и чувствами». *Де Соссюр*: «Язык является системой знаков, выражающих идеи». *Шухардт*: «Сущность языка заключается в общении». *Сепир*: «Язык является чисто человеческим и инстинктивным методом коммуникации идей, чувств, пожеланий с помощью системы произвольно созданных символов».

К этому перечню точек зрения я хотел бы добавить несколько определений, более важных, по моему мнению, чем многие цитируемые Ревшем.

*Карнап*: «Язык, например английский, есть система действий или скорее обычаев, то есть способностей к определенным действиям,

которые служат главным образом целям общения и координации действий членов группы». *Гарднер*: «В общих чертах речь можно определить как использование людьми артикулированных звуковых знаков в целях коммуникации своих требований и взглядов на вещи». *Моррис*: «Языком в полном семиотическом значении этого термина является любая интересубъективная совокупность (zbiór) знаков-носителей, использование которых определено синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами». *Шобер*: «Звуковым языком мы называем совокупность звуков, употребляемых в целях общения с окружением или воссоздаваемых в уме с целью осознания своих собственных мыслей».

<sup>4</sup> A. G a r d i n e r, *The Theory of Speech and Language*, Oxford, 1951, p. 62.

<sup>5</sup> L. B l o o m f i e l d, *Linguistic Aspects of Science*. В кн.: «*International Encyclopedia of Unified Science*», Vol. 1, Part I, Univ. of Chicago Press, 1955, p. 228—229.

<sup>6</sup> Эту аргументацию против понимания языка как игры я почерпнул из кн.: A n d r e w P a u l U s h e n k o, *The Field Theory of Meaning*, 1958, 14—15.

<sup>7</sup> Ср., например, M. B l a c k, Wittgensteins «*Tractatus*». В кн.: M. B l a c k, *Language and Philosophy*, New York, 1949, p. 152—165, а также J. O. U r m s o n, *Philosophical Analysis*, Oxford, 1956, p. 141—145.

<sup>8</sup> К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. IV, стр. 20—21.

<sup>9</sup> В качестве примера я сошлюсь вновь на работу Д. Ревеша (G. R é v é s z, *The Origins and Prehistory of Language*, p. 97 и далее).

<sup>10</sup> В работе «*An Inquiry into Meaning and Truth*» (London, 1951, p. 341) Бертран Рассел справедливо считает мистиками таких мыслителей, как Бергсон и Витгенштейн, которые утверждают, что существует знание, не выражаемое в словах, а сами используют слова для выражения этой мысли.

<sup>11</sup> B. B u s s e l l, *An Inquiry into Meaning and Truth*, p. 341.

<sup>12</sup> Иную концепцию, так называемую *Lautbilder*, можно найти в работах: C u g e n L e r e, *Vom Wesen des sprachlichen Leichens* («*Acta linguistica*», 1939, vol. 1, fasc. 3); E m i l B e n v e n i s t e, *Nature du signe linguistique*, «*Acta linguistica*», 1939, vol. 1, fasc. 1).

<sup>13</sup> H. H e a d, *Aphasia and Kindred Disorders of Speech*, New York, 1926, t. 1—2, различает *словесную* афазию (нарушение функции образования слов), *синтаксическую* афазию (нарушение функции составления из слов грамматически правильных единств), *номинальную* афазию (нарушение употребления слов как общих названий) и *семантическую* афазию (нарушение функции связи слов с определенным значением).

<sup>14</sup> K. G o l d s t e i n, *The Nature of Language*, в кн.: «*Language, An Inquiry into Its Meaning and Function*» (ed. by R. N. Anshem) New York, 1957, p. 23—24.

<sup>15</sup> Там же, стр. 25.

<sup>16</sup> Там же, стр. 28—29. Следует принять во внимание, что автор использует здесь своеобразную терминологию: слово «символ» означает здесь то, что мы называем «словесным знаком».

<sup>17</sup> H. K e l l e r, *The Story of My Life*, 1936, p. 23—24 (цит. по

<sup>32</sup> M a r t y, цит. соч., стр. 527.

<sup>33</sup> M. B l a c k, Vagueness, p. 42.

<sup>34</sup> В 1903 году Бертран Рассел писал в «The Principles of Mathematics»: «По-моему, изучение грамматики может осветить философские проблемы лучше, чем это обычно предполагают философы» (стр. 42). Много лет спустя в 1940 году в работе «An Inquiry into Meaning and Truth» он повторяет, но уже в более осторожных выражениях: «Со своей стороны я верю, что путем изучения синтаксиса мы можем в какой-то мере достигнуть значительной суммы знаний о структуре мира» (стр. 347). Этой же концепции придерживается Витгенштейн. Во «Введении» к его «Трактату» Рассел констатирует: «Существенная задача языка — утверждать или отрицать факты. Если дан синтаксис языка, смысл предложения определен, коль скоро известен смысл составляющих его слов. Чтобы некоторое предложение могло утверждать некоторый факт, должно быть нечто общее — как бы ни был построен язык — между структурой предложения и структурой факта (стр. 12). Витгенштейн отчетливо выдвигает то же положение: «218. То, что каждый образ, какой бы формой он ни был, должен иметь общее с действительностью, чтобы он вообще мог ее отображать — правильную или ложно — есть логическая форма, то есть форма действительности».

О необходимости построения идеального языка и его функций Витгенштейн писал следующее: «3.323. В повседневном языке чрезвычайно часто бывает, что одно и то же слово обозначает совершенно различными способами — следовательно, принадлежит к различным символам, или что два слова, которые обозначают различными способами, употребляются в предложении на первый взгляд одинаково. 3.324. Таким образом, легко возникают самые фундаментальные заблуждения (которыми полна вся философия). 3.325. Для того чтобы избежать этих ошибок, мы должны использовать такую символику, которая исключает их, не применяя одинаковых знаков в различных символах и не применяя одинаковым образом знаки, которые обозначают различным образом, то есть символику, подчиняющуюся логической грамматике — логическому синтаксису (логическая символика Фреге и Рассела является таким языком, который, правда, исключает еще не все ошибки)».

Одобрив эти концепции, Рассел пишет во «Введении»: «Логически совершенный язык имеет правила синтаксиса, предотвращающие бессмыслицу, и простые (single) символы, всегда имеющие определенный и единственный смысл. М-р Витгенштейн исследует условия, необходимые для логически совершенного языка; речь идет не о том, что какой-либо язык является логически совершенным или что мы считаем возможным здесь и сейчас построить логически совершенный язык, но о том, что вся функция языка сводится к тому, чтобы иметь значение (meaning), и он выполняет эту функцию лишь постольку, поскольку приближается к постулируемому нами идеальному языку» (стр. 12).

<sup>35</sup> J. M. S o r i, Artificial Languages. В кн.: P. H e n l e (ed.), Language, Thought and Culture.

<sup>36</sup> M. B l a c k, Wittgenstein's «Tractatus», p. 165.

<sup>37</sup> W. v. O. Q u i n e, From a Logical Point of View, Cambridge (Mass.), 1953, p. 16.

<sup>38</sup> W. v. O. Q u i n e, From a Logical Point of View, p. 16.

- Абаев В. И., Попятне подсемантики, «Язык и мышление», т. 11, М., 1948.
- Ajdukiewicz K., Empiryczny fundament poznania, Sprawozdania Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, 1936, № 1, s. 27—31.
- Ajdukiewicz K., Epistemologia a semiotyka, «Przegląd Filozoficzny», R. 44, 1948, z. 4, s. 336—347.
- Ajdukiewicz K., Logika a doświadczenie, «Przegląd Filozoficzny», R. 43, 1947, z. 1—4, s. 1—21.
- Ajdukiewicz K., Naukowa perspektywa świata, «Przegląd Filozoficzny», R. 37, 1934, z. 4, s. 409—416.
- Ajdukiewicz K., On the Notion of Existence, «Studia Philosophica», 1949—1950, vol. 4, p. 7—22.
- Ajdukiewicz K., O znaczeniu wyrażań, Odbitka z Księgi Pamiątkowej Polsk. Tow. Filozof. we Lwowie, Lwów, Książnica—Atlas, 1931.
- Ajdukiewicz K., Problemат transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym, «Przegląd Filozoficzny», R. 40, 1937, z. 3, s. 271—287.
- Ajdukiewicz K., Sprache und Sinn, «Erkenntnis», 1934, B. 4, p. 100—138.
- Ajdukiewicz K., Das Weltbild und die Begriffsapparatur, «Erkenntnis», 1934, B. 4, s. 259—287.
- Ajdukiewicz K., Die wissenschaftliche Weltperspektive, «Erkenntnis», 1935, B. 5, s. 22—30.
- Ajdukiewicz K., W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych, «Myśl Filozoficzna», 1953, № 2 (8), s. 292—334.
- Ajdukiewicz K., W sprawie «uniwersaliów», «Przegląd Filozoficzny», R. 37, 1934, z. 3, s. 219—234.
- Albrecht E., Die Beziehungen von Erkenntnistheorie, «Logik und Sprache, Halle (Saale), M. Niemeyer, 1956.
- Albrecht E., Die erkenntnistheoretische Problematik des sprachlichen Zeichens, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1961, № 3, p. 358—367.
- Алексеев М. И., Колшанский Г. В., О соотношении логических и грамматических категорий, «Вопросы языкознания», 1955, № 5, стр. 3—19.
- Ammer K., Einführung in die Sprachwissenschaft, B. 1, Halle (Saale), M. Niemeyer, 1958.
- Apostel L., Mandelbrot B., Morf A., Logique, language et théorie de l'information (III том работы «Études d'épistémologie génétique»), Paris, Presses Univ. de France, 1957.
- Асмус В. Ф., Критика буржуазных идеалистических учений логики эпохи империализма, «Вопросы логики», М., ИЗД. АН СССР, 1955, стр. 192—284.
- «Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia», vol. 1, Firenze, Sansoni Editore, 1958.
- Ayer A. J., The Foundations of Empirical Knowledge, London, Macmillan a. Co., 1947.
- Ayer A. J., Language, Truth and Logic, London, Victor Gollancz, 1948.

- Ayer A. J., *Meaning and Intentionality*, в: «Atti del XII Congresso...», vol. 1, p. 139—155.
- Ayer A. J., *The Problem of Knowledge*, London, Macmillan. Co., 1956.
- Ахманова О. С., *Фонология*, М., Изд. МГУ, 1954.
- Ахманова О. С., *Очерки по общей и русской лексикологии*, М., Учпедгиз, 1957.
- Ахманова О. С., *О психолингвистике*, М., Изд. МГУ, 1957.
- Babcock C. M., *The Harper Handbook of Communication Skills*, New York, Harper and Brothers, 1957.
- Bahri H., *Hindi Semantics*, Allahabad, Bharati Press Publications, 1959.
- Bautro E., *Idea lingwistyki i semantyki prawniczej*, Lwów, 1935.
- Benjamin A. C., *Outlines of an Empirical Theory of Meaning*, «Philosophy of Science», July, 1936, vol. 3, № 3, p. 250—266.
- Benveniste E., *Nature du signe linguistique*, «Acta Linguistica», 1939, vol. 1, fasc. 1, p. 23—29.
- Bergmann G., *The Metaphysics of Logical Positivism*, New York, Longmans, Green and Co., 1954.
- Bergson H., *La pensée et le mouvant* (разд. VI: «Introduction à la métaphysique»), Paris, Presses Univ. de France, 1955.
- Beth E. W., *Semantics as a Theory of Reference*, в: «Philosophy in the Mid-Century», A Survey, vol. 1, Ed. by R. Klibansky, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1958, p. 62—100.
- Black M., *Critical Thinking, An Introduction to Logic and Scientific Method*, New York, Prentice-Hall, 1952.
- Black M., *Language and Philosophy*, Studies in Method, New York, Cornell Univ. Press, 1949.
- Black M., *Russel's Philosophy of Language*, в: «The Philosophy of Bertrand Russel», ed. by P. A. Schilpp, New York, Tudor Publ. Co., 1951, p. 227—255.
- Black M., *The Semiotic of Charles Morris*, в: M. Black, *Language and Philosophy*.
- Black M., *Vagueness*, там же.
- Black M., *Wittgensteins «Tractatus»*, там же.
- Bloomfield L., *Language*, London, George Allen and Unwin, 1957.
- Bloomfield L., *Linguistic Aspects of Science*, в: «International Encyclopedia of Unified Science», vol. 1, part 1, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1955, p. 215—277.
- Boas F., *Kultur und Rasse*, Leipzig, Verlag von Veit und Co, 1914.
- Boas F., *Race, Language and Culture*, New York, The Macmillan Co., 1949.
- Boas G., *Symbols and History*, в: R. N. Anshen, *Language...* p. 102—121.
- Boschenskij J. M., *Contemporary European Philosophy*, Berkeley and Los Angeles, Univ. of California Press, 1956.
- Богуславский В. М., *Слово и понятие*, «Мышление и язык», стр. 213—275.
- Bréal M., *Essai de sémantique*, Science des significations, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1904.

- Brentano F., *Psychologie vom empirischen Standpunkt*, B. 1—Leipzig, 1924, B. 2—Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1925.
- Brentano F., *Über das Sein im uneigentlichen Sinne, abstrakte Namen und Verstandesdinge* (1917), в: F. Brentano, *Psychologie... B. 2*.
- Brentano F., *Von den Gegenständen des Denkens* (1915), в: F. Brentano, *Psychologie... B. 2*.
- Brentano F., *Wahrheit und Evidenz... eingeleitet von Oskar Kraus*, Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1930.
- Bridgman P. W., *The Logic of Modern Physics*, New York, The Mac-Millan Co., 1949.
- «British Philosophy in the Mid-Century», A Cambridge Symposium. ed. by C. A. Mace, London, George Allen a. Unwin, 1957.
- Brown R. W., *Words and Things*, Glencoe (Illinois), The Free Press, 1958.
- Brunot F., *La pensée et la langue*, Paris, Masson et Cie, 1953.
- Брутян Г. А., *Идеалистическая сущность семантической философии*, «Современный субъективный идеализм», Госполитиздат, 1957, стр. 287—338.
- Bühler K., *Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache*, Jena, Gustav Fischer, 1934.
- Bühler K., *Sympolitik der Sprache*, Kant-Studien, B. 33, Berlin, 1928.
- Buysseus E., *Le structuralisme et l'arbitraire du signe*, в: *Studii si cercetari Linguistice*, Anl. XI, 3, 1960, p. 403—416.
- Булаховский Л. А., *Введение в языкознание*, ч. 2, М., Учпедгиз, 1954.
- Carnap R., *Die alte und die neue Logik*, «Erkenntnis», 1930—1931, B. 1, S. 12—26.
- Carnap R., *Foundations of Logic and Mathematics*, в: «International Encyclopedia...», vol. 1, part 1, p. 139—214.
- Carnap R., *Introduction to Semantics*, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1948.
- Carnap R., *Logical Foundation of the Unity of Science*, в: «International Encyclopedia...», vol. 1, part 1, p. 42—62.
- Carnap R., *The Logical Syntax of Language*, London, Kegan Paul a. Co., 1937.
- Carnap R., *Der logische Aufbau der Welt*, Berlin, 1928.
- Carnap R., *Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft*, «Erkenntnis», 1931, B. 2, S. 432—465.
- Carnap R., *Psychologie in physikalischer Sprache*, «Erkenntnis», 1932—1933, vol. 2, p. 107—142.
- Carnap R., *Symbolische Logik*, Wien, Springer Verlag, 1954.
- Carnap R., *Testability and Meaning*, «Philosophy of Science», 1936, vol. 3, № 4, 419—471, 1937, vol. 4, № 1, p. 1—40.
- Carnap R., *Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*, «Erkenntnis», 1931, B. 2, S. 219—241.
- Карнап Р., *Значение и необходимость*, М., Издательство иностранной литературы, 1959.



- Карнап Р., Эмпиризм, семантика и онтология, Приложение к: Р. Карнап, Значение и необходимость.
- Carroll J. B., *The Study of Language*, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1955.
- Касарес Х., Введение в современную лексикографию, М., Издательство иностранной литературы, 1958.
- Cassirer E., *An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture*, New York, Doubleday Anchor Books, 1954.
- Cassirer E., *Language and Myth*, Dover Publ. Inc. USA.
- Cassirer E., *The Philosophy of Symbolic Forms*, vol. 1: *Language*, New Haven, Yale Univ. Press, 1953.
- Chang Tun-gsun, *A Chinese Philosopher's Theory of Knowledge*, в: S. I. Hayakawa, *Our Language and Our World*, p. 299—324.
- Chase S. L., *Guides to Straight Thinking*, New York, Harper and Brothers, 1956.
- Chase S. L., *The Power of Words*, New York, Harcourt, Brace and Co., 1954.
- Chase S. L., *The Tyranny of Words*, New York, Harcourt, Brace and Co., 1938.
- Cherry C., *On Human Communication*, New York, John Wiley and Sons, 1957.
- Chwistek L., *Antynomie logiki formalnej*, «Przegląd Filozoficzny», R. 24, 1921, z. 3 и 4, s. 164—171.
- Chwistek L., *Granice nauki, Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych*, Lwów—Warszawa, Książnica—Atlas.
- Chwistek L., *The Theory of Constructive Types*, Part 1, *Rocznik Polsk. Tow. Matem.*, vol. 2, Kraków, 1923, s. 9—47.
- Cohen M., *Язык, его будова и rozwój*, Warszawa, PWN, 1956.
- Copie I. M., *Artificial Languages*, в: P. Henle, *Language, Thought and Culture*, p. 96—120.
- Czeżowski T., *Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne*, Warszawa, PZWS, 1949.
- Darmesteter A., *La vie des mots étudiée dans leurs significations*, Paris, Librairie Ch. Delagrave.
- Dąbbska I., *Z semantyki zdań warunkowych*, «Przegląd Filozoficzny», R. 41, 1938, z. 3, s. 241—267.
- Delacroix H., *Le langage et la pensée*, Paris, Librairie Felix Alcan, 1924.
- Dettering R., *What Phonetic Writing Did to Meaning*, в: (ed. by Hayakawa) *Our Language and Our World*, p. 325—342.
- Dewey J., *Experience and Nature*, London, George Allen and Unwin, 1929.
- Doroszewski W., *Czynnik społeczny i indywidualny w rozwoju znaczeniowym wyrazów*, в: «*Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski*», vol. 1, Cracoviae, 1927, s. 19—35.
- Doroszewski W., *Uwagi o semantyce. Z dyskusji logiczno-semantycznej*, «*Mysł Filozoficzna*», 1955, № 3 (17), s. 83—94.
- Doroszewski W., *Z zagadnień leksykografii polskiej*, Warszawa, PIW, 1954.

- Ducasse C. J., Symbols, Signs and Signals, «The Journal of Symbolic Logic», June, 1939, vol. 4, № 2, p. 41—52.
- Ebeling C. L., Linguistic Units, Gravenhage, Mouton and Co., 1960.
- Энгельс Ф., Диалектика природы, К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, изд. 2-е, М., 1961.
- Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же.
- Erdmann K. O., Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, Eduard Avenarius, 1910.
- Есперсен О., Философия грамматики, М., Издательство иностранной литературы, 1958.
- Estrich R. M., Spreber H., Three Keys to Language, Rinehart a. Co., 1952.
- Fährmann R., Die Deutung des Sprachausdrucks, Bonn, H. Bonvier u. Co., Verlag, 1960.
- Фессалоницкий С. А., Обзор литературы по вопросам связи языка и мышления, «Вопросы языкознания», 1953, № 3, стр. 121—130.
- «Filosofia e Simbolismo», в: «Archivio di Filosofia», Roma, Fratelli Bocca Editori, 1956.
- Forest A., La communication, в: «Atti del XII Congresso...», vol. 1, p. 157—172.
- Frank P h., Modern Science and Its Philosophy, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1950.
- Франк Ф., Философия науки, М., Издательство иностранной литературы, 1960.
- Frege G., On Sense and Reference, в: «Translations...»
- «Frege on Russell's Paradox», в: «Translations from the Philosophical Writings of Gottob Frege», Oxford, Basil Blackwell, 1952.
- Fries Ch. C., The Structure of English, London, Longmans, Green a. Co., 1957.
- Fritz Ch. A., Bertrand Russel's Construction of the External World, London, Routledge a. Kegan Paul, 1952.
- Gaertner H., Grammatyka współczesnego języka polskiego, cz. 2, Lwów, Książnica—Atlas, 133.
- Gallie W. B., Peirce and Pragmatism, Edinburgh, A Pelican Book, 1952.
- Галкина-Федорук Е. М., О форме и содержании в языке, «Мышление и язык», стр. 352—407.
- Галкина-Федорук Е. М., Основные вопросы языкознания в трудах В. И. Ленина, «Иностранный язык в школе», 1951, № 1, стр. 3—12.
- Галкина-Федорук Е. М., Слово и понятие, М., Учпедгиз, 1956.
- Галкина-Федорук Е. М., Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма, «Вестник Московского университета», Серия общественных наук, вып. 4, сентябрь, 1951, № 9, стр. 105—125.
- Галкина-Федорук Е. М., Современный русский язык, Лексика, М., изд. МГУ, 1954.

- Галкина-Федорук Е. М., Суждение и предложение, изд. МГУ, 1956.
- Галкина-Федорук Е. М., Знаковость в языке с точки зрения марксистского языкознания, «Иностраный язык в школе», 1952, № 2, стр. 3—11.
- Гальперин П. Я., Развитие исследований по функционированию умственных действий, «Психологическая наука в СССР», т. I, М., 1959, стр. 441—469.
- Gamillscheg E., Französische Bedeutungslehre, Tübingen, M. Niemeyer, 1951.
- Gardiner A., The Theory of Speech and Language, Oxford, At the Clarendon Press, 1951.
- Gawroński A., Szkice językoznawcze, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928.
- Gätschenberger R., Symbola, Anfangsgründe einer Erkenntnistheorie, Karlsruhe i. B., 1920.
- Gätschenberger R., Zeichen, die Fundamente des Wissens, Stuttgart, Frommann, 1932.
- Glicksberg C. H. J., Psychoanalysis and General Semantics, в: ETC, vol. VIII, № 3, 1951, p. 212—222.
- Глисон Г., Введение в дескриптивную лингвистику, М., Издательство иностранной литературы, 1959.
- Goldstein K., Language and Language Disturbances, New York, Grune a. Stratton, 1948.
- Goldstein K., The Nature of Language, в: R. N. Anshen, Language... p. 18—40.
- Goodman N., On Likeness of Meaning, в: L. Linsky, Semantics... p. 65—74.
- Горский Д. П., Извращение неопозитивизмом вопросов логики, «Современный субъективный идеализм», стр. 219—286.
- Горский Д. П., К вопросу об образовании и развитии понятий, «Вопросы философии», 1952, № 4, стр. 64—77.
- Горский Д. П., О роли языка в познании, «Вопросы философии», 1953, № 2, стр. 75—92.
- Горский Д. П., Роль языка в познании, в: «Мышление и язык», стр. 73—116.
- Granet M., L'expression de la pensée en chinois, «Journal de Psychologie», 1928, № 8, p. 617—656.
- Greenberg J. H., Essays in Linguistics, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1957.
- Greenwood D., Truth and Meaning, Foreword by H. L. Scarles, New York, Philosophical Library, 1957.
- Greniewski H., Elementy logiki formalnej, Warszawa, PWN, 1955.
- Grevisse M., Problèmes de Langnage, Presses Universitaires de France, 1961.
- Gusdorf G., La parole, Paris, Presses Univ. de France, 1956.
- Hamann R., Das Symbol, Gräfenhainichen, Wilhelm Hecker, 1902.
- Hamberg C. H., Symbol and Reality, Studies in the Philosophy of Ernst Cassirer, The Hague, Martinus Nijhoff, 1956.

- Hampshire St., The Interpretation of Language: Words and Concepts, в: C. A. MacC, British Philosophy... p. 267—279.
- Hampshire St., Thought and Action, London, Chatto and Windus, 1959.
- Hare R. M., The Language of Morals, Oxford, At the Clarendon Press, 1952.
- Hartmann P., Sprache und Erkenntnis zur Konstitution des explizierenden Bestimmens, Heidelberg, Carl Winter, 1958.
- Hayakawa S. I., Language in Thought and Action, New York, Harcourt, Brace and Co., 1949.
- Hayakawa S. I., Semantics, General Semantics and Related Disciplines, в: S. I. Hayakawa, Language, Meaning and Maturity, p. 19—37.
- Hayakawa S. I., What Is Meant by Aristotelian Structure of Language? в: S. I. Hayakawa, Language, Meaning and Maturity, p. 217—224.
- Head H., Aphasia and Kindred Disorders of Speech, Vols. 1 and 2, New York, The MacMillan Co., 1926.
- Helmholtz H. v., Die Tatsachen in der Wahrnehmung, в: H. v. Helmholtz, Vorträge und Reden, B. 2, Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1903.
- Hempel C. G., Le problème de la vérité, «Theoria», 1937, vol. 3, parts 2 and 3, p. 206—246.
- Hempel C. G., On the Logical Positivist's Theory of Truth, «Analysis», 1935, vol. 2, № 4.
- Hempel C. G., Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning, в: L. Linsky, Semantics... p. 161—185.
- Herdan G., Language as Choice and Chance, Groningen, P. Noordhoff, 1956.
- Herder J. G., Über den Ursprung der Sprache, Berlin, Akademie-Verlag, 1959.
- Hetper W., Rola schematów niezależnych w budowie systemu semantyki, Archiwum Tow. Nauk we Lwowie, Dz. 3, t. 9, z. 5, Lwów, 1938, s. 253—264.
- Hinton, Political Semantics, Hanover, New Hampshire, Dartmouth Printing Comp., 1941.
- Hodges H. A., Languages, Standpoints and Attitudes, London, Oxford Univ. Press, 1953.
- Hoenigswald M. M., Language Change and Linguistic Reconstruction, The Univ. of Chicago Press, 1960.
- Hofstätter P. R., Vom Leben des Wortes, Wien, Universitätsverlag, 1949.
- Hoijer H., The Sapir—Whorf Hypothesis, в: H. Hoijer, Language in Culture, p. 92—105.
- Хомский Н., Синтаксические структуры, в: «Новое в лингвистике», вып. II, М., Издательство иностранной литературы, 1962.
- Humboldt W. v., Über das vergleichende Sprachstudium, Verlag von Felix Meiner in Leipzig, Taschenausgaben der «Philosophischen Bibliothek», H. 17.
- Huppé B. F., Kaminsky J., Logic and Language, New York, A. A. Knopf, 1956.
- Husserl E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, M. Niemeyer, Halle a. S.

Husserl E., *Logische Untersuchungen*, B. 1 und 2, Halle, M. Niemeyer, 1913—1921.

Гуссерль Э., *Логические исследования*, т. I, СПб, «Образование», 1909.

Ingarden R., *Das literarische Kunstwerk*, Halle, M. Niemeyer, 1931.

Jakobson R., *On Linguistic Aspects of Translation*, в: «On Translation», Ed. Reuben A. Brower, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1959, p. 232—239.

Jakobson R., Halle M., *Fundamentals of Language*, The Hague, Mouton a. Co., 1956.

Jaspers K., *Philosophie*, B. 2: *Existenzerhellung*, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1932.

Jespersen O., *Language, Its Nature, Development and Origin*, London, George Allen a. Unwin, 1954.

Жинкин Н. И., *Звуковая коммуникативная система обезьян*, в: «Мышление и речь», № 113, М., 1960, стр. 183—226.

Жинкин Н. И., *По путям к изучению механизма речи*, в: «Психологическая наука в СССР», т. I, М., 1959, стр. 470—487.

Joergensen J., *The Development of Logical Empiricism*, в: «International Encyclopedia of Unified Science», vol. 2, № 9, Univ. Chicago Press, 1951.

Johnson E. S., *Theory and Practice of the Social Studies*, New York, The MacMillan Co., 1956.

Johnson W., *People in Quandaries, The Semantics of Personal Adjustment*, New York, Harper a. Brothers, 1946.

Kaufmann F., *Methodology of the Social Sciences*, London, Thames a. Hudson, 1958.

Kemenu J. G., *New Approach to Semantics, Part 1*, «The Journal of Symbolic Logic», March 1956, vol. 21, N 1, p. 1—27.

Kemenu J. G., *Models of Logical Systems*, «The Journal of Symbolic Logic», March 1948, vol. 13, № 1, p. 16—30.

Keyes K. S., jr., *Now to Develop Your Thinking Ability*, New York, McGraw Hill Book Co., 1950.

Klemensiewicz Z., *Jezyk Polski*, Lwów—Warszawa, Książnica—Atlas, 1937.

Kokoszyńska M., *Logiczna składnia języka, semantyka i logika wiedzy*, «Przegląd Filozoficzny», R. 39, 1936, z. 1, s. 38—49.

Kołąkowski L., *Filozofia nieinterwencji*, «Myśl Filozoficzna», 1953, № 2(8), s. 335—373.

Корнфорт М., *Наука против идеализма. В защиту философии против позитивизма и прагматизма*, М., Издательство иностранной литературы, 1959.

Korzybski A., *Manhood of Humanity, The Science and Art of Human Engineering*, New York, E. P. Dutton a. Co., 1923.

Korzybski A., *Science and Sanity, An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics*, Lancaster (Pens.); 1941.

- K o t a r b i ń s k a J., Pojęcie znaku, «Studia Logica», 1957, t. 6, s. 57—133.
- K o t a r b i ń s k i T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Lwów, 1929.
- K o t a r b i ń s k i T., Przegląd problematyki logiczno-semantycznej, w: «Sprawozdania z czynności i posiedzeń Łódzk. Tow. Nauk», 1947, R. 2, № 1(3), Łódź, 1947.
- K o t a r b i ń s k i T., W sprawie pojęcia prawdy, w: «Przegląd Filozoficzny», Warszawa, 1934.
- К о в т у н Л. С., О значении слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 5, стр. 65—77.
- K r a f t V., Der Wiener Kreis, Der Ursprung des Neopositivismus. Wien, Springer-Verlag, 1950.
- K r o n a s s e r H., Handbuch der Semasiologie, Heidelberg, Carl Winter, 1952.
- K u r y ł o w i c z J., Podstawy psychologiczne semantyki, «Przegląd filozoficzny», R. 30, 1927, z. 4, s. 319—322.
- К у р и л о в и ч Е. Р., Заметки о значении слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 3, стр. 73—81.
- L a n g e r S. K., Feeling and Form, A Theory of Art, London, Routledge a. Kegan Paul, 1953.
- L a n g e r S. K., On Cassirer's Theory of Language and Myth, w: «The Philosophy of Ernst Cassirer», Ed. by P. A. Schilpp, New York, Tudor Publ. Co., 1958, p. 379—400.
- L a n g e r S. K., Philosophy in a New Key, A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1957.
- «Language: An Enquiry into Its Meaning and Function», Planned and edited by R. N. Anshen, New York, Harper a. Brothers, 1957.
- «Language in Culture», Ed. by H. Hoijer, Chicago (Illinois), Univ. of Chicago Press, 1955.
- «Language, Meaning and Maturity, Selections from «ETC»: A Review of General Semantics 1943—1953, Ed. by S. I. Hayakawa, New York, Harper a. Brothers, 1954.
- «The Language of Wisdom and Folly», Ed. by I. J. Lee, New York, Harper a. Brothers, 1949.
- «Language, Thought and Culture», Ed. by P. Henle, Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1958.
- L e e I. J., How to Talk with People, New York, Harper a. Brothers, 1952.
- L e e I. J., Language Habits in Human Affairs, New York, Harper a. Brothers, 1941.
- Л е н и н В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 18, 1961.
- Л е н и н В. И., Философские тетради, Сочинения, изд. 4, т. 38, 1958.
- Л е о н т ь е в А. Н., Л е о н т ь е в А. А., О двояком аспекте языковых явлений, «Философские науки», 1959, № 2, стр. 116—125.
- L e r c h E., Vom Wesen des sprachlichen Zeichens, Zeichen oder Symbol? «Acta Linguistica», 1939, vol. 1, fasc. 3, s. 145—161.

- Le Roy E., Science et Philosophie, Extrait de la «Revue de Métaphysique et de Morale», Paris, 1899.
- Le Roy E., Sur quelques objections adressées à la nouvelle philosophie, «Revue de Métaphysique et de Morale», 1901, p. 292—327, 407—432.
- Le Roy E., Un positivisme nouveau, «Revue de Métaphysique et de Morale», 1901, p. 138—153.
- Leśniewski S t., Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik, «Fundamenta Mathematicae», 1929, t. 14, s. 1—81.
- Leśniewski S t., O podstawach ontologii, в: «Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz., Wyd. 3, R. 23, 1930, z. 4—6, Warszawa, 1930, s. 111—132.
- Lévi-Strauss C., Anthropologie structurale, Paris, Librairie Plon, 1958.
- Lévy-Bruhl L., Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Librairie Felix Alcan, 1912.
- Левковская К. А., Лексикология немецкого языка, Учпедгиз, 1956.
- Lewis C. I., Mind and the World-Order, New York, Charles Scribner's Sons, 1929.
- Lewis C. I., The Modes of Meaning, в: L. L i n s k y , Semantics, p. 49—63.
- «Logic and Language», First and Second Series, Ed. by A. G. N. Flew, Oxford, Basil Blackwell, 1955.
- «Логические исследования», Сборник статей, М., Изд. АН СССР, 1959.
- Longabaugh Th., General Semantics, An Introduction, New York, Vantage Press, 1957.
- Lundberg G. A., Schrag C. C., Larsen O. N., Sociology, New York, Harper and Brothers, 1954.
- Łoś J., The Algebraic Treatment of the Methodology of Elementary Deductive Systems, «Studia Logica», 1955, vol. 2, p. 151—211.
- Łoś J., On the Extending of Models (1). «Fundamenta Mathematicae» 1955, vol. 42, p. 38—54.
- Łoś J., Gramatyka polska, Cz. 2: Słowotwórstwo, Lwów, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1925.
- Łoś J., Zakres wyrazu i pojęcia, «Język polski», maj-czerwiec, R. 12, 1927, № 3, s. 73—75.
- Лурья А. Р., Изучение мозговых поражений и восстановления нарушенных функций, в: «Психологическая наука в СССР», т. II, М., 1960, стр. 428—458.
- Лурья А. Р., Развитие речи и формирование психологических процессов, в: «Психологическая наука в СССР», т. I, М, 1959, стр. 516—577.
- Лурья А. Р., Роль слова в формировании временных связей у человека, «Вопросы психологии», 1955, № 1, стр. 73—86.
- Luszczyńska-Romapowa S., Wieloznaczność a język nauki, «Kwartalnik Filozoficzny», 1948, t. 17, s. 47—58.
- Malinowski B., The Problem of Meaning in Primitive Languages, в: C. K. Ogden, I. A. Richards, The Meaning of Meaning, p. 296—336.

- Marhenke J., The Criterion of Significance, в: L. Linský, Semantics... p. 137—159.
- Martain J., Language and the Theory of Sign, в: R. N. Ashen, Language... p. 86—101.
- Маркс К., Энгельс Ф., Немецкая идеология, Сочинения, изд. 2, т. 3, 1955.
- Маркс К., Энгельс Ф., Святое семейство, Сочинения, изд. 2, т. 2, 1955.
- Marouzeau J., La linguistique ou science du langage, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1950.
- Марр Н. Я., Этапы развития яфетической теории, Избранные работы, т. I, изд. ГАИМК, Л., 1933. (В особенности использованы следующие его работы: «Индоевропейские языки Средиземноморья»; «Основные достижения яфетической теории»; «К происхождению языков»; «Яфетические языки».)
- Марр Н. Я., Яфетическая теория, Баку, 1928.
- Марр Н. Я., Язык и мышление, М., Соцэкиз, 1931.
- Марр Н. Я., Язык и современность, Л., 1932, изд. ГАИМК.
- Martin R. M., Truth and Denotation, A Study in Semantical Theory, London, Routledge and Kegan Paul, 1958.
- Martina E., Psychologische Untersuchungen zur Bedeutungslehre, Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1901.
- Marty A., Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, B. 1, Halle a. S., M. Niemeyer, 1908.
- Mauthner F., Beiträge zu einer Kritik der Sprache, B. 1: Zur Sprache und zur Psychologie; B. 2: Zur Sprachwissenschaft; B. 3: Zur Grammatik und Logik, Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1923.
- Mead G. H., Mind, Self and Society, Chicago (Illinois), Univ. of Chicago Press, 1955.
- «The Meaning of «Meaning», Symposium by F. C. S. Schiller, B. Russel and H. H. Joachim, «Mind», October, 1920, № 116, p. 385—414.
- Meillet A., Comment les mots changent de sens, в: A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, t. 1, Paris, Eduard Champion, 1948, p. 230—271.
- Meinong A., Über Annahmen, Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1910.
- Milewski T., Zarys językoznawstwa ogólnego, Cz. 1: Teoria językoznawstwa, Lublin—Kraków, 1947.
- Милль Дж. Ст., Система логики, изд. 2, СПб—М., 1878.
- Miller G. A., Language and Communication, New York — Toronto — London, McGraw Hill Book Co., 1951.
- Mises R. V., Positivism, A Study in Human Understanding, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1951.
- Moore G. E., Russel's «Theory of Descriptions», в: «The Philosophy of Bertrand Russel», ed. by P. A. Schilpp, New York, Tudor Publ. Co., 1951, p. 175—225.
- Morris C. H., Foundations of the Theory of Signs, в: «International Encyclopedia of Unified Science», vol. 1, №2, Chicago (Ill.), Univ. of Chicago Press, 1938.
- Morris C. H., Logical Positivism, Pragmatism and Scientific Empiricism, Paris, Hermann et Cie, 1937.



- Morris Ch. W., *The Open Self*, New York, Prentice-Hall, без даты.
- Morris Ch. W., *Signs, Language and Behavior*, New York, Prentice-Hall, 1946.
- Mostowski A., *Logika matematyczna*, Warszawa—Wrocław, 1948.
- Mostowski A., *On Models of Axiomatic Systems*, «*Fundamenta Mathematicae*», 1952, t. 39, s. 133—158.
- Мшвениерадзе В. В., О философской сущности «семантической концепции истины», в сб. «Логические исследования», стр. 48—68.
- «Мышление и язык», под ред. Д. П. Горского, М., Госполитиздат, 1957.
- Nagel E., *Logic Without Metaphysics*, Glencoe (Ill.), The Free Press, 1956.
- Нарский И. С., Философская сущность неопозитивизма, в сб. «Современный субъективный идеализм», стр. 140—218.
- «Nauka Pawłowa a filozoficzne zagadnienia psychologii», *Zbiór artykułów*, Warszawa, PWN, 1954.
- Neurath O., *Sociologie im Physikalismus*, «*Erkenntnis*», 1931, B. 2, S. 393—421.
- Nyrop K., *Das Leben der Wörter*, Leipzig, Eduard Avenarius, 1903.
- Öhman S., *Wortinhalt und Weltbild*, Stockholm, 1951.
- Ogden C. K., Richards I. A., *The Meaning of Meaning*, London, Routledge a. Kegan Paul, 1953.
- Osgood Ch. E., Suci G. J., Tannenbaum P. H., *The Measurement of Meaning*, Urbana, Univ. of Illinois Press, 1957.
- Ossowska M., *Słowa i myśli*, Odbitka z 34 rocznika «*Przeglądu Filozoficznego*», Warszawa, 1931.
- Ossowska M., *Stosunek logiki i gramatyki*, в: «*Kwartalnik Filozoficzny*», Kraków, 1929.
- Ossowska-Niedźwiecka M., *Semantyka profesora St. Szobera*, «*Przegląd filozoficzny*», R. 28, 1925, z. 4, s. 258—272.
- Ossowski St., *Analiza pojęcia znaku*, в: «*Przegląd filozoficzny*», z. 1—2, Warszawa, 1926.
- Otto E., *Stand und Aufgabe der Allgemeinen Sprachwissenschaft*, Berlin, Walter de Gruyter, 1954.
- «*Our Language and Our World*», *Selections from «ETC»: A Review of General Semantics 1953—1958*, New York, Harper a. Brothers, 1959.
- Панфилов В. З., К вопросу о соотношении языка и мышления, в сб. «Мышление и язык», стр. 117—165.
- Par A., *Semantics and Necessary Truth, An Inquiry into the Foundations of Analytic Philosophy*, New Haven, Yale Univ. Press, 1958.
- Partridge E., *The World of Words*, London, Hamich Hamilton, 1954.
- Пауль Г., *Принципы истории языка*, Издательство иностранной литературы, 1960.

- Paulhan Fr., Qu'est-ce que c'est le sens des mots? в: «Journal de Psychologie», 1928, № 4—5, p. 289—329.
- Peirce M., The Story of Language, London, George Allen & Unwin, 1957.
- Peirce Ch. S., How to Make Our Ideas Clear, в: «Values in a Universe of Change», Selected Writings of Charles S. Peirce, Stanford (California), Stanford Univ. Press, 1958.
- Peirce Ch. S., Issues of Pragmatism, в: «Values in a Universe of Change».
- Peirce Ch. S., Logic and Semiotic: The Theory of Signs, в: «Philosophical Writings of Peirce», Selected and edited with an introduction by Justus Buchler, New York, Dover Publ., 1955, p. 98—119.
- Peirce Ch. S., What Pragmatism is, в: «Values in a Universe of Change».
- Perelman Ch., Logique, language et communication, в: «Atti del XII Congresso...» vol. 1, p. 123—135.
- «Philosophy and Analysis», Ed. by M. MacDonald, Oxford, Basil Blackwell, 1954.
- Piaget J., La formation du symbole chez l'enfant, Neuchatel, Delachaux et Niestlé, 1959.
- Piaget J., Introduction à l'épistémologie génétique, t. 1: La pensée mathématique; t. 2: La pensée physique; t. 3: La pensée biologique... psychologique... et sociologique, Paris, Presses Univ. de France, 1950.
- Picard M., Der Mensch und das Wort, Erlenbach-Zürich, Eugen Reutsch Verlag, 1955.
- Platon, Kratylos, в: «Platons Ausgewählte Werke», B. 3, München, Georg Müller-Verlag, 1918.
- Pole D., The Later Philosophy of Wittgenstein, University of London, The Athlone Press, 1958.
- Попов П. С., Понятие слова в свете марксистского учения о непосредственной связи языка и мышления, «Вестник Московского университета», серия общественных наук, апрель 1954, вып. 2, № 4, стр. 69—84.
- Попов П. С., Значение слова и понятие, «Вопросы языкознания», 1956, № 6, стр. 33—47.
- Porzig W., Das Wunder der Sprache, Bern, Francke-Verlag, 1957.
- Потебня А., Мысль и язык, Харьков, 1913.
- Roznanski E., Operacjonalizm to trzydziestu latach, в: «Fragmenty filozoficzne», ser. 2, Księga Pamiątkowa ku uczczeniu... T. Kotarbińskiego, Warszawa, PWN, 1959, s. 178—218.
- Протопопов В. П., Рушкевич Е. А., Исследование расстройств абстрактного мышления у психически больных и их физиологическая характеристика, Киев, Медиздат, 1956.
- Пуанкаре А., Наука и гипотеза, полный перевод с французского А. Г. Багинского, Н. М. Соловьева и Р. М. Соловьева, М., 1904.
- Пуанкаре А., Наука и метод, авторизованный перевод Б. Кореня под ред. проф. Н. А. Гесехуса, СПб, 1910.
- Пуанкаре А., Ценность науки, перевод с французского под ред. А. Багинского и Н. Соловьева, М., «Творческая мысль», 1906.

- Quine W. van O., From a Logical Point of View, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1953.
- Quine W. van O., Meaning and Translation, в: «On Translation», p. 148—172.
- Quinton A., Linguistic Analysis, в: «Philosophy in the Mid-Century», vol. 2, p. 146—202.
- Р а м я ш в и л и Д. И., Неприемлемость теории первичности языка жестов с точки зрения психологических закономерностей речи, в сб. «Вопросы психологии мышления и речи», вып. 81, М., 1956.
- Ramsey F. P., The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, New York, Harcourt, Brace and Co., 1931.
- Rapoport A., General Semantics: Its Place in Science in ETC, vol. XVI, № 1, 1958, p. 80—97.
- Rapoport A., Operational Philosophy, Integrating Knowledge and Action, New York, Harper and Brothers, 1953.
- Rapoport A., Science and the Goals of Man, A Study in Semantic Orientation, New York, Harper and Brothers, 1950.
- Rapoport A., What Is Semantics? в: S. I. Hayakawa, Language, Meaning and Maturity, p. 3—18.
- Rasiova H., Algebraic Models of Axiomatic Theories, в: «Fundamenta Mathematicae», 1955, vol. 41, p. 291—310.
- Read A. W., An Account of the Word «Semantics», в: «Word», august, 1948, vol. 4, № 2, p. 78—97.
- Reichenbach H., Elements of Symbolic Logic, New York, The Mac Millan Co., 1947.
- Reichenbach H., Experience and Predication, Chicago (Ill.), Univ. of Chicago Press, 1938.
- Reichenbach H., The Rise of Scientific Philosophy, Univ. of California Press, 1956.
- Reiss S., The Rise of Words and their Meanings, New York, Philosophical Library, 1950.
- Révész G., The Origins and Prehistory of Language, London, Longmans, Green and Co., 1956.
- Р е в з и н И. И., Структуральная лингвистика, семантика и проблемы изучения слова, «Вопросы языкознания», 1957, № 2, стр. 31—41.
- Р е з н и к о в Л. О., Гносеологические основы связи мышления и языка, «Ученые записки Ленинградского университета», № 248; «Диалектический материализм», изд. Ленинградского университета, 1958, стр. 136—163.
- Р е з н и к о в Л. О., Понятие и слово, изд. Ленинградского университета, 1958.
- Richards I. A., The Philosophy of Rhetoric, New York, Oxford Univ. Press, 1950.
- Richards I. A., Principles of Literary Criticism, London, Routledge and Kegan Paul, 1955.
- Roback A. A., Destiny and Motivation in Language, Cambridge (Mass.), Sci-Art Publishers, 1954.
- Robert T. H. and James L. J., Language and Informal Logic, New York, Longmans, 1958.

- R o t h s t e i n J., Communication, Organization and Science, Indian Hills (Colorado), The Falcon's Wing Press, 1958.
- R o z w a d o w s k i J., O zjawiskach i rozwoju języka, Kraków, 1950.
- R o z w a d o w s k i J., Semazyologia, czyli nauka o rozwoju znaczeń wyrazów, Jej stan obecny, zasady i zadania, Lwów, Tow. Filologiczne, 1903.
- Р у б и н ш т е й н С. Л., Бытие и сознание, изд. АН СССР, М., 1957.
- Р у б и н ш т е й н С. Л., К вопросу о языке, речи и мышлении, «Вопросы языкознания», № 2, стр. 42—48.
- Р у б и н ш т е й н С. Л., Основы общей психологии, разд. XI, «Речь», М., Учпедгиз, 1946.
- Р у б и н ш т е й н С. Л., Принципы и пути развития психологии, изд. АН СССР, М., 1959.
- R u d e k W., W sprawie «Uwag o semantyce» prof. W. Doroszewskiego, «Myśl Filozoficzna», 1957, № 1 (27), s. 195—219.
- R u e s c h J., K e e s W., Nonverbal Communication, Berkeley, Univ. of California Press, 1956.
- R u s s e l B., The Analysis of Mind, London, George Allen a. Unwin, 1921.
- Р а с с е л Б., Человеческое познание. Его сфера и границы, Издательство иностранной литературы, 1957.
- R u s s e l B., An Inquiry into Meaning and Truth, London, George Allen a. Unwin, 1951.
- R u s s e l B., On Denoting, в: B. R u s s e l, Logic and Knowledge, Essays 1901—1950, London, George Allen a. Unwin, 1956.
- R u s s e l B., On Propositions; What They Are and How They Mean, в: B. R u s s e l, Logic and Knowledge.
- R u s s e l B., The Philosophy of Logical Atomism, в: B. R u s s e l, Logic and Knowledge.
- R u s s e l B., The Principles of Mathematics, London, George Allen a. Unwin, 1937.
- R u s s e l B., Vaqueness, «Australasian Journal of Philosophy», 1923, 1.
- R u s s e l B., W h i t e h e a d A. N., Einführung in die mathematische Logik, Berlin, Drei Masken Verlag, 1932.
- R y l e G., The Theory of Meaning, в: C. A. M a c e, British Philosophy... p. 237—264.
- S a p i r E., Culture, Language and Personality, Selected Essay, Berkeley, Univ. of California Press, 1957.
- S a s t r i G., The Philosophy of Word and Meaning, Calcutta, Sanskrit College, 1959.
- С э п и р Э., Язык. Введение в изучение речи, М.—Л., Соцэкгиз, 1934.
- S c h a f f A., Poglady filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza, Warszawa, KiW, 1952.
- S c h a f f A., Pojecie i słowo, Próba analizy marksistowskiej, Łódź, «Książka», 1946.
- S c h a f f A., W sprawie oceny poglądów filozoficznych K. Ajdukiewicza, «Myśl Filozoficzna», 1953, № 3(9), s. 201—223.
- Ш а ф ф А., Некоторые проблемы марксистско-ленинской теории истины, М., Издательство иностранной литературы, 1953.

- Шемякин Ф. Н., Теория Леви-Брюля на службе империалистической реакции, в: «Философские записки», вып. 5, АН СССР, Институт философии, Изд. АН СССР, 1950, стр. 148—175.
- Schlick M., Allgemeine Erkenntnislehre, Berlin, 1918.
- Schlick M., Form and Content, An Introduction to Philosophical Thinking, в: M. Schlick, Gesammelte Aufsätze 1926—1936, Wien, Gerald und Co., 1938.
- Schlick M., Meaning and Verification, там же.
- Schlick M., Über das Fundament der Erkenntnis, там же.
- Schlick M., Die Wende der Philosophie. «Erkenntnis», 1930—1931, B. 1, S. 4—11.
- Шор Р., Язык и общество, М., 1926.
- Шорохова Е. В., Материалистическое учение И. П. Павлова о сигнальных системах, М., Изд. АН СССР, 1955.
- «Schuchardt—Brewier, Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft», Halle, M. Niemeyer, 1922.
- «Semantica» — «Archivio di Filosofia» (Organo dell'Istituto di Studi Filosofici), Roma, Fratelli Bocca Editori, 1955.
- «Semantics and the Philosophy of Language», ed. by Linsky, Urbana, Univ. of Illinois Press, 1952.
- Slama-Caracu T., Language et Conteste, Gravenhage, Mouton et Co., 1961.
- Смирницкий А. И., Объективность существования языка, М., изд. МГУ, 1954.
- Смирницкий А. И., Значение слова, «Вопросы языкознания», 1955, № 2, стр. 79—89.
- Smith B. L., Lasswell H. D., Casey R. D., Propaganda, Communication and Public Opinion, Princeton, Princeton Univ. Press, 1946.
- Соколов А. Н., Исследования по проблеме речевых механизмов мышления, в: «Психологическая наука в СССР», т. I, М., 1959, стр. 488—515.
- Соловьев И. М., Вопросы психологии глухонемого ребенка, в: «Психологическая наука в СССР», т. II, М., 1960, стр. 512—541.
- Sondel B., The Humanity of Words, A Primer of Semantics, New York, The World Publ. Co., 1957.
- Сосюр Ф., Курс общей лингвистики, М., Соцэкгиз, 1933.
- Спиркин А. Г., Происхождение языка и его роль в формировании мышления, в: «Мышление и язык», стр. 3—72.
- Stebbing L. S., A Modern Introduction to Logic, London, Methuen a. Co., 1945.
- Stegmüller W., Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik, Wien, Springer Verlag, 1957.
- Stern G., Meaning and Change of Meaning, Göteborg, Elanders boktryckeri aktiebolag, 1931.
- Stewenson C. H. L., Ethics and Language, New Hawen, Yale Univ. Press, 1948.
- Straus E., Vom Sinn der Sinne, Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Berlin, Springer Verlag, 1956.
- Strawson P. F., Introduction to Logical Theory, London, Methuen a. Co., 1952.
- «Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce», ed. by Ph. P. Wiener and Fr. H. Young, Cambridge (Mass.), Harvard, 1952.

- S u p e k I., Escape of Philosophy into Linguistic Depths, «Dialectica», vol. 14, № 1, 1960, p. 80—92.
- S u s z k o W., Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania, «Myśl Filozoficzna», 1957, № 2 (28), s. 27—56 и № 3 (29), s. 34—67.
- S u s z k o R., Syntactic Structure and Semantical Reference, «Studia Logica», 1958, vol. 8, p. 213—244.
- «Symbols and Society», ed. by L. Bryson, L. Finkelstein, H. Hoagland, R. M. MacIver, New York, Harper a. Brothers, 1955.
- S z o b e r St., Wybór pism, Warszawa, PWN, 1959.
- S z o b e r St., Zarys językoznawstwa ogólnego, z. 1, Warszawa, Wyd. Tow. Miłośników Języka Polskiego, 1924.
- T a r s k i A., Logic, Semantics, Metamathematics, Oxford, At the Clarendon Press, 1956.
- T a r s k i A., O pojęciu wynikania logicznego, «Przegląd Filozoficzny», R. 39, 1936, z. 1, s. 58—68.
- T a r s k i A., O ugruntowaniu naukowej semantyki, «Przegląd Filozoficzny», R. 39, 1936, z. 1, s. 50—57.
- T a r s k i A., Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, Warszawa, Nakł. Tow. Nauk. Warsz., 1933.
- T a r s k i A., The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics, «Philosophy and Phenomenological Research», 4 (1944), перепечатаю в: L. L i n s k y, Semantics... s. 11—47.
- T h o m p s o n M., The Pragmatic Philosophy of Ch. S. Peirce, Univ. of Chicago Press, 1953.
- Т р а в н и ч е к Ф р., Некоторые замечания о значении слова и понятия, «Вопросы языкознания», 1946, № 1, стр. 74—76.
- T r i e r J., Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes, Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1931.
- Т р у б е ц к о й Н. С., Основы фонологии, М., Издательство иностранной литературы, 1956.
- U l l m a n S t., The Principles of Semantics, A Linguistics Approach to Meaning, Oxford, Basil Blackwell, 1957.
- U r b a n W. M., Cassirer's Philosophy of Language, в: «The Philosophy of Ernst Cassirer», ed. by P. A. Schilpp, New York, Tudor Publ. Co., 1958, p. 401—441.
- U r b a n W. M., Language and Reality, London, George Allena. Unwin, 1951.
- U r m s o n J. O., Philosophical Analysis, Its Development Between the Two World Wars, Oxford, At the Clarendon Press, 1956.
- U s h e n k o A. P., The Field Theory of Meaning, Ann Arbor, Univ. of Michigan Press, 1958.
- В а л л о н А., От действия к мысли, Очерк сравнительной психологии, М., Издательство иностранной литературы, 1958.
- В а н д р и е с Ж., Язык, М., Соцэкгиз, 1937.
- В и н е р Н., Кибернетика и общество, М., Издательство иностранной литературы, 1958.

- Виноградов В. В., Основные типы лексических значений слов, «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 3—29.
- Vossler K., Geist und Kultur in der Sprache, Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1925.
- Востриков А. В., Классики марксизма-ленинизма о связи языка и мышления, «Вопросы философии», 1952, № 3, стр. 47—64.
- Wundt W., Völkerpsychologie, B. 1 und 2: Die Sprache, Leipzig, W. Engelmann, 1911—1912.
- Выготский Л. С., Мышление и речь, Психологическое исследование, М., Соцэкгиз, 1934.
- Walpole H., Semantics, The Nature of Worlds and Their Meanings, New York, W. W. Norton a. Co., 1941.
- Weinberg J. R., An Examination of Logical Positivism, London, Kegan Paul, 1936.
- Weisgerber J. L., Das Gesetz der Sprache, Heidelberg, Quelle und Mayer, 1951.
- Weisgerber J. L., Die Muttersprache im Aufbau unserer Kultur, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1957.
- Weisgerber J. L., Die Sprache unter der Kräften des menschlichen Daseins, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1954.
- Weisgerber J. L., Vom Weltbild der deutschen Sprache, Halbband 1 und 2, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1953—1954.
- Welby V., What is Meaning? Studies in the Development of Significance, London, Macmillan a. Co., 1903.
- Wells R., Philosophy of Language, в: «Philosophy in the Mid-Century», vol. 2, p. 139—145.
- Wendt P. R., The Language of Pictures, в: S. I. Hayakawa, Our Language and Our World, p. 247—255.
- Whatmough J., Language, A Modern Synthesis, USA, A Mentor Book, 1957.
- Whitehead A. N., Symbolism, Its Meaning and Effect, Cambridge (Mass.), At the Univ. Press, 1958.
- Whitehead A. N., Russell B., Principia Mathematica, vol. 1, Cambridge, Univ. Press, 1925.
- Whorf B. L., An American Indian Model of the Univers, в: B. L. Whorf, Language, Thought and Reality.
- Whorf B. L., Language, Mind and Reality, там же.
- Whorf B. L., Language, Thought and Reality, Selected Writings, Massachusetts Institute of Technology, 1957.
- Уорф Б. Л., Отношение норм поведения и мышления к языку, в: «Новое в лингвистике», вып. 1, М., Издательство иностранной литературы, 1960.
- Уорф Б. Л., Наука и языкознание, там же.
- Wilson J., Language and the Pursuit of Truth, Cambridge, Univ. Press, 1956.
- «Wissenschaftliche Weltauffassung», Der Wiener Kreis, Wien, Artur Wolf, 1929.
- Wittgenstein L., Philosophical Investigations, Oxford, Basil Blackwell, 1953.
- Витгенштейн Л., Логико-философский трактат, М., Издательство иностранной литературы, 1958.

- Z a w a d o w s k i L., Rzeczywisty i pozorny wpływ kontekstu na znaczenie, в: «Sprawozdania Wrocł. Tow. Nauk.», 4, 1949, dod. 2, Wrocław, 1951.
- Z i f f P., Semantic Analysis, New York, Cornell Univ. Press. Ithaca, 1960.
- З в е г и ц е в В. А., Эстетический идеализм в языкознании. К. Фосслер и его школа, М., Изд. МГУ, 1956.
- З в е г и ц е в В. А., Проблема знаковости языка, М., изд. МГУ, 1956.
- З в е г и ц е в В. А., Семасиология, М., Изд. МГУ, 1957.
- З е м ц о в а М. И., Особенности познавательной деятельности слепых, в: «Психологическая наука в СССР», т. II, М., 1960, стр. 542—569.

#### О П Е Ч А Т К И

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
4	1 снизу	филосовским	философским
74	1 снизу	47	74
58	12 снизу	Бурати	Бурали
119	7 снизу	аристотелевской	неаристотелевской

Зак. 528.



# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ . . . . .	5
ОТ АВТОРА . . . . .	21
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . .	23
ЧАСТЬ I. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМАНТИКИ . . . . .	27
Глава I. Языкознание . . . . .	29
Глава II. Логика . . . . .	46
Глава III. Семантическая философия . . . . .	74
Глава IV. Общая семантика . . . . .	107
ЧАСТЬ II. НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ СЕМАНТИКИ . . . . .	127
Глава I. Философский аспект процесса взаимопонимания . . . . .	129
Глава II. Знак, его анализ и типология . . . . .	167
Глава III. Значения «значения» . . . . .	218
Глава IV. Коммуникативная функция языка . . . . .	308
ЛИТЕРАТУРА . . . . .	357

## А Д А М Ш А Ф Ф ВВЕДЕНИЕ В СЕМАНТИКУ

Переплет художника *Б. И. Фомина*

Художественный редактор *Б. И. Астафьев*. Технический редактор  
*М. А. Белёва* Корректор *Р. М. Прицкер*

Сдано в производство 12/XII 1962 г. Подписано к печати 21/III 1963 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>=5,9 бум. л. 19,3 печ. л. Уч.-изд. л. 20,9. Изд. № 9/0920  
Цена 1 р. 40 к. Зак. 528

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва, 1-й Рижский пер., 2

\*

Московская типография № 5 Мосгорсовнархоза  
Москва, Трехпрудный пер., 9